

Нашадыку разумнаму вянуню (забощаю)

медзь пасярозбрануню. | кому медзь, таўчы

в прац | фунты | с | паловаю. | саговацца | такая!

карэнчыкі лашце | шобна | пачатак с'абылі, медзь

у краіна астанняе | астатняе!...

Annotation

История уходит корнями в глубокую древность 18 века. В те далекие смутные времена князь Ольшанский крадет казну и драгоценности повстанцев, но таинственным образом исчезает, оставив манускрипт, в котором указано местонахождение сокровищ.

Палеограф и писатель Антон Космич находит пергамент с зашифрованным указанием о спрятанных в подземелье Ольшанского замка сокровищах. Но эти сокровища ищет и последний отпрыск рода Ольшанских, сотрудничавший в годы войны с фашистами...

Тайна манускрипта будет открыта, но какой ценой...

- [Владимир КОРОТКЕВИЧ](#)
 - [ЧАСТЬ I](#)
 -
 - [ГЛАВА I. Визит встревоженного человека](#)
 - [ГЛАВА II «Подъезд кавалеров»](#)
 - [ГЛАВА III. Дамы, монахи и паршивый белорусский романтизм](#)
 - [ГЛАВА IV. Про женщину из прошлого, абелей в отставке и о том, как чтение евангелия не принесло никакой пользы, кроме моральной](#)
 - [ГЛАВА V. Человек исчез](#)
 - [ГЛАВА VI. Короткая. О седом антикваре и «барыге»](#)
 - [ГЛАВА VII. Что было сказано в «Новом завете» и какую тайну запрятал в «Апокалипсисе» Иоанн Богослов](#)
 - [ГЛАВА VIII. Вновь гаснет небо](#)
 - [ГЛАВА IX. Кладно. Дорога. Отрешение](#)
 - [ГЛАВА X. Идиллия контрастов](#)
 - [ГЛАВА XI. Белая Гора](#)
 - [ГЛАВА XII. Начало поисков](#)
 - [ГЛАВА XIII. Совецание двух холостяков, одного вдовца и одного женатого](#)
 - [ГЛАВА XIV. О безумцах и мелочах, которые не стоят и выеденного яйца](#)
 - [ГЛАВА XV. Про новую квартиру, сбывшиеся сны и про то, как убивают человека и легко ли другому двоному сделать](#)

это

- ЧАСТЬ II. Катакомбы, мрак, огонь
 - ГЛАВА I, в которой никто из «трех мушкетеров» почти ничего не знает, а тот, кто знает, не может рассказать
 - ГЛАВА II, в которой я слишком много болтаю и, вопреки логике, жалею провокатора
 - ГЛАВА III. Пред очами любви, пред очами безумья и смерти
 - ГЛАВА IV. Загадки и отгадки. Полковник, лейб-медик и прокуратор[138]
 - ГЛАВА V, в которой я почти складываю лапки, подвожу итоги поражения, но своевременно вспоминаю про некую оптимистическую лягушку
 - ГЛАВА VI. «Где их следы, где твои следы? Кто их найдет, кто найдет тебя?»
 - ГЛАВА VII. О жизненной необходимости основательного изучения старославянской грамматики и алфавита, о без пяти минут докторов наук, которые тоже бывают ослами, и одной помощи, пришедшей непоправимо поздно
 - ГЛАВА VIII. Два призрака в лощине нечисти и дама с черным монахом, или паршивый белорусский реализм
 - ГЛАВА IX. Цинизм трехсотлетний и современный, смертная кара за смерть одной души из трех и святое величие одного осквернителя праха
 - ГЛАВА X. Прощай!
 - ГЛАВА XI. «И герб родовой разбивают на камни том»
- ЭПИЛОГ. Конец «подъезда кавалеров»

- notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)

- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)

- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)

- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)

- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)



Владимир КОРОТКЕВИЧ

ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ

В.К., которой этот роман обещан десять лет назад, — с благодарностью.

ЧАСТЬ I

Грозные тени ночные

С чего мне, черт побери, начать?

С того давнего кануна весны, когда за окном были сумерки и мокрый снег?

А что вам до прошлогоднего снега и сумерек?

Начать с того, кто я такой?

А что вам, в конечном счете, до меня, обычного человека в огромном городе? И зачем вам моя самохарактеристика?

Сразу брать быка за рога и рассказывать?

А какое я имею право на ваше внимание? Вы уплатили деньги? Так мало ли за какие дурацкие, паршивые истории люди платят деньги.

Разбегаются мысли. Все то, что произошло, — оно ведь касается меня, а не вас. И нужно это пока что не вам, а только мне. Разве только мне? Да, пока я не расскажу всего, — только мне.

Я знаю, с чего начну. Поскольку до поры до времени это только моя история, я начну с самооправдания. И лишь потом перейду к тому, кто я такой и что случилось в тот снежный и мокрый мартовский вечер.

И — чтобы вы не сказали: «Ну что нам за дело до всего этого?» — я обещаю рассказать самую удивительную и невероятную историю из моей жизни. Мне даже иногда кажется — может быть, потому, что это было со мной, — что это самая невероятная история, происшедшая на земле белорусской за последнюю четверть столетия.

Впрочем, судите сами.

Разные дурацкие слухи ходят об этой истории, о моем преступлении, о том закрытом процессе, на котором я был то ли подсудимым, то ли свидетелем.

Насчет подсудимого — чепуха. Не ходил бы я на свободе, если бы был под судом. А поскольку дело было связано с убийством, даже с несколькими убийствами, то как-то слишком уж быстро я, осужденный, воскрес на этой земле. Однако тень правды была в тени подозрения, которая на какое-то время пала на меня.

Свидетелем я также не был. Я был действующим лицом. Возможно, слишком деятельным. Подчас больше, чем требовалось. Совершал глупости — и умные поступки. Заблуждался — и шел прямо к цели.

Однако без меня «Ольшанская тайна» (номер дела со временем

найдете в архивах) не была бы не только распутана, но не дошла бы и до середины развязки.

Ею просто никто не заинтересовался бы.

Тень слуха, тень сплетни тоже оскорбляет человека. И вот теперь, спустя несколько лет, я могу, наконец, завершить свой рассказ и отдать вам мои записи, слегка систематизировав и упорядочив их. Никто не против, тем более я сам. Распутан последний узел, все доведено до полной ясности.

Что же касается моего тогдашнего характера (эта история очень изменила меня), то я ничего не исправлял. Пусть он будет таким, каким был. Ведь это же он тогда переживал, думал и действовал...

Как меняется человек! Все новое и новое наплывает на душу, новые мысли, взгляды, страсти, печаль и радость, — и сам удивляешься себе прежнему. И жаль себя прежнего. И невозможно — да и не хочется — вернуть былое.

Я отдаю вам его, я отдаю вам себя на суд строгий и беспристрастный.

ГЛАВА I. Визит встревоженного человека

Фамилия моя Космич. Крещенный (это все бабка) Антоном. Отца, если хотите, звали Глебом. Мать — Богуславой. Занятие родителей до революции? Отец, окончив гимназию, как раз успел на Зеленого и Махно. Мать — года три как перестала играть в куклы.

Я даю вам эту развернутую анкету для того, чтобы все было ясно. Анкету с добавлением милицейского описания примет. А вдруг чего-то натворю? Особенно при моей склонности впутываться в различные приключения, на которые мне к тому же везет.

Мне без малого тридцать восемь лет. Старый кавалер^[1], как говорила моя знакомая Зоя Перервенко, с которой у меня тогда как раз кончался короткий и, как всегда, не очень удачный роман.

Этакий старый холостяк, который из-за войны да науки не женился, а теперь уже поздно.

Жизнеописание этого старого холостяка подано пунктиром. На два года раньше, чем положено, окончил школу. Щенком с мокрой мордочкой. В сорок первом. Накануне. С выпускным балом, девочкой в белом и вальсом до утра. Глупый, избитый, затасканный дрянными писателями прием. Но тут так и было. К великому сожалению и скорби. Потому что в то утро две первые бомбы упали на почтамт и кинотеатр. Мы с нею были в кинотеатре, так что все это произошло на моих глазах.

Тряс перед военкомом свидетельством об окончании школы. Паспорта еще не было. Но поверили. Здоровая вымахала дубина. Взяли.

И хлебнул я тут сполна. Родной городок. Отступаем... Над паровой мельницей единственный уцелевший репродуктор, и из него — брагурный марш. И наровлянин Коляда, командир моего отделения, весь в пыльных бинтах, резанул по нему из автомата (мало их еще тогда было, чуть ли не единицы).

Резанул, «чтоб не звягав, паразит».

Здесь и окончилась моя возвышенная юность. Здесь, а совсем не тогда, когда мы прикрывали отход наших и Коляду убили, а меня, засыпанного землей, взяли в плен. Было это севернее Орши.

Я удрал из эшелона под Альбертином. И здесь же, в Слониме, чуть снова не попался... Спас меня дядька Здислав Крыштофович. Как только наши его не хвалили: и прислужник, и подпевала, и...

Немцы потом, в конце сорок второго, повесили его, хорошего

человека, в деревне под Слонимом. И ладно хотя бы то, что уже десять лет стоит ему в той деревне памятник.

Вот так, друзья.

Потом была партизанщина. Снова армия. Сильно изранен возле Потсдама. Демобилизован.

И начали меня в университете учить «уму-маразму». В пятьдесят первом получил диплом. В пятьдесят четвертом аспирантуру окончил. Удивляюсь, как от всей этой науки не стал неисправимым дубом. Диссертацию защитил по «шашнадцатому» столетию: деятели реформации, гуманисты.

Стал кандидатом наук, специалистом по средневековой истории, не совсем плохим палеографом. Написал несколько десятков статей, три монографии — можно и в доктора подаваться. Это и собираюсь сделать. Вот-вот.

«Молодой талантливый доктор исторических наук».

ТЬфу!

Особые приметы:

Светлый шатен, глаза синие, нос средний, рот — вроде щели в почтовом ящике на главпочтамте, морда — смесь варяга с поздним неандертальцем, руки — как грабли, ноги длинные, словно у полесского вора.

Спортивные данные:

Сто девяносто один сантиметр роста, восемьдесят девять килограммов веса. Плавание — первый разряд, фехтование — второй — а будь ты неладен! Отношение к баскетболу? Мог бы и в баскетбол. Но на первой тренировке кто-то вытерся об меня потной спиной. Понимаете, не рабочий пот, не женский, а резкий запах волосатого тела, которое едва не истекало жиром... Бросил это дело. Брезглив, извините.

Футбол не люблю. В гимнастике — нуль. Не знаю, смогу ли пятнадцать раз подтянуться на турнике.

Вот, кажется, и все, что интересует людей.

Ф-фу-у!

А насчет того, чем дышу, что только мое, так это розыск, поиски в прошлом. Помимо упомянутых выше трудов, написал еще несколько, наподобие... ну, строго обоснованных документальных исторических детективов, что ли.

Некоторые появились в журналах. Другие ожидают своего часа: «Злая судьба рода Галынских», «Убийство в Дурьничках» и т.д. Если вот эта история вас заинтересует, я когда-нибудь познакомлю вас и с ними.

Смешно? И в самом деле, смешно. Научный работник — и вдруг пинкертоновщина в далеком прошлом. Мне тоже смешно. Зато — интересно.

И вот писал я, писал — скорее из желания победить чувство своей неполноценности, потому что писатель из меня никудышный — эти произведения популярного теперь жанра, писал и не знал, что однажды вечером судьба — в лице одного встревоженного человека — впутает меня в настоящий детектив.

В тот омерзительный мартовский вечер я как раз готовился к работе. Говоря откровенно, мне не терпелось дорваться до нее: многие месяцы я занимался не тем, чем хотелось.

Для меня эти первые минуты — едва ли не величайшее наслаждение в жизни. Методично разложить на столе вещи: чистая бумага — справа, слева — место для исписанной. Немного подальше справа — вымытая до скрипа пепельница. Возле нее нетронутая (обязательно нетронутая!) пачка сигарет. Две ручки заправлены чернилами. На подоконнике слева свежесмолотый кофе в герметической банке и кофеварка. На столе ни пылинок.

Сам ты только что побрился, принял ванну, обязательно надел свежую сорочку. Перед тобой белоснежный лист лоснящейся бумаги. Зеленая лампа бросает на него яркий, в салатном полумраке круг. Ты можешь отложить работу до утра — все равно, ты подготовлен к ней, а можешь сесть и сию минуту.

И дьявол с ним, что за окном беснуется и косо метет мартовская снежная мокрядь, за которой едва можно различить сиротливые уличные фонари, съжившиеся тени прохожих, ленивый башенный кран поблизости и красную иглу телевизшки вдалеке. Ничего, что так скорбно содрогаются облепленные снегом деревья, так смолянисто и бездонно блестит под редкими фонарями асфальт.

Пусть. У тебя тепло. И ты весь, и кожей, и нутром, подготовлен к большой работе, единственно надежному и безусловному, что у тебя есть. И все это — как ожидание самого дорогого свидания, и сердце замирает и падает. И чистый, целомудренный лист бумаги ждет первого поцелуя пера.

Звонок!

Я выругался про себя. Но стол был убран и ожидал, и мог ожидать до завтра, и, может, это было еще лучше — подольше чувствовать ликующую неутолимость. Лечь спать, зная, что «завтра» принесет первую — всегда первую! — радость, и проснуться с ощущением этой радости, и встать, и взять ее.

К тому же звонок был знакомый, «только для своих». Да и кто потащился бы куда-то из дома в такую собачью слякоть без крайней нужды.

Я открыл дверь. На площадке стояла, переминаясь на длинных, как у журавля, ногах, худая, тонкая фигура в темно-сером пальто, домотканом клетчатом шарфе, толстом, словно одеяло, и в бобровой шапке.

Правда, бобр этот весьма напоминал кошку после дождя: вернулся в родную стихию.

— Заходи, Марьян.

Он как-то странно проскочил в прихожую, захлопнул за собой дверь, вздохнул и лишь тогда сказал:

— А быти тому дворцу княжеску богату, как костел, да и впредь фундовать^[2] костелы.

Мы с ним любили иногда побеседовать «в стиле барокко». Однако на этот раз шутка у него не получилась: слишком грустной была улыбка, слишком неуверенно расстегивали пальто худые длинные пальцы.

Это был Марьян Пташинский, один из немногих моих друзей, «ларник ученый»^[3], один из лучших в стране знатоков архивного дела, более известный, правда, как коллекционер-любитель. Коллекционер, почти до невероятия сведущий, вооруженный глубочайшими знаниями, безошибочным вкусом, собачьим нюхом на фальшивое и подлинное, стальной интуицией и чувством на подделки.

Он едва не единственный человек из ученого мира, кто относится без иронии к моим историко-криминальным поискам. А я люблю его бесконечные рассказы о вещах, бумагах, печатях, монетах и обо всем прочем.

Оба мы холостяки (от него ушла жена, легкомысленная кошечка — актриса), оба в свободное время ловим рыбу и спорим, оба принимаем друг друга такими, какие мы есть.

И вот именно потому, что я знаю его, как себя, я сразу заметил, что сегодня он не тот, не такой, как обычно. Однако с вопросами лезть не стал.

Из аппарата как раз забубнил, забормотал, запыхкал в облачках пара черный, лоснящийся на вид кофе.

— Выпьешь?

— Разве что разбавленный водой? — Вид у него был виноватый.

Разбавлять такую роскошь водой — злодеяние, но я не протестовал: у Марьяна недавно был микроинфаркт.

— Нельзя мне, — сказал он. — А совсем без него не могу.

Быстро в наше время изнашиваются люди: хлебнул Маутхаузена и еще

кое-чего. Неудивительно, что такое сердце в сорок лет.

...Он держал чашечку длинными пальцами и больше нюхал, чем пил, и его ноздри трепетали от наслаждения, как у Адама вблизи запретного древа. У него было лицо, которое в плохих романах называют «артистичным»: прямой нос, темные волосы, глубоко посаженные большие глаза... Я любил его. Он был моим другом.

— Слушай, Антось, по-видимому, меня хотят убить.

Мне показалось, что я не расслышал.

— Да. Убить.

— И стоит, — сказал я. — Такую святую Варвару упустить, отдать в руки этому лавочнику, торгашу от коллекционерства. Милютину Эдьке.

— Я не щучу, Антось.

Только теперь я понял, почему он сегодня «не тот». На его лице, обычно таком снисходительном и сердечном, дружелюбном и от природы добром, лежала тень. Тень постоянной тревоги, той, что ни на минуту не отпускает, гнетет, давит и, не переставая, сжимает сердце. Не очень сильно, но все время. И я сразу поверил ему: такое лицо бывает у человека только тогда, когда дело серьезное. Однако виду не подал.

— Ну что ты околесицу несешь? — улыбнулся я.

— Ты мою книгу знаешь. — Каждую свою новую книжную находку он называл с нажимом — «Книга!». — Те три. Переpletенные.

— Ну, видел. С год она у тебя.

— Год и два месяца... Ну... вот из-за нее.

Я смутно помнил три книги размером *in folio*, взятые в один переплет из рыжей кожи конца XVI столетия. Полная безвкусица. А книги действительно очень ценные, только какой болван собрал их под одной обложкой: «Евангелие» 1539 года, изданное накладом князя Юрия Семеновича Слуцкого, здесь же «Евангелие» Тяпинского^[4], да к нему прилеплен «Статут» 1580 года издания, созданный под присмотром Льва Сапеги.

Три книги, собранные в одном переплете каким-то варваром. Ценные книги, но чтоб из-за них?!

— Вздор несешь...

Правда, «Евангелие» Тяпинского было чрезвычайно редким экземпляром. Из набора были вынуты буквицы и оставлены пустые места.

Конечно, печать у Тяпинского была не та, что у Скорины. Бедная печать очень бедного печатника. И вот какому-то богатому человеку это не понравилось. Он и попросил для себя одну такую книгу без буквиц. А на пустых местах велел какому-то миниатюристу нарисовать пропущенные

буквицы красками и золотом. Чтобы книга выглядела более богатой. И художник это сделал. Со вкусом и мастерством. Но чтобы человек чувствовал себя в опасности из-за каких-то трех десятков миниатюр?!

— Рассказывай, — попросил я.

Потому что я верил. Верил этим встревоженным глазам, чуть перекошенным губам, беспокойным пальцам, нервной спине, напряженной, как лук (вот-вот выскочит зверь).

— Ходят за мной все время... Под окнами снег истоптан по утрам... Когда с работы возвращаюсь, собаки нервничают. Несколько раз замечал, что на пустыре отираются какие-то темные личности.

— Ладно. Предположим, из-за книги. Но откуда им знать, что она у тебя?

— Имел глупость показать. В феврале была выставка в публичной библиотеке. Старая печать. Там были книги из библиотек, а также из частных собраний.

— И что?

— А то. — Он все же отхлебнул остывшего кофе. — Я стою возле своих книг и объясняю. Поодаль маячит какой-то. Высокий, лет на восемь старше нас с тобой, но еще не седой, темный блондин. Лицо буро-красное, словно загоревшее, несмотря на зиму. По типу и одежде — не разберешь: то ли деревенский учитель, то ли председатель сельсовета. Руки не то чтобы натруженные, но все же...

Марьян отхлебнул еще раз.

— И просит: не позволите ли взглянуть? И такая в его голосе почтительность, такое неподдельное уважение к настоящей учености, так волнуется, что даже покраснел, я и позволил. Листает как человек. Даже слишком осторожно. За верхний угол страницы. Приглядывается. Едва не читает некоторые места. Приятно было, что есть люди, которые хотя и не очень много знают, но интересуются, любят книги.

Он сидел на тахте, на пестрой лельчицкой постилке, и в полумраке влажно блестели его глаза. Кофе он допил. Сплел пальцы в замок на узком и сильном колене.

— И вот тут первое, что мне не понравилось. «И где же вы это достали?» — «Нашел на одном чердаке среди ненужных книг». — «И неужели это продают и покупают? Может, и вы продали бы?» — «Я ищу... Не жалею ни ушей, ни глаз, ни ног. Покупать такие вещи у меня купила нет. А продавать — тоже не продаю. После моей смерти все эти вещи, за исключением некоторых, будут переданы музею моего родного городка». — «А-а... — И какая-то такая странная скованность появилась в

его движениях. — Так почему бы теперь не продать?» И ушел... Дай сигарету.

— Вредно тебе.

— Порошковое молоко пить вредно... Не понравился он мне под конец... Словно какой-то здоровенный зверь с металлическим зубом обнюхал все, разведаль и ушел... Надо бы все это уже теперь отдать музею. Да не могу. До сих пор не мог. Выше моих сил было. Ты помнишь, как я собирал. Как в Воронке под руины монастыря в замаскированный тайник на брюхе лазил, как от селедки на базаре спасал книги, как мне мой Микола, на котором дрова кололи, достался, как меня под Слонимом в кремневой шахте завалило, как я все это реставрировал, пылью дышал, от химикатов кашлял... Все это добро от смерти спасено. Вот полюбуюсь до лета и отдам. Опустеет хата. И не сюда отдам, чтоб пылилось в запаснике, а в свой Руцк. Там они царями стоять будут. Опустеет хата... Ну, да это скоро... Теперь уже скоро.

— Плюнь.

— Нет, братка, знаю. Теперь скоро.

— Не курил бы.

— Не могу. Ограничиваю себя, а не могу.

Смял сигарету. Красивый он, когда думает. Не то что я с моей варяжской мордой. И дурища же эта проклятая баба, его бывшая жена. Ах, мотылек серебристый! Ах, сю-сю! Ах, знаменитый Иванский с гомерическими ляжками! Ах, Кафка! Ах, сцена! А сама ни в сцене, ни в Кафке ни в зуб ногой. Как скажет, так с поля ветер, а из... дым. Гордилась бы, что хоть один человек в семье умный. Я на ее месте туфель такого человека целовал бы, как папы римского. Да она, я слышал, и хотела вернуться, только он не пожелал.

— Потом звонок, — продолжал Марьян. — Молодой интеллигентный голос (теперь все интеллигентные): «Продайте». — «Не продается. Это собственность музея в Руцке, а не моя». И еще подобный звонок, другим голосом. А потом чуть не каждую ночь: «Продайте, продайте, продайте».

— Ты что, не знаешь, как телефонных хулиганов ловить?

— Пробовал. Звонили из автоматов в разных концах города. «Продайте! Продайте!»

— Набери единицу и положи трубку. Никакой гад не дозвонится.

— Не могу. Каждую ночь ожидаю звонка.

— Что такое?

— У Юльки рак.

Юлька — его бывшая жена. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Я

молчал. Куда-то отступили недобрые мысли о ней. Перед этим все равны. Мне стало стыдно.

— Она об этом еще не знала, когда хотела вернуться. Лежит теперь в Гомеле. Деньги тайком посылаю. Медсестра сообщает мне обо всем. Звонит. Говорит: после операции легче. А я не верю. Думаю каждую ночь: вот раздастся звонок. И все кажется, что я об этом знал и оттолкнул. Вернуть бы сейчас. Да нет, не простит.

Бог ты мой, он еще и слово «прощенье» помнит, святой осел! И весь напряжен, и весь встревожен — черт бы тебя, собачьего сына, любил.

— Ну, об этом хватит. Возвращаться ей к человеку, который сам отправляется в путь, незачем. Только бы выздоровела. — Лицо его вдруг стало решительным. — И сожалеть о том, что не сбылось, не стоит. Но звонка ожидаю. А вместо него — каждую ночь — они. Знаешь, тревожно мне.

Милый ты мой, я это увидел, как только ты вошел. И то, что плохо. И то, что ты похож на единственную барочную скульптуру в моей квартире: на «Скорбящего», который над твоей головой. Страшные глаза. И этот венец. Как я не замечал прежде?! Завтра же выселю святого в другую комнату.

— И... боюсь, Антось. Ты знаешь, я никогда не был трусом. Вместе бывали в разных переделках.

— Знаю.

— А тут паршиво. Подходит кто-то к окнам. Собаки ворчат, как на нечистую силу. Однажды в прихожей какой-то запах появился.

— В милицию позвони.

— Из-за неясных подозрений? — Он вдруг потрянул головой и улыбнулся. — Хватит тебе... А постоянный страх — он, может быть, из-за сердца. У сердечников это бывает, такие приступы неосознанного, беспричинного страха. У меня и прежде были. Не привыкать.

— Я тебе и говорю — плюнь. Обычные барыги. Хочешь рюмочку коньяка?

Тревога все же не оставила его.

— Может быть. Но почему книга? Почему одна эта книга? Почему не мой Микола? Не грамота Жигимонта^[5] мытникам^[6] — там ведь один ковчег чего стоит! Почему именно эта книга?

— Не знаю. Давай посмотрим.

— Вот я и хотел. Да не рискнул нести: темно. — Он поднялся.

— Ну, будь здоров, брат. И плюнь на все.

— Ты... зайди ко мне послезавтра, Антось. Поглядим. Я хотя и

архивный работник, но как палеограф ты покрепче.

Я решил, что хватит. Надо переходить на обычный наш тон. Довольно этого гнетущего. Ведь всякому ужасу, если он имеет плоть, мужчина может расквасить нос.

— Так что, преосвященный Марьян?.. И псы ворчали на силу вражью, а он, бес, в сенцах, искушая преосвященного чистоту, смердел мерзко...

— Ну точь-в-точь творения доктора наук историйских Цитрины.

— Заврался, какие это «историйские»?

— А «муסיкийские» есть? То-то же... «Цитрины» и подобных ему.

Мы рассмеялись. Но все равно я углядел на дне его глаз тревогу.

...Он ушел, а тревога осталась. Я подошел к окну и смотрел, как он идет через улицу в косых, стремительных струях снега, смешанного с дождем.

ГЛАВА II «Подъезд кавалеров»

Утром меня разбудил залиvistый крик петуха, а затем отчаянный, надрывный визг поросенка: видимо, несли в мешке.

— Не хочу-у! Не хочу-у! Пусти-и-те! Пусти-ите!

Как в деревне. Каждое воскресное утро дарит мне эту радость. И это одна из причин, почему я люблю свой дом.

Приятно говорить: мой дом, мой подъезд, мой двор. Особенно вспоминая войну и послевоенное время: намаялись мы с отцом по чужим углам. Потом жили в одной комнате коммунальной квартиры с коридорной системой. Потом в однокомнатной. И вот двухкомнатная. И здесь отца потянуло доживать в свой городок к своей сестре, а моей тетке.

— Не могу больше. Как вроде бы сделал все свои дела. А тут еще каждое воскресенье петухи, коровы, кони — ну, зовет что-то, тянет на родину, и все. Может, если бы не этот район проклятый. А то гляжу — поросенок пестренький, куры. Казалось бы, я горожанин, даже пахать не умею. А тут вот хочется хотя бы лопату в руках подержать... Сирень зазеленела, земля пахнет, жирная такая. На крыжовнике зеленое облако... Поеду к Марине. Там сад, будем вдвоем ковыряться. Только ты теперь смотри женись, пожалуйста.

Он был прав. Даже я не могу усидеть на месте по воскресеньям, когда напротив моего дома открывается рынок, где продают всякую живность: коней, коров, золотых рыбок, свиней, овец, голубей, кроликов, лесное зверье, птиц, собак...

До того как огородили квартал, дядьки с возами стояли себе на тротуарах, а здоровенные хавроньи, отвалив соски, лежали, милые, на газоне.

Однажды мой друг Алесь Гудас (а он живет на первом этаже) сидел за письменным столом, и прямо под окном его кабинета остановилась телега. Дядьки что-то продали и решили замочить куплю-продажу. Из горлышка. Увидели его и начали крутить пальцами у лба. И в самом деле отпетый дурак: люди веселиться собираются, воскресенье, а он работает. Алесь покрутил пальцем в ответ, принес и подал им в окно стакан. Тогда они первому налили ему. Жена потом чуть с ума не сошла: откуда выпивши? В домашних туфлях, не выходил никуда, в хате ни капли спиртного, а он только смотрит на нее и не очень умно улыбается.

Хороший уголок! Жаль, если рынок куда-нибудь перенесут. И, главное,

в двух шагах от «деревни», от этого уголка, занесенного из иной жизни на мостовую, идет улочка, дальше бульвар и — шумный большой город. И дома, и замужем.

С того времени, как я не хожу на работу и путаю дни, крик петуха в воскресенье, сквозь доброе угасание сна, для меня вроде дополнительного календаря.

Осенью я защищаю докторскую. Два месяца законного отпуска да три неиспользованных за прошлые годы. Я много работал, очень-очень много работал, чтоб вот так, один раз, вволю побездельничать и заниматься чем хочется. Книга вышла. Почти до сентября я свободен. Бог мой, никаких библиотек, никаких архивов, если только сам этого не захочу!!!

Я считаю, что короткий отпуск — чепуха. Не успеешь приехать, размотать удочки, подышать — на тебе, собирайся обратно. Не стоит и мараться.

И вот теперь я отдохну. Впервые, может, за двенадцать лет. Хорошо сбросить ноги с тахты, распахнуть в холод окно, промерзнуть, сделав два-три небрежных упражнения, помахать руками и ногами (заменять настоящую работу, от которой звенят мускулы, гимнастикой — чушь несусветная и бред сивой кобылы). Хорошо, когда струи воды секут по плечам и спине! Хорошо, когда кожа краснеет от сурового рушника! Хорошо, когда трескается о край сковороды яйцо, и скворчит ветчина, и чернеет кофе в белой-белой чашке!

Хорошо распахнуть дверь на площадку своего третьего подъезда, «подъезда старых кавалеров».

А, все равно! Уж если надоедать, так надоедать! Если описывать людей, то описывать, потому что каждый из нашего подъезда играл ту или иную роль в этой истории.

В моем доме пять этажей и четыре подъезда. Мой подъезд третий. Зовут его «подъездом старых кавалеров» недаром. По необъяснимой иронии судьбы все наши мужчины (о незамужних девушках не говорю) или неженаты, или вдовцы, или... Но это грустная история, о ней не надо в такое утро, когда снег растаял, когда воздух бодр, а небо по-весеннему несмелое и пронзительно голубое.

На каждом этаже у нас по две квартиры. Начну, конечно же, с моего этажа. Он самый важный не только в этой повести, но и вообще. Земной шар вертится по законам эгоцентризма.

Дверь в дверь со мной живет Адам Петрович Хилинский, который иногда приглашает меня сыграть в шахматы и тяпнуть рюмку коньяка. Кличка его — «Полковник в штатском» (моя, почему-то, «Тоха», так зовут

нас все фраеры двора).

Кто он? Не знаю. И знаю, кто он, лучше других. Дело в том, что Хилинский, прослышав о моих «исторических детективах», а возможно, и прочитав их, стал рассказывать мне разные интересные случаи из жизни с целью, что вот бы написать о том-то и том да сделать то и это. По его мнению, у нас на подобные темы пишут мало и неинтересно. Но я на такие дела не мастак, потому отмалчивался.

Я смотрю на него не так, как соседи. Мне он кажется этаким «Абелем в отставке».

Может, так оно и есть на самом деле? Кто знает... Я его не спрашиваю.

Он и не скажет. Знаю только, что прежнюю квартиру на эту обменял, хотя эта и гораздо хуже. «Мне что, я один. И эта, пожалуй, велика, кабы не книги да фотографии», — говорит он.

Это единственный мой друг во всем подъезде. Собственно говоря, не друг, а приятель по шахматам, по одинокой мужской выпивке. Но не частой. Потому что метода жизни у него странная. Бывает, что днем спит, а ночами черт знает где пропадает. Иногда месяц-другой нет дома. Наведается на часок — и снова нет.

Я не расспрашиваю о его работе, если сам не вспомнит чего-нибудь. Во-первых, не знаю, о чем можно спросить. Во-вторых, не знаю, на что может ответить, и поэтому не хочу ставить человека в неудобное положение. В-третьих, вообще не люблю никаких учреждений, даже больниц. Кошмар! Лица больных, плевательницы, запах. Еще с довоенного детства, с кроваво-красного плаката в зубной поликлинике.

Только в домашних условиях я могу свести с кем-то знакомство. На службе человек не сам по себе, не та личность, которая меня только и интересует.

Даже со своим шефом я разговорился лишь тогда, когда он пригласил меня в гости.

Так и тут. Наверное, я псих, но что поделаешь?

Ум у него живой. Сам мог бы писать, а не подбивать других. Высокий, седой, весь какой-то поразительно неславянский — таких только в зарубежных фильмах увидишь. Англичанин? Норвежец? Но похож на сильно вытянутый треугольник — плечи широкие, а бедер почти нет. Ноги при ходьбе, чтоб не нарушить этот треугольник, ставит близко одну от другой.

Одет всегда безукоризненно, да еще с длинной трубкой в зубах — прямо «Мистер Смит на Бобкин-стрит». И только на охоте, на рыбалке — ездили несколько раз — или у себя дома, где нет посторонних, все это

подменяется типично славянской, более того, белорусской разболтанностью. Может спать где попало и как попало: кацавейкой у костров пятьсот раз «лисицу поймал»; на ногах стоптанные сапоги — заплатка на заплате. И все равно, даже в лохмотьях, — щеголь, ничего не скажешь. И азартный, зараза, черт бы его побрал. Однажды, когда бестолковая собака искала не там, где надо, сам, прямо во всей амуниции, из лодки в воду сиганул. За уткой.

Знакомство наше началось с болтовни во дворе. Говорили что-то об увлечениях людей, ну я и решил спросить, какое у него хобби.

— Бабочки, — ответил он не только серьезно, но и мрачно.

— Мотыльки?

— Я с вами по-белорусски говорю. Женщины.

Ничего себе манера шутить. Донжуан нашелся. На самом деле его хобби — гравюры и книги. Часть их исчезла, когда хозяйство вела в одиночку его сестра. Но даже то, что осталось, удивляет. Богатейшее собрание книг: история права, философия, особенно — биология. Хребта этого подбора я, откровенно говоря, так и не смог нащупать.

Со временем эта библиотека опять пополнилась, да еще появились на стенах разные египетские, индонезийские и африканские вещи.

Сестра и теперь раз в две недели приходит к нему, помогает вести хозяйство. Иногда она приводит с собой свою домашнюю работницу. Остальное Хилинский делает сам. Он это умеет лучше меня. Устроиться везде с максимальным комфортом — его правило.

О себе говорить он не любит. Лишь однажды всплыло кое-что. Смотрели мы «Иваново детство». Гениальный фильм. Дело, по всему виду, происходит в Белоруссии. И мальчик из Белоруссии. Вот там этот мальчик и задает вопрос, что-то вроде: "А что такое Тростенец^[7], ты знаешь?" Тут я и увидел, как его передернуло.

Ну, о нем пока что хватит. Пойдем вверх. На пятом этаже три мастерские художников. Кто они дома — не мне судить, но, по моему мнению, в своих мастерских все художники — холостяки, за исключением, возможно, совершенно честных да дураков, что, может быть, одно и то же. Когда мимо моей двери катится полуночный вал споров или утром тихонько позвякивает стекло в чемодане, я знаю, что это альфа и омега моих художников.

На четвертом этаже живет вдовец Кеневич с подростком сыном, весьма неинтересный человек, а напротив него — Ростик Грибок, человек двадцати одного годика, с мамой.

Грибок из одного ведомства с приятелем Хилинского, полковником

уголовного розыска Андреем Арсентьевичем Шукой, который часто заходит к Хилинскому поиграть в шахматы (тогда тот из нас, кто пришел позже, вынужден копаться в библиотеке). Еще они ездят вместе на охоту и рыбалку, а иногда к ним присоединяюсь я, потому что все мы в чем-то схожи. Пожалуй, нас объединяют и охота, и рыбалка, и потребность вечно, ни с Днепра ни с поля, острословить.

Таким образом, между нами полное доверие и относительное знание друг друга.

Хилинский сам пожелал жить именно в этом доме и Грибка переселил к себе. Видимо, любит он его, а может, и просто так.

Грибок никакой не грибок, а здоровенный грибище, хотя и совсем молодой, свежий, ядреный. А все же грибок. Из-за твердых (так и хочется всегда ущипнуть) щечек, из-за темно-коричневых боровиковых глаз, из-за общего ощущения чистоты, боровой ясности и легкой, по возрасту, ну... бездумности, что ли.

Теперь давайте спускаться с моего этажа вместе со мной. Легкое эхо шагов на ступеньках.

Второй этаж. Здесь живет лекарь, к которому я, слава богу, еще никогда не ходил и ходить не хочу, да и вам не советую. И пусть он вообще останется без работы и разводит гладиолусы, потому что он — психиатр и, кажется, работает в доме сумасшедших. Когда я встречаю его, мне всегда хочется запеть московскую песенку:

Балалаечку свою
Я со шкафа достаю,
На Канатчиковой даче
Тихо песенку пою.
Вижу — лезет на забор
Диверсант, бандит и вор.
Я возьму свою гранату
И убью его в упор.

Комплекс это какой-то у меня, что ли?

У психиатра в двери есть глазок, который вставила одна из женщин, что иногда приезжают к нему. А мне все время кажется, что это он побаивается массового визита своих пациентов на дом. Имечко его, к вашему сведению, Витовт Шапо-Калаур-Лыгановский. Если бы мне такое — я женился бы на Жаклин Кеннеди. Нет, не женился бы. Потому что на

ней, как говорил один мой знакомый, уже «женились две эти старые балканские обезьяны. А я лучше женюсь на... Мерлан Мурло».

Однажды шли мы с психиатром вместе от троллейбуса и как-то разговор зашел о том, кто откуда, об именах и т.д.

«Черт его знает, откуда у меня такая фамилия, — сказал он. — Про своего прадеда только и знаю, что имя. Интеллигентный. Наверное, из лапотной шляхты. Гонор, видимо, вот и вся музыка. Нет денег, так давай тройную фамилию».

А вот и он сам. Прекрасно сложен, породистый бронзовый лик — будто средневековый кондотьер с медали. Волнистая грива серебряных волос, рот с твердым прикусом, серые глаза смотрят пристально. Редко мне доводилось видеть более красивое мужское лицо. И более умное — тоже.

Беседует с молодым человеком, своим соседом. Тот в меру пристойный, в меру ладный, в меру миловидный. А вообще-то о нем только и можно сказать, что у него в руке ведро для мусора.

— День добрый, сосед.

— Денечек и добрый.

Первый этаж. Слева на площадке квартира, в которой то ли киностудия, то ли театральный институт, то ли балетная студия (так и не понял что, а спрашивать неудобно) разместила четверых своих девушек. Там часто песни, веселье, гитара. Вечерами они с какими-то парнями стоят в подъезде у радиаторов, и по утрам там много окурков. Когда я иду, девушки провожают меня глазами. Довольно часто. И я с таким жеребьячьим весельем молодежато дрыгаю мимо них.

Значит, я пока что ничего себе. Хо-хо!

Девушки красивенькие, с пухлыми ротиками, с глуповатыми еще, словно у котят, широкими «гляделками», с пышными хвостами волос. Брючки обтягивают формы, обещающие со временем стать весьма качественными.

Красивые, только не для меня. Мне без малого сорок, а самой старшей из них, на глазок, двадцать — двадцать один. Связаться, чтоб через десять лет наставили рога? Этакое удовольствие уступаю вам. Стар я для них. А иногда, когда вспомнишь бомбы, и плен, и все, что было потом, так даже кажется — и вообще уже стар.

Справа на первом этаже дверей нет. Там — вход в подвал.

Для любителей достоверных сведений подвожу итог:

Квартира № 22 — девичье-цыганская богема (масло масляное).

Квартира № 23 — интересный молодой человек с ведром.

Квартира № 24 — Витовт-Ксаверий-Инезиля-Хосе-Мария Шапо-Калаур-Лыга— новский, мастер по человеческим мозгам, с медным ликом Скалигера Кангранде^[8].

Квартира № 25 — азартный полковник с Бобкин-стрит.

Квартира № 26 — я со всеми своими комплексами.

Квартира № 27 — Кеневич со своим долговязым отпрыском.

Квартира № 28 — поляночка с Грибком. «Во лузе на одной ноге».

Пятый этаж — три мастерские неженатых художников.

...Двор. Обычный новый двор с молодыми деревцами, лавочками, газонами, выбитыми, как бубен, любителями игры в футбол. От снесенных хат окраины во дворе чудом уцелели двухэтажный домик, дуб, заросли ясеня, пара груш да несколько обреченных яблонь и вишен.

Дворник Кухарчик бросает свое «драстуйте». Этакий обалдуй с жестким лицом и короткими волосами. И во все он лезет, всем дает советы, все ему надо знать.

Меня он почему-то считает самым умным человеком улицы. Я этим оскорблен: почему только улицы? Его не проведешь, и он возникает за спиной (у него есть свойство и умение возникать как из-под земли) и задает вопрос.

Чаще всего после его вопросов испытываешь такое ощущение, будто проглотил горячий уголек, одновременно получив удар под ложечку.

— А китаец китаец в лицо отличит?

— А вот интересно знать, Антон Глебович, какой смысл в кипарисах, что на юге?

Сегодня вдруг это:

— Не знаете, случайно, как дворник по-латышски?

— Setnieks, — «случайно знаю» я.

Выхожу со двора. Улица. Не «деревенская» сторона, а «городская». Автобусы, дома, реклама, марсианская тренога телебашни вдали. Шум городского потока, упрямый и неумолимый.

И, как последний аккорд того, что есть мой дом и мой двор, — табачный киоск, в котором сидит мой старый знакомый «бригадир Жерар», как называю его я, Герард Пахольчик, которому я активно помогаю выполнять план.

Он и в самом деле, как герой, сидит в своей будке. Прямой, среднего росточка, усатый. В детских, широко открытых глазах наив. И сходство с ребенком подкрепляет желтоватый пух на голове.

Этот тоже из любопытных, как и Кухарчик. Но тот из «суетливых»

любопытных, а этот — «любопытный философ». Тот лезет, подозревает, сомневается, этот — сидит на троне и вопрошает въедливо и серьезно. Тот видит ненужное и несущественное, этот — «зрит в корень». Тот только слушает, этот — еще и дает советы с высоты опыта, приобретенного в беседах с умными людьми. А глаза следят, и сверлят, и видят все.

Но обоим свойствен широкий диапазон интересов. Только первый интересуется смыслом существования кипарисов, которые не дают ни плодов, ни древесины, а второго интересует политика в Непале и вообще все от космических полетов и способа варить малиновое варенье — аж до теории красного смещения и летающих тарелок, которые он обязательно называет НЛО (неопознанный летающий объект).

Покупаю пачку «БТ». Ножничками из своего перочинного ножа надрезаю часть крышки. Наблюдает пристально, будто наш разведчик в ставке Гудериана.

— Как-то странно вы сигареты открываете. Ведь вот потянул за ленточку — и готово. А вы ножницами. И только один уголок. Уже сколько месяцев я наблюдаю — всегда только правый уголок. Можно ведь потянуть за ленточку и снять крышечку.

— Я, многочтимый мой пане^[9] Герард, — то, что в плохих старых романах называли «старый холостяк с устоявшимися привычками».

— «Устоявшимися привычками», — повторяет Герард. — Так все же зачем уголок?

— Портсигаров не люблю. А снимать всю крышку — табака в карман натрясешь.

— Так почему правый?

В самом деле, почему правый? Почему я всегда надеваю сперва левый туфель?

— Буквы туда смотрят.

— А-а.

ГЛАВА III. Дамы, монахи и паршивый белорусский романтизм

В ответ на звонок из глубины квартиры долетел, приближаясь, громовой собачий лай.

— Гонец к скарбнику Марьяну, — сказал я.

Два тигровых дога, каждый с доброго теленка, узнав меня, со свистом замолотили толстыми у корня хвостами.

— Эльма! Эдгар! На место, слюнтяи паршивые!

Квартира Пташинского — черт знает что, только не квартира. Старая, профессорская, отцовская, чудом уцелевшая в этом почти дотла уничтоженном во время войны городе.

На окнах узорчатые решетки: библиотека папаши была едва не самой богатой частной библиотекой края (не считая, конечно, магнатских). Чудом уцелела в войну и библиотека, но сынок спустил из нее все, что не касалось истории, — государству, чтоб освободить место своим любимым готическим и барочным монстрам. Монстры выжили отсюда не только книги, но и... да нет, это я крайне неудачно, отвратительно хотел пошутить.

Марьяна бы к нам вместо девчат. Был бы целиком холостяцкий подъезд. Но он отсюда не поедет, потому что здесь хватает места для его кукол, хотя квартира и неудобная: бывший загородный дом, к которому сейчас подползает город. Четыре огромные комнаты с потолками под небо. А за окнами пустырь: дно бывших огромных, давно спущенных прудов и берег с редкими купами деревьев, за которыми еле просматриваются строения парникового хозяйства.

С другой стороны к дому примыкает заброшенное кладбище. Когда подойдешь к дому наполовину вырубленной аллеей высоченных лип, видны его ворота в стиле позднего барокко.

В комнатах форменный Грюнвальд: под потолком летают ангелы, вскидывают кресты из лозы Яны Крестители, а Яны Непомуцкие несут под мышкою собственные головы, будто арбуз в трамвае. Юрий с выпученными от ужаса глазами попирает ногой змея, рыдают уже триста лет Магдалины. Иконы на стенах, иконы, словно покрытые ржавчиной, по углам и иконы, распростертые на столах, свеженькие, как будто только из Иордани, улыбаются человеку, снова их сотворившему. Пахнет химией, деревом, старой краской. Золотятся корешки книг. Скалят зубы грифоны, похожие на грустных кур.

И все это чудо как хорошо! И среди всего этого, созданного сотнями людей, две собаки и человек. Лучший мой друг.

— Имеется что-нибудь пришедшим с мороза, иконник?

— Сегодня оттепель, золотарь, — ответил он.

— А по причине оттепели есть? — спросил я.

— По причине оттепели есть сухие теплые батареи... Вот.

— Законы предков забываешь? — спросил я с угрозой.

— При Жигимонте лучше было, — сказал он, ставя на низенький стол начатую бутылку виньяка, лимон, «николашку», тарелку с бутербродами, сыр и почему-то моченые яблоки, — однако и король Марьян немцев не любил, и ляхов, и всех иных, а нас, белорусцев, жалел и любительно миловал.

— Начатая, — разочарованно протянул я.

— Будет и полная.

— Так и ставил бы сразу.

— Знаешь, что считалось у наших предков дурным тоном?

— Что?

— Блевать на середину стола. Вот что считалось у наших предков дурным тоном. Древний кодекс пристойности. «А нудить на середину стола — кепско и погано и негоже».

— На край, значит, можно? — спросил я.

— Об этом ничего не сказано. Наверное, можно. Разрешается. Что же тут страшного?

— Неуч ты. На свой край разрешается. На чужой, *vis-a-vis* — ни-ни!

— Приятного вам аппетита, — сказал он.

— Сам начал.

Себе он плеснул на доньшко.

— Ты не сердись, — словно оправдываясь, сказал он, и только теперь я заметил на ногтях у него голубой оттенок. — Немножко — не вредит сердцу. Наоборот, полезно. Все врачи говорят. Кроме того, мне скоро вообще ничего не будет вредно.

— Ну-ну, — сказал я.

— Сам момент, наверное, не страшен, — задумчиво продолжал он. — Ожидание — вот что дерьмо собачье. Собачье предчувствие беды.

Эльма и Эдгар внимательно смотрели на него, иногда переводили глаза на меня.

— Как вот у них. Представляешь, сегодня под утро выли с час. Никогда в жизни такого не слышал. И не дворняги же они, а собаки цивилизованного столетия... Съездим ли мы с тобой еще на рыбку?

Поедем, как только освободятся воды?

— А как же.

Всю жизнь буду казнить себя за свой тон во время этой беседы. Будто слышал, как человек внутренне вздыхает: «о-ох, пожить бы», а сам отвечал, тоже внутренне: «не ной, парень, все хорошо».

— Показывай книгу, — сказал я.

Мы держали том на коленях и не спеша листали страницы. Подбор этих трех переплетенных в одну книгу был странный, но мало ли странного совершали люди тех времен? Их логика трудно поддается нашему пониманию. Переплел ведь неизвестный монах в одну тюрьму из кожи «Сказание об Индии богатой», «Сказание о Максиме и Филиппате» и «Слово о полку Игореве».

«Евангелие» Слуцкого. Крайне редкая вещь, но ничего особенного, «Статут» 1580 года. Видимо, действительно, первая печать, насколько я мог судить (сколько бы статут ни перепечатывался — год ставили тот же самый, 1580-й). Но инициалы «Евангелия» Тяпинского — это было интересно.

Для печати этой книги была характерна строгость. Каждая страница жирно, поперек, словно перерезана пополам. На верхней половине страницы старославянский текст, на нижней — древний белорусский. Сухой, строгий шрифт, ничего лишнего. И вдруг среди этого протестантского пустыря я увидел чудо: заставки и инициалы, цветущие маками, серебром и золотом так, что глазам становилось больно. Цветы, стебли, воины, кони — все в ярком, причудливом, радостном полете стремилось со страницы на страницу.

— Язычник, — сказал я. — Откуда такое чудо?

— Вот надпись.

Надпись на обратной стороне обложки была, видимо, из чернильных орешков и камеди: рыжие чернила выцвели. XVI-XVII столетие. Самый канун бешеного натиска Польши. Но я не мог оторвать глаз от цветущего луга, и мне не хотелось вглядываться в путаную рыжую вязь.

— Ты не ответил. Все же откуда?

— Ольшаны.

— Что-то слышал, но туманно. Где это?

— Исто-рик... Местечко... Километрах в тридцати от Кладно... Князьям Ольшанским принадлежало. Гедиминовичи. Очень древний белорусский род. Многочисленные поместья по Неману и Птичи, несколько собственных городов. Все время высокое положение. Подкрепляли его тем, что королям города дарили.

— Припоминаю, — сказал я. — Ведь это же один из них — Голаск —

городок Сигизмунду Августу «подарил», а тот его «подарил» Яну Ходкевичу.

— Да.

— И еще один из них во время междоусобицы Свидригайлу в плен захватил.

— Из этих, — сказал Марьян с некоторым удовлетворением, что вот, мол, и друг не ногой сморкается. — А те Ольшаны их майорат и испокон веков им принадлежали. С бортными деревьями, с селами и реками, в которых бобров можно гонять.

— И каждого пятого бобра себе, — начал хулиганить и я, — а остальных пану. Или себе подчеревье от каждого бобра.

— Гля-яди-и ты. И «Устав на волоки» знает. Начитанный, холера!.. Ну так вот. Книгу эту я нашел в Ольшанах на чердаке хаты деда Мультана. Есть там такой. Он сторож при замке и, главное, при костеле. Исключительно любопытный тип. Сгорбленный, как медведь. Немного охотник. Философ.

— Ты это мне для чего все выкладываешь?

— Да все в связи с этой тревогой. Мозг лихорадочно ищет. Все обстоятельства вспоминает, все самые незначительные случаи.

Он смотрел в окно на пустырь и на кроны кладбища вдалеке.

— Этот замок — обычный дворцово-замковый ансамбль, — словно припоминая или находясь в бреду, стал рассказывать он. — Разве что один из первых такого рода. Самая середина XVI столетия. Может, десятью — двадцатью годами позже. Уже не совсем замок, хотя и ближе к нему, чем к дворцу. Мрачное сооружение. Местный валунный гранит, багрово-коричневый с копотью, почти черный. Ну, и вокруг вода. А немного поодаль костел со звонницей. Он более поздний. Начало семнадцатого века. И все это вместе порождает в тебе что-то гнетущее, тяжелое, мрачное. Ну, как будто проклятие на нем какое-то, как будто привидения там до сего времени блуждают.

— Книг начитался, олух.

Он вдруг обернулся. Резко. Стремительно.

— Да. И книг тоже. Представляешь, не у одного меня все это вызывает такое ощущение. У всех вызывало. Всегда. И это не мое, субъективное, а общее ощущение. Вот смотри...

Марьян бросился к стеллажам и, долго не роясь, — видимо, не раз уже смотрел — извлек маленькую пузатенькую книжицу.

— Обложки нет. Кто-то из местных провинциальных романтиков прошлого столетия. Ясно, что местный, потому что на каждом шагу

встречаются диалектизмы. Пишет по-польски, не очень-то зная этот язык, а скорее зная его как местный, шляхетский диалект. Р-романтик! Знаешь, как эти авторы всяких там «Piosenek wiejskich z-nad Niemna i Szczary» ^[10] да «Чароўных Янаў з-пад Нарачы» ^[11] Янов из-под Нарочи (бел.). ^[12] Напишет книгу под названием «Душа в чужом теле, или Неземные радости на берегах Свислочи» и радуется.

Мне тоже стало не по себе. «Ценный» вклад внесли братишки-белорусы в культуру своего и братского польского народов... И все же сколько в этом было милого: наив, доброта, легкий оттенок глуповатой и искренней чувствительности, сердечность. В общем, говоря словами автора «Завальни» — «благородные прахи предков». И потом, не будь этих людей, не выросли бы на их почве ни Борщевский^[13], ни поэт-титан, вследствие собственной бедности подаренный нами Польше. Пусть спят спокойно: они свое сделали.

Марьян, однако, не был настроен так добродушно. Он весь кипел.

— Черт бы их побрал. Если уж на то пошло, так это они насаждали провинциализм, а не Дунин-Марцинкевич, на которого вешали столько собак. Сами и вешали. Да и романтизм наш дурацкий, белорусский, паршивый именно они насадили.

— Паршивый белорусский романтизм и гофманизм мы среди них насадили, — сказал я. — Но в чем дело? И зачем ты этой кантычкой^[14] у меня под носом размахиваешь?

— Ощущение от Ольшан, — словно осекшись, сказал он и начал читать.

Сто раз с того времени перечитывал я эту легенду, написанную наивным и возвышенным стилем романтика (хорошие они были люди, честные до святости, чистые до последней капли крови, не доносчики, не паршивцы!). Сто раз вчитывался в строки, то нескладные, а то и совсем неплохие. Даже для удобства перевел на свой язык, хотя с юности не марал рифмами бумагу. Я и сейчас — хотя поэт из меня хуже чем никакой — передам ее вам в этом шероховатом переводе. А тогда я слушал ее впервые.

Черный замок Ольшанский. Месяц ныряет в тучах.
Башни во мраке туманные видят сны о былом дремучем.
Слушают ветер промозглый, волчий вой на далеких
равнинах,
Слушают, как на зубцах трепещут от страха осины.

У, как мертво и тихо! Тьма, как в тысяче хлябей болотных.

Тихо! Ты слышишь вдали в аркадах шаги бесплотные?
Полночью каждой такую в замке, что стынет от страха,
По галереям проходят дама с черным монахом.

Далее излагается обычный романтический сюжет, для нас уже в чем-то детский. Благородный разбойник из некогда богатого, а теперь доведенного до нищеты рода влюбился в жену Ольшанского князя. Та тоже любила его. Князь был скупым и жестоким старым зверюгой — по всем канонам этого жанра.

Любовники, захватив казну, убежали из замка. Князь погнался за ними и убил. И вот их призраки бродят под аркадами замка, чувствительно и тяжело вздыхая и пугая стенами добрых людей.

— И что, это правда? — спросил он, окончив чтение.

— А черт их знает, этих романтиков, — ответил я. — Разве была на свете Гражина? Или город на месте Свитязи^[15]?

— И тебя ничто не насторожило? — Он вопросительно смотрел мне в глаза.

— Насторожило, — ответил я.

— Что?

— Единственная реальная деталь. То, что княжескую казну забрали. Как-то этот поступок не вяжется с романтической поэтикой. А уж с их моральным кодексом — ни боже мой!

— Пр-равильно! — хлопнул он меня по плечу. — Умница! В самом деле, для романтика это хотя и чудовищная, но реалья. А если так, то почему бы не быть правдой и всей легенде?

— И призракам? — поддел я.

— Призраки тоже есть на свете, — помрачнел он. — Их больше, чем мы думаем, друже.

Марьян закурил. На этот раз по-настоящему, затягиваясь. Я тоже вытащил из надрезанной пачки сигарету.

— Так вот, — сказал он. — Я начал проверять. И, что самое удивительное, похоже на то, что наш поэт — автор этой самой легенды — для легенды не так уж много и наврал. Постарайся слушать меня внимательно.

За окном лежал пустырь с редкими стеблями бурьяна.

— Ты, наверное, не знаешь, что Ольшанские были едва ли не самым

богатым родом на Беларуси. Но лишь определенное время. Приблизительно сто лет. До этого и потом — ну, обычная магнатская фамилия, как все. Но в это столетие — крезы, подавлявшие богатством самого короля.

— Когда же это столетие началось?

— В 1481 году. Ну-ка, что это за год?

Была у нас такая игра, от которой иной непосвященный человек посинел бы. Так вот, внезапно, словно с обрыва в воду, задавать друг другу вопросы вроде того, на каких языках была сделана бехистунская надпись (на древне-персидском, эламском и вавилонском) или какого цвета были выпушки в инженерных войсках при Николае I (красные).

— Кишка у вас тонка, дядька Марьян, — сказал я. — Это год заговора Михаила Олельковича, князя Слуцкого, и его двоюродного брата Федора Бельского.

— Правильно. И других, среди которых Петро Давыдович, князь Ольшанский. Что дальше?

— Ну-ну, хотели они великого князя Казимира смерти предать и самим править страной. А если уж не повезет, то поднять край и держаться до последнего. Если же и это не получится, то со всеми своими владениями от княжества «отсести» и искать подмоги у Москвы.

— Так. И чем это кончилось?

— Заговор раскрыли. Полетели головы. Кого в темнице придушили, кого на плаху при факелах, кого, попроще, — на кол. Сотни жертв среди тех людей, кто хотел самостоятельности. Бельский Федор Иванович, бросив все, удрал в Московию к Ивану III и принес ему в «приданое» «северские земли».

— А другие земли куда подевал? — иронично спросил Марьян.

— Ну, не в кармане же унес. Бросил.

— Вот оно как, — сказал Марьян. — Колья, плахи, дыба. А кто из главных заговорщиков остался?

— Валяй.

— Ольшанский остался. Один из всех. Единственный, с кем ничего не случилось. Наоборот, осел в поместьях прочно, как никогда. Почему?

— Сильный был. Боялись. Род княжеской крови, и с королями повязан не раз.

— Чепуха. Не поглядели бы.

Он бросил книжку на стол. Мы молча сидели друг против друга. Наконец Марьян провел рукой по лицу, словно умылся.

— И как раз с этого года начинается невиданное, просто даже

предосудительное, фантастическое обогащение рода. Тысяча и одна ночь. Сокровища Голконды и Эльдорадо. Дарят города. Встречая великого князя, одевают в золото тысячи шляхтичей и крестьян. Листовым золотом покрывают замковые крыши. Словом, налицо все, на что способен был человек того времени, неожиданно разбогатев.

— Внешне вроде бы культурно, а изнутри...

— Дикарство? — спросил Марьян. — Да нет. Это тоньше. Смекни: только-только достигли настоящей власти. Над душами, над телами, над государством, наконец. С Всеславом-Чародеем^[16] не очень-то поспорил бы, не шибко побрыкался. А тут... Ну и отказали сдерживающие центры. Отказали, как у всех свежеиспеченных властителей над всем, хотя многие из этих, свежих, и столетиями свой род тащили, но на правах... ну, дружинников, что ли. И вот началось: внешне гуманисты, внешне утонченные, а изнутри — тигр прет.

— Тут ты, по-моему, ошибаешься, — сказал я. — Вспомни Острожских, Миколу Радзивилла, Сапегу Льва. Настоящие, образованные, воспитанные люди, пусть себе и тоже со страстями.

— Это внешний разлад, — сказал Марьян. — Конечно, в массе это не двор Чингисхана и не опричный двор. Все же на глазах у Европы, начала гласности, начала демократии, пускай себе шляхетской. Nobless oblige^[17]. Но ломки хребтов и здесь хватало. Время такое.

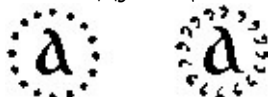
— «Время всегда таково, каковы в нем живущие люди», — процитировал я кого-то. — Но ты все же гони сюжет.

— Ну и вот. Вдруг через каких-то сто лет всему этому роскошеству — крес^[18]! Довольно через меру кутить, довольно листового золота, довольно собственных полков в парче! Обычный, не самый богатый род. В чем дело?

— Этого мы никогда не узнаем, — сказал я. — Мало ли что там могло произойти? Ну, скажем, во-первых, — этот Петро Давыдович, хотя и сильный, однако побаивался, что припомнят участие в заговоре, и решил то богатство растронжирить, пожить на всю катушку. И наследники транжирили. А когда все промотали, то и успокоились.

— Т-так, — сказал он. — Ты знаешь, что это за знаки и что они обозначают?

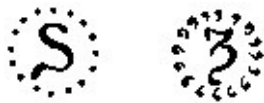
На клочке бумаги он вывел следующее:



— Ну, ты меня ребенком считаешь. Это числовые знаки букв. Первая — легион, или сто тысяч, вторая — леодор, или миллион.

— Ну, а это?

И он написал еще и такое:



— Ну, шестьсот тысяч, ну, семь миллионов.

— Так вот, ответь мне теперь, дорогой ты мой шалопай, лоботряс и вертопрах Антон Глебович, каким таким образом мог человек, даже могущественный, наворотить за полгода состояние в шестьсот тысяч золотых да на семь миллионов драгоценными камнями — это по тем временам, когда и в самом деле «телушка-полушка» была, — и каким образом он, даже если бы ел то золото и его наследники ели, мог за каких-то сто тридцать лет расточить, промотать, растратить, струбить, ухлопать такой капитал? А ведь они, кроме того, ежегодно имели фантастические доходы.

— Отвечаю на первую половину вопроса: возможно, знал о казне заговорщиков и прибрал ее к рукам.

— А может, выдал? — спросил Марьян.

— Такое о людях брякать бездоказательно нельзя, если даже они и гниют уже в земле триста лет. На то мы и историки.

— Угм. «История, та самая, которая ни столько, ни полстолько не соврет». Сгнил он, только не в земле, а в саркофаге Ольшанского костела. Там на саркофагах статуи каменные лежат. Такая, брат, лежит протобестия, с такой святой да божьей улыбочкой. Сам увидишь.

— Почему это я вдруг «увиджу»?

— Если захочешь — увидишь. Ну вот, а что касается исчезновения — вспомни балладу этого... менестреля застенкового^[19].

— Выдумка.

— У многих выдумок есть запах правды. Я искал. Искал по хроникам, воспоминаниям, документам. Сейчас не стоит их называть — вот список.

— И докопался?

— Докопался. Тебе говорит что-нибудь такая фамилия — Валюжинич?

— Валюж... Ва... Ну, если это те, то Валюжиничи — древний род, еще от «своих» князей, тех, что «до Гедимины». Имели владения на Полоцкой земле, возле Минска и на северо-запад от него. Но к тому времени все реже вспоминаются в универсалах и хрониках, видимо, оскудели, потеряли вес. В общем-то, обычная судьба. В семнадцатом столетии исчезают.

— Молоток, — с блатным акцентом сказал Марьян. — Кувалдой станешь. Ну, а последний всплеск рода?

— Погоди, — сказал я. — Гомшанское восстание, что ли?

— Ну-ну, — подначивал он.

— Гремислав Андреевич, кажется, Валюжинич. 1611 год. Знаменитый «удар в спину»? Черт, никак я этих явлений не связывал.

— А между тем, Гомшаны от Ольшан — не расстояние. Да, Валюжинич. Да, две недели непрерывных боев и потом еще с год лесной войны. И на крюк подвешенные, и на кол посаженные. Да, знаменитый «удар в спину», о котором мы так мало знаем.

— Невыгодно было писать. «Предатели». И в такой момент! Интервенция, война. Последующие события, наверное, и заслонили все... Сюжет, Марьяне!

— Невыносимый ты, — возмутился он.

— Сгораю от любопытства. Не тяни.

— Ну так вот. И подсчитал я, мой дорогой, по писцовым книгам и актам, что за эти годы, учитывая и доходы с поместий, потомки, несмотря на все «сумасбродства», не могли истратить более трети приобретенных сокровищ. Это при самом что ни на есть страшном, «радзивилловском» мотовстве. И вот в год бунта Валюжинича в Ольшанах княжит Витовт Федорович, пятидесяти семи лет, а жена у него — Ганна-Гордислава Ольшанская, двадцати пяти лет, а в девичестве княжна Мезецкая. И княгиню эту нещадно упрекает в своем послании бискуп^[20] Кладненский Героним за забвение княжеской и женской чести, а главным образом за то, что враги княжества великого пользуются для тайных с нею встреч монашеской одеждой.

— Действительно, ужас какой, — сказал я. — «Дама с черным монахом».

— И паршивый белорусский романтизм, — сказал Марьян. — Вот, представь себе такую мою гипотезу. Все разбито. Спасения нет. Повсюду рыскают вижи — соглядатаи и шпики. Сподвижники на кольях хрипят. И во всем с самого начала повинен князь Витовт Федорович Ольшанский. Ему на откуп было отдано Кладненское староство. Он греб бессовестно и неистово, много денег содрал с него на свою корысть. По его вине вешают людей. А жена, как и в балладе, — ангел. Что, не могли они ту казну, сокровища те, захватить и убежать? Чтобы хоть часть награбленного вернуть жертвам?

— Гипотезы, — сказал я. — Откуда тот поэт мог знать?

— А ты подумал, сколько архивов, семейных преданий, слухов, легенд, наконец, могло исчезнуть за сто с лишним лет? С войнами, да пожарами, да революциями? Наверное, что-то знал.

Он опять закурил. Не нужно было ему это делать.

— И вот в 1612-м, — он выпустил кольцо дыма, — этот человек, этот «монах», исчезает. Самое любопытное, что исчезает и она. Или бежали, или были убиты — кто знает? Скорее всего — бежали. Имеется свидетельство копного^[21] судьи Станкевича, что погоня княжеская была, потому что те будто бы взяли Ольшанские сокровища, но он, Станкевич, властью своей погоню ту прекратил и гонити, под угрозой смертной кары от короля, не позволил. Может, какой-то другой княжеский загон догнал беглецов и убил? Нет. В том же копном акте имеется клятва Витовта Ольшанского на евангелии, что не убивал и нет крови на его руках. И что после его последней встречи с ними, когда выследил, как убегали они из Ольшан, такие-то и такие свидетели знают, что они были живы еще спустя две недели... А между тем их следы исчезли. Ни в каком городе аж до Вильно, Варшавы и Киева следов их нет.

— Ну, мало ли что! Тихо жили, вот и нет. Хотя попробуй проживи тихо с таким богатством.

Вдруг меня осенило.

— Погоди, а зачем там был копный судья Станкевич, человек из рода белорусских шерлок-холмсов, потомственный сыщик? Пускай он себе государственный муж, сыск для него — тоже дело далеко не второго порядка. Но ведь в шестнадцатом-семнадцатом столетиях почти ни одного шумного дела не было, чтобы его кто-то из Станкевичей не распутывал. Вплоть до самого нашумевшего Дурыничского убийства^[22].

— То-то же и оно! Как раз во время исчезновения беглецов король назначил Станкевича на ревизию имений и прибылей князя Ольшанского.

— И...

— И ревизия эта закончилась ничем. Все сокровища исчезли. Исчезли и те, кто забрал их. Исчезли все расчетные книги, документы, даже родовые грамоты. Все исчезло. Племянникам князя Витовта пришлось их заново выправлять. И оттого над ними позже крепко смеялись и, когда хотели поиздеваться, высказывали сомнение: дескать, так ли уж на самом деле древен их род, не вписали ли они себя сами в разные там привилеи и книги. А у них и богатства дядькиного, сказочного, не осталось, чтобы хоть роскошью заткнуть рты, замазать глаза.

— Племянники? Почему? И неужто следствие не докопалось до истины?

— Нет, не докопалось. Да, племянники. Потому что через год после начала следствия князь Витовт Ольшанский нежданно, скорым чином умре.

Мы замолчали. Ненастный, слякотный день за окном все больше тускнел.

— Но почему следствие? — спросил я.

— Вот и я думаю, почему.

— Всплыли события столетней давности?

— Кого они интересовали? Даже если и было какое-то преступление, то что — отвечать внуку за деда? Через сто лет?

— Могли польститься на деньги. Государственная казна была пуста.

— Чепуха. Скорее бы новую подать наложили — и все.

— А может, на откупе князь проворовался?

— Тоже никого не интересовало. Уплатил сразу всю сумму, получил староство в аренду, а там кому какое дело, даже если бы ты трижды столько содрал с жителей?

— Может, дела восстания? Связь этой... урожденной Мезецкой с главарем?

— Дело касалось Ольшанского. Мезецких трогать бы не стали. В 1507 году какая-то прабабка нашей героини была «сердцем и душой» великого князя Жигимонта. И с того времени — приближенные к королям, очень доверенные люди.

— Так, может, расследовали исчезновение княгини Ганны?

— Позже она исчезла. Следствие уже с месяц шло. Видишь, сколько версий: старинный заговор — откуп — события восстания и то, как они отразились в семье князя.

— А возможно, и то, и другое, и третье.

— Может быть. Вот и занялся бы. Займись, а? Вот тебе и тема для очередного расследования.

Святая Инесса смотрела на меня, умоляюще сложив руки.

Я не мог отказать ей.

— Подумаю, — сказал я. — Однако, послушай, Марьян, какая может быть связь между двумя событиями тех лет, да еще разделенных целым столетием, этой книгой из Ольшан, давно заброшенной, никому не нужной, кроме музея, да таких, как мы с тобой, и тем, что какие-то барыги от бизнеса на старине звонят тебе, ходят под окнами и так далее. Может, под окнами совсем не те, что звонили.

— Может. Но тревога такая, что, кажется, вот-вот умру. Какое-то предчувствие. Вот говорит сердце, и все.

— Говорит, потому что больное. У тебя разве не было прежде таких приступов беспричинного ужаса?

— Это не то. Это не от сердца. Это глубже. Словно у собак перед

пожаром.

— Обратись в милицию, как я тебе советовал.

— Чтоб приняли за сумасшедшего?

— Тогда успокойся. Довольно себя истязать.

Я поднялся. Надо было идти домой. И тогда Пташинский как-то внутренне засуетился. Начал нервно трепать темные волосы. Глаза стали беспомощными.

— Знаешь что...

Он взял старую книгу и протянул мне.

— Знаешь... Возьми ты ее с собой... Они...

— Кто они?

— Не знаю. Они... Они не подумают, что я такую вещь мог выпустить из дома. Мне спокойнее будет. Хорошенько спрячь. Я буду иногда заходить. Исследуй ее, потом мыслями обменяемся.

— А над чем же будешь думать ты?

— У меня хорошая фотокопия. Я, чтобы не трепать книгу, работаю по ней. К тому же я в палеографии разбираюсь хуже тебя. А ты — погляди. В чем там дело? Возьми вот портфель. Можешь оставить у себя.

Портфель был огромный. Даже эта большая книга скрылась в нем, и еще осталось свободное место.

Я собрался было идти один, но увидел, что Пташинский натягивает пальто. Когда он брал на поводок собак, я было возмутился.

— Это еще зачем?

— Молчи, Антон. Надо.

Он дал мне еще повод удивиться. Заскочил в ближайший «Гастроном». Собаки, конечно же, остались со мной, люто зыркали вокруг. Я думал, что он вынесет бутылку. А он вынес три. Одну, как и положено, с вином, а две... с кефиром.

— Марьян, — сказал я. — Ведь я его терпеть не могу. Это же какая-то глупая выдумка. Мне же молоко бабка носит, я же сам его заквашиваю, делаю наше, деревенское. Мне от этой кефирной солодухи блевать хочется.

— Можешь вылить, — сказал он, засовывая бутылки в портфель так, чтоб были видны горлышки. — Кислое молоко! Устойчивые привычки старого кавалера.

— Маскарад? — с иронией спросил я. — Совсем ты рехнулся, Марьян, в детство впадаешь, сукин сын.

— Ладно, — проворчал он, беря поводки. — Ты иди себе. Иди. Топай. Я провожу.

Его тревога, как это ни странно, передалась и мне. Понимал, что все

это вздор, а не тревожиться не мог.

...У подъезда Пахольчик высунулся из своего киоска:

— Бож-же ж ты мой, вот это собаченции! Звери! А что б это могла быть за порода такая — не сделаете ли одолжение объяснить?!

— Тигровые доги, — буркнул Марьян.

— Ай-я-я-яй, чего только не бывает! И тигра и собака! А скажите мне, как это их повязывают? Ведь тигра, хотя и большой, а кот. Как же он — с собакой?

— Силком, — сказал Марьян.

— Дрессируют, — добавил я, но тут мне стало жаль старика. — Это просто масть у них такая, тигровая. Мы шутим, дядька Герард.

— Ну, бог с вами. Шутить не грех. Гляжу, прогулялись вы сегодня, румянец здоровый. И хорошо, что кефир на ночь пьете. Здорово это — кефир.

— Еще бы, — сказал я. — А с вином и совсем недурно.

Мы вошли в подъезд.

ГЛАВА IV. Про женщину из прошлого, абелей в отставке и о том, как чтение евангелия не принесло никакой пользы, кроме моральной

Когда Пташинский ушел, я вспомнил, что уже три дня не могу дописать батьке письмо. Совсем закрутился с этой книгой. И письмо это несчастное уже давно было по сути написано, но тетка Марина всегда обижалась, если я не приписывал лично для нее хотя бы несколько строк. Человек она пожилой, с капризами.

Я решил, наконец, свалить с плеч эту обязанность. Достал еще один лист и, помолясь богу, чтоб только не обидеть неосторожным словом, начал писать:

"Мариночка, тетенька! Ты же ведь знаешь, как мне тяжелехонько писать, какой я бездельник. Иное дело звонить, но я звонил и не дозвонился. Уже потом узнал о Койдановской свадьбе и что вы там были. Загрустил я по тебе и отцу. Если он забыл все слова, кроме «запсели они, сидя в городе» и «приезжай, половим рыбу», то хоть ты возьми лахі пад пахі^[23] и приезжай ко мне. Как получишь письмо, так и выезжай, чтобы на завтра я тебя видел здесь. Поговорим, в театр на новую пьесу ходим. Страшно интересно! А то боюсь, вдруг случится что, пошлют куда-нибудь и тогда до лета не жди. Правда, возьми и прикати. У тебя ведь теперь есть свободное время. Заодно я надумал купить вам кое-что. Приезжай, скажем, 12-го в 11 часов поездом. И не откладывай. Встречу на машине. В самом деле, за чем остановка? Дай телеграмму, если приедешь позже. А то у вас с утра работа, и днем, и вечером работа. А я вас знаю.

Дела мои с новой книгой пошли на лад. И так все вдруг получилось! Помогли рецензии, дай бог здоровья Петровскому и Клецкину. Так что, позвольте доложить, целую тебя уветливо и умильно и остаюсь

твой почтительный благоговейный племянник
Антон".

Ф-фу-у! Вот ведь и люблю я тетку, и беседовать с нею одно наслаждение, а написать слова, что сказал бы устно, — зарез.

Я отложил письмо, погасил настольную лампу. Снова перелистал книгу Пташинского и вдруг решил, что ее не стоит оставлять на виду. Словно подозрительность Марьяна заразила и меня. Поэтому и взял тяжелый том и понес к секретеру.

У меня мало старых вещей, не то что у Марьяна, но даже Марьян завидует моему секретеру. А я горжусь им. Самое начало XIX столетия. Варьированный местным крепостным мастером до неузнаваемости ампир. И эти вариации сделали ампир, если это только возможно, еще более благородным. Строгие формы, продуманность каждой детали, рассчитанное удобство и красота. Черное дерево и самшит, скупой инкрустированные перламутром. И как только откинешь доску — встает перед глазами радуга: бабочки над стилизованными полевыми цветами. Сколько я намучился, пока чуть ли не из груды лома восстановил его.

Но главное не это. Главное — тайник, который я сам случайно обнаружил только около года назад. Нажимаешь на пластинку возле замка, подаешь ее вперед, а потом влево, и отодвигается в сторону задняя стенка отделения для бумаг. А если при этом нажать на среднюю бабочку — откроются боковые тайники, очень вместительные.

Там можно прятать письма, документы и все такое прочее. Туда я сейчас положу книгу Марьяна. Не нужно, чтобы ее видело больше людей, чем это необходимо. Ну и потом: у меня «увели» довольно много книг. От «Сатира» Кохановского до «Вина из одуванчиков» Бредбери. Увели даже белорусский том «Живописной России», несмотря на гигантские размеры. Если кто-нибудь «одолжит» и это — будет плохо. Как тогда смотреть в глаза Пташинскому и у кого одолжить глаза для себя? У собаки, что ли? А таких охотников на «позаимствование без срока» у нас все больше и больше. И даже суда на них нет, гадов.

Я спрятал книгу, закрыл тайник. И хорошо сделал. Потому что сразу залился дверной звонок и появилась «моя прежняя любовь» Зоя Перервенко собственной персоной. Явилась после того, как два месяца носа не показывала, и я уже думал, что никогда не зайдет.

Пока я ставил на столик бутылку «Немеш кадара», яблоки и еще то-се, пока включал нижний свет и гасил верхний, мы обменялись десятком стандартных фраз: как жизнь, что там и чего, как со здоровьем (это в ее двадцать восемь!). И лишь после первого бокала я сказал:

— А я думал — все.

— Оно так и есть — все. Незачем дольше тянуть, если уж ты такой честный.

Честный не честный, но, когда в первый вечер нашего знакомства вся компания ушла от меня, а она осталась до утра и потом оставалась почти каждый вечер на протяжении четырех месяцев, я тогда, видит бог, не знал и даже подумать не мог, что она замужем. Наоборот, из такого ее поведения бесспорно вытекало, что она одна. Черт бы побрал этих мужей, что ездят на

семь месяцев в экспедиции, да еще туда, куда даже несчастный Макар не гонял своих не менее несчастных телят.

Все всплыло наверх только тогда, когда я предложил ей поехать на юг, а потом подумать и о чем-то «более серьезном». Тут-то она мне и поведала обо всем. При этом, нисколько не смущаясь, предложила, как лучший вариант этого «серьезного», что будет иногда заходить и после возвращения мужа. Я только крикнул. И, может быть, даже согласился бы, потому что успел очень привязаться к ней. Но это было невозможно. Ибо самым большим свинством во всей этой истории было то, что я, оказывается, прекрасно знал ее мужа, Костю Красовского. А он был чудесный парень, верный друг своим друзьям, широкий, независимый, душа всякой компании, любитель погулять, честнейший палеонтолог и добрейшей души человек. Такого обидеть — тотчас надо повеситься.

И я стал отдаляться, хотя, ей-богу, если не врать, это мне дорого стоило.

Яркая блондинка, глаза густо-синие и холодные, поразительно изогнутые сочные губы, стройная шея, изящные руки, безупречное тело — от высокой груди до ног, которые уже сами по себе были как мечта каждого мужчины.

Черт бы побрал эти разные фамилии!

Черт бы побрал эту невозможность знать, замужем женщина или нет! Черт бы взял в этом смысле всех не литовцев! Как было бы хорошо. Знакомишься. «Красаускайте», — ну, значит, дерзай, голубчик, если она не против. «Красаускене», — ну и топай, дорогой, прочь, ад брамы ды прама^[24], здесь участок застолблен, и если получил «облизня», то иди и облизывайся, не с твоим еловым рылом здесь мед пить.

Во всей этой истории меня утешило только то, что она, заметив мое отдаление, сбросила — наверное, по глупости — маску доброжелательной, преданной, покорной женщины. И я, наконец, рассмотрел в ней безграничное желание жить, только получая блага и ничем не платя взамен жизни и людям, неудержимую жажду всяких там утех и наслаждений, что бы там ни творилось вокруг, как бы плохо ни было окружающим.

Но разве она одна такая из женского племени? Это еще не причина, чтобы перестать любить. Иногда наоборот, таких еще больше любят. И страдают, как страдал я.

Только спустя какое-то время мой друг Алесь Гудас, тот, что подавал мужикам в окно стакан, увидев, что я немного протрезвел, сказал:

«Не с тобой, брат, первым она этого бедного Красовского обманывает. Такой хлопец, такой золотой парень — и на тебе!»

«Почему же ты этого раньше не сказал?»

«А ты не поверил бы».

«И то правда».

«Не поверил бы». «Влюбилась женщина». «Ну и что же, что замужем?» «Бывает». «Это не свинство, а несчастье».

«О-ох, иди ты, Алесь, к дьяволу!»

«И вообще из-за нее Косте одни неприятности. Да и что спросить с человека, у которого лучшие подруги маникюрщицы и продавщицы универмагов?»

«Ты что-нибудь имеешь против продавщиц?»

«Ничего. Даже люблю. Но для бесед выбираю темы не только про мохеровые кофты».

«Знаю я, какие ты темы выбираешь».

Посмеялись. И вот так, понемногу, очень болезненно, началось мое излечение. Но иногда она все же заходила. И всякий раз я изо всех сил старался не заводить дело слишком далеко. Как теперь.

— Я тогда решила разводиться, — вдруг сказала она. — А потом подумала, что все равно ты мне не простишь этого обмана. А если так, то в чем виноват Костя? Любит меня, прощает многое. Останусь да попробую искупить вину. Чего уж! Нагрешила, так искупай. А со всем этим надо кончать. Буду так доживать, да и чего еще надо. Звезд с неба он, конечно, не хватает, но добрый, честный, простой. Пусть будет так. Пора смириться, Зоенька.

Сказала как-то так тихо и грустно, что душу мою перевернула.

— Не надо. Чего уж там. Я больше тебя виноват.

— В чем твоя вина? Нет, я своего никому не отдам... Ни хорошего, ни позорного.

Все же, несмотря на все неприятные черты характера, были в ней и внутренняя совесть, и ум, и боль далеко не счастливого человека. Мне было жаль ее. Наверное, потому, что немного любил.

— И ты не мучайся. Пусть будет все, как есть. Разве нам было плохо все эти месяцы? — спросила она.

— Хорошо было, — принимая все, сказал я.

— Ну вот, значит, нам дано было счастье. Будет что вспомнить. Разве мало? Другие и на понюх такого не имеют. Ну... ну... что ты?..

Погладила меня по голове. Это прикосновение маленькой руки заставляло меня в свое время сходиться с ума от влечения к ней. Теперь оно отозвалось лишь болью.

— Вот видишь, значит, и в самом деле конец. Ладно. Ты не будешь

против, если я иногда буду все же заходить?

— Почему это я буду против?

— Ты не бойся. Просто так. Отогреться.

— О-ох, что же это мы все-таки натворили?!

Она положила одну свою красивую ногу на другую, пригубила вина. Лицо ее при свете торшера было золотым, мягким и очень грустным.

— Я раньше, чем ты, забыла, что ни на что не имею права. И что тебе было думать о моей репутации? Ты же ничего не знал. И потом, можно подумать, что ты первый пришел ко мне и остался. Змий-искуситель. Я сама этого хотела. И это меня к тебе тянуло. Я и сделала, чего желала и что могла.

Честное слово, сердце у меня разрывалось от этих слов. Но что я мог?

— Ну хорошо, — глухо сказала она. — Хватит об этом... Ты где был сегодня?

Явно искала нейтральную тему.

— У Марьяна, — сказал я.

Зоя немного знала его: раза три-четыре встречались у меня.

— Он что, по-прежнему чудит с этими деревянными куклами?

— Не надо так, — сказал я. — Он делает большое дело.

— Да я разве против? Как его жена?

— Плохо с ней. Ну, это их дело. Хуже то, что он из-за нее страдает. И, наверное, поэтому сердце снова дурить начало. Страхи разные, как всегда у сердечников. Подозрения. А от кофе и табака никак не откажется...

— В больницу ему надо лечь. Жаль, если с хорошим человеком что-нибудь случится. Сволочь какая-нибудь живет, а вот Сережа Певень, бедняга, такой молодой, талантливый, только что должность такую хорошую получил, так легко с ним людям было бы жить — и на тебе, рак.

— Это беда, — сказал я. — Великая беда! Но что поделаешь, если на долю нашего поколения столько выпало.

Она вдруг решительно поднялась.

— Ну, нечего засиживаться. — Поколебалась немного — и оставила «Немеш кадар». — Приторный.

— Ты ведь любишь полусладкие.

— Наши люблю. А может, мне просто в эти дни все приторно? Слушай, Антось, а что это мы в первый наш вечер пили, не помнишь?

— Помню. Ты была в голубом платье. И бусы янтарные на шее. И губы не окрашенные. А пили мы тогда «Хванчкару».

— Пожалуй, нигде ее теперь нет. А хорошо было бы... по последнему бокалу... Так, как тогда — по первому. Ведь это же последний, Антоша...

Последний. И ничего тут не поделаешь. И вот стол твой с чистой бумагой, и этот подсвечник, и лампа. И всего этого я, наверное, уже не увижу, потому что не знаю, найду ли силы заглядывать к тебе.

Слышать это было невыносимо, и потому я, чтобы отдалить неминуемую последнюю минуту, тихо сказал:

— Почему не достанешь? Вчера в магазине была «Хванчкара». Чудеса какие-то. Видимо, что-то большое в лесу сдохло... Большой какой-то зверь подох... Разве что разобрали? Давай сбегаяю.

— Сбегай, — сказала она глухо. — Окончим тем, с чего начали. Только не задерживайся там долго. Мне страшно будет тут... одной.

Когда я уже надевал пальто, она спросила:

— Деньги у тебя хоть есть? А то возьми...

— Есть.

Я быстро бежал в магазин и проклинал себя всеми возможными словами.

...Когда я возвратился, она стояла у окна и смотрела в темноту. Обернулась ко мне и вытерла глаза.

— Я, глупая, погнала тебя, не спросив, хочешь ли этого ты.

— Не хотел бы — не пошел.

— Тогда налей.

Мы сидели и перебрасывались малозначительными словами, но у меня было такое состояние, словно я на собственных похоронах или на похоронах чего-то дьявольски важного. Никогда в жизни мне еще не было так тяжело и скорбно.

Когда мы уже одевались в прихожей, она вдруг припала к моей груди.

— О-ох, Антон... Что я наделала! Почему с самого начала не сказала правды? Зачем обманула?

— Слушай, — не выдержал я, — оставайся. Навсегда. Я не могу больше.

Глаза у нее были влажные, невыплаканные.

— Нет, — сказала она, — не имею права. Да и зачем? Назад не вернешь. Но я все же, может, когда-нибудь зайду к тебе погреться. И только.

В эту минуту я снова любил ее, может, больше, чем прежде. Мое сердце мучительно тянулось к ней. Но я понял: и в самом деле — все. Она так решила.

...Мокрый снег лепил в наши лица, когда мы вышли на бульвар. Она поймала такси, но долго стояла возле него и смотрела мне в глаза.

— Ну, прощай, — наконец сказала она, словно от себя оторвала что-

то. — Раньше в таких случаях надо было перекрестить. А теперь...

Она прижалась к моим губам холодными мокрыми губами и, когда они потеплели, с трудом оторвалась.

— Прощай. Бог с тобой. Прости.

Хлопнула дверца такси. Последний раз взметнулась за стеклом рука в белой перчатке. Потом машина рванулась с места, окатив мои ноги мокрым бурым снегом.

...Все во мне плакало, и не столько от любви, сколько от утраты. Неизвестно почему я зашел в кафе «Космос», выпил там у стойки бокал коньяка, потом пошел шататься по улицам, нащупал в кармане измятый конверт с письмом к отцу и опустил его в ящик, долго сидел на мокрой скамейке и бесцельно смотрел на радужные пятна фонарей в черных обледенелых ветвях. Затем снова выпил у стойки. На этот раз вина.

...Пуще смерти было возвращаться в пустую квартиру, еще пахнущую ею. И потому я, сам не зная как, нажал звонок на двери Хилинского.

Он открыл мне, окинул взглядом и, по-видимому, малость испугался.

— Заходи, — сказал он. — Чего-нибудь выпьешь? Ну, конечно, выпьешь. Снимай пальто. Я сейчас.

Как Марьяна выживали из квартиры иконы, так полковника (а может, он и не полковник был, а в самом деле Абель в отставке, черт его знает и черт его завяжет человечьи языки) выживали из квартиры книги. Лишь два небольших простенка были свободны от них. Перед одним стоял на столике эпидиаскоп (Хилинский увлекался снимками на слайды, добывал каким-то чудом немецкую пленку «Орвоколор», и этот простенок использовал, чтоб демонстрировать самому себе снятое). Сейчас у столика с эпидиаскопом лежали пластмассовые рамки, ножницы, змеями извивались пленки. Все прямо на полу, на ковре.

На втором простенке, над тахтой, висел портрет в овальной раме, писанный в манере старых мастеров. Даже лаком покрытый. Портрет был прорван у нижнего закругления рамы: рваная рана была кем-то грубовато зашита и по-любительски закрашена. На портрете — женщина в черном с красным платье. И сама смуглая, южного типа.

Всякий раз, когда я заходил к Хилинскому, меня удивлял этот портрет. Никогда еще мне не доводилось видеть такое значительное женское лицо. И такое красивое одновременно. Глаз не оторвать. И полуоткрытый рот, и гордый нос, и лоб, и вся эта нежно-горделивая, совершенная статья. О, господи мой боже!

Хилинский прикатил столик на колесах, перегрузил с него на другой, круглый, стеклянный, начатую бутылку виньяка, лимон, спрессованный в

колбасу грузинский инжир.

— Ну, чтоб сгнула беда.

Выпили.

— Да что с тобой наконец, парень? Ректора к трем чертям послал? А?

— Нет. А стоило бы.

— Калеку избил? В дочку архиерея влюбился?

— Какая же у архиерея дочка?

— Ну что еще? Троцкого на лекции случайно процитировал?

Я молчал.

— Ага. Случайно зашел в однотипную с твоей квартиру, молока попил и думая, что дома, провел время с чужой женой, как со своей. Света не хотел включать. А все — однотипное.

— Да, — сказал я.

И тут он понял, что я не шучу. А я, сам не зная почему, рассказал ему всю эту мою историю. Конечно, без имен. Конечно, изменив все, что надо было изменить.

— Досадно, — сказал он. — Но что поделаешь? В дальнейшем, прежде чем кидаться башкой в омут, узнай обо всем. Страстность эта наша глупая, белорусская, губит нас. А ты, если уж так случилось, предложил ей пойти с тобой?

Я рассказал, как все было.

— Возврата нет, Адам Петрович. Мучает, изводит она себя за обман. Но что делать?

— Молчать надо, хлопец, — после паузы промолвил он. — Возможно, там еще и склеится, если молчать, если никто никому ничего. А ты — что же, отстрадай свое. С бедой переспать надо. И не одну ночь. Тогда она тебе обязательно изменит с кем-нибудь другим. Только тогда станет легче.

Я не узнавал его. Обычно так и сыпались из него присказки, часто фривольные, а тут передо мной сидел человек, углубленный в мое горе, даже, я сказал бы, суровый человек.

Вид у меня был, наверное, безутешный, потому что Адам сморщился почти жалобно, вздохнул и налил еще по рюмке.

— Давай за нее. Все же благородства в ее душе, наверное, больше. Вот за это.

Он наблюдал за мной.

— Да не убивайся ты так. Возьми вот, покури трубку. Хотя у вас кишка тонка. Все на сигаретках. Импортных.

У меня перехватило дыхание.

— Ну перестань ты. Перестань! Это еще, Антон, не горе.

И, видимо, что-то решив, вздохнул.

— А, чтоб тебя! Ну, ладно. Искренность за искренность. Видишь портрет?

— Вижу.

— И никогда не спросил, кто это. Деликатный. Да я, может, тогда и сам тебе не ответил бы. А теперь скажу. Уж очень ты плох. Убиваешься сверх всякой меры. А меры человеческому несчастью не знаешь.

Выпил.

— Моя жена. По профессии была актриса.

Его сухое лицо словно обтянулось кожей на скулах и обвисло книзу. И сразу обрезались глаза под тяжело нависшими веками.

— Как считаешь, кто она по национальности?

— Не разбираюсь я, Адам Петрович, в южных типах. Белоруса за версту отличу, а тут судить боюсь.

— А все же...

— Грузинка? Армянка? Таджичка?

— Да нет.

— Молдаванка? Еврейка?

— Еще хуже, — горько сказал он. — Цыганка...

Затянулся.

— Вот в этом и была ее главная вина. А по вине и кара. И еще хорошо, если первый попавшийся по дороге яр. Короче были страдания. А я в то время был очень далеко... Не имел возможности вывезти, помочь... Не мог, не имел права даже возопить, что вот вы самого дорогого мне человека, сволочи, в лагерях, в оспе этой на всей земле, замучили. И сын потерялся где-то... Имею лишь тень восточки: отбирали детей нордического типа. А он беленький, в меня. Ты не смотри, что я теперь седой... Был я белый.

Искося взглянул на портрет.

— Какая была Грушенька в «Очарованном страннике», какая Маша в «Живом труп»! Пела — плакали люди. И за это — яр. За все — яр.

Отложил трубку.

— С этим... притерпелся не притерпелся, а так, притупилось трошки... А вот с сыном... Попал ли он обратно, в наш детский дом? А может, и... там. И не исключено, что какому-то нашему такому... Грибку доведется перестреливаться с ним... Вот так.

Взял рюмку с золотистым напитком.

— Я тебе это не затем рассказал, чтобы ты меня пожалел. Я затем, чтобы ты себя пожалел. То, что произошло с тобой, не самое страшное. Не самое последнее.

Благодарность моя к нему была такая большая, сочувствие такое невыносимое (в самом деле, чего стоила моя горечь по сравнению с его!), что я понял: надо переводить разговор на другую тему. Однако эта другая тема никак не приходила в голову. Поэтому я рассказал кое-что из страхов Пташинского.

— Ну, это не загадка, — сказал Хилинский. — Отчасти виной тому эти типы, обычные барыги, бз... ы, которым с законом связываться никак не с руки. А больше всего — болезнь. Это из-за сердца.

— И я так думаю.

В этот момент зазвонил телефон. Хилинский вышел в спальню, прикрыл за собой дверь, но слышно ему, наверное, было плохо, поэтому он вынужден был говорить громче, чем обычно, и я кое-что услышал.

— Иконы? В связи с этим? А, черт бы их побрал с этими девизами^[25]!

«Специально не говорит „валюта“, а „девизы“. Думает, что слова не знаю. Белыми нитками шьешь, Адам Петрович».

— Заразы. И оружие?.. Плохо слышно!.. Ясно. В час тридцать? Хорошо. Буду.

Он снова вышел ко мне.

— Причастился ты, парень, к моей тайне. А я вот неподобающе себя вел. На полный выговор.

— Я, Адам Петрович, не из болтунов. Вы меня не первый год знаете. И ваши дела меня не касаются. У вас свои, у меня свои.

— Обиделся?

— Обиделся. А мне хоть бы и век прожить, ничего о них не зная. Ни о чем я у вас не спрашивал. Неинтересно, извините.

— А напрасно. Все может быть. А насчет «хоть бы век», так зарекался кто-то. — Он похлопал меня по плечу. — Ну, хватит дуться. Ну, скажи лучше что-нибудь.

— Раз уж я случайно что-то услышал, то вернемся к Марьяну. Что-то и в его деле тревожное. Вот ведь иконы, валюта — не спрашиваю, что там такое случилось, куда вам надо ехать. Но почему того же не может быть тут? И наконец, предчувствиям тоже надо верить. Понимаю, что этот материал ни для абелей в отставке, ни для милиции, ни для суда, но иногда надо верить, если сердце говорит, если сжимается...

Он внимательно смотрел на меня.

— Может, и надо. Верь и гляди.

Поднялся.

— Не следовало бы бросать тебя до утра в твоём состоянии. Но сам слышал... Выпить что-нибудь у тебя есть?

- Есть вино.
- А покрепче?
- Хмгм...

— Возьми вот. Ты ведь не из тех, что потом по городу шатаются? Ну вот и выпей хорошенько. Сегодня разрешаю. Чтоб спал, слышал? Ну, пошли.

Хилинский знал, что делал.

...Никогда в жизни, ни до этого, ни после, я не выпивал столько. Дорвался мальчик. Сполна использовал совет соседа. И уснул как убитый. Раздетый, как всегда, но почему-то при галстукe на голой шее. Или, может, все же хотел «шататься»? Искать Зою? Наверное.

В следующие пять дней я искупал грех своего «пьянственного глумления». Работал, не давая себе ни минуты передышки.

Нельзя было поверить в то, что только сама ценность старой книги могла вызвать такую осаду квартиры Пташинского, все эти звонки, следы под окнами и все такое. Я почти был уверен, что разгадка где-то в самом тексте: какая-то приписка на полях страницы, надпись, умело скрытая в вязи орнамента, что-нибудь еще. И вот я искал. Вслепую, потому что не знал, где и что искать.

Много раз за жизнь я читал евангелие, одну из лучших (если не самую лучшую) из историй, придуманных человечеством за все свое существование. Мне приятно было читать ее и теперь, думать над отдельными местами, воображать, фантазировать. И все же не так приятно, как прежде, потому что, хотя я и читал почти по складам — я не раздумывал над смыслом, а искал за ним иное. Так для человека, который вдруг заметил первый гриб, мгновенно перестает существовать зеленая поющая красота роскошного летнего леса.

Так и я шел, уткнувшись носом в землю. Без всякой пользы, кроме моральной. Да и та была второго сорта, потому что я следил, а не думал.

Иногда возникали мысли, что скрывать что-то в таком тексте богохульство, а уж для средневекового человека (если только прятал он) — не просто богохульство, а богохульство, которое граничит с ересью, с гибелью тела и бессмертной души. И если это так, тайна должна быть исключительно важной, или... человек тот не должен был верить ни в бога, ни в черта, ни в закон того времени.

Я прочитал все четыре евангелия и деяния апостолов и их послания, начиная от послания Иакова и кончая посланием к евреям. Оставался лишь «Апокалипсис» Иоанна Богослова да нелепо примазанный к нему статут,

тоже с посланиями, но уже светских властителей.

Ничего!

Хотя бы тень какого-то следа, какой-то догадки!

В конце концов, я начал думать, что с этим текстом мы ошиблись. И, что самое худшее, к этой же мысли склонялся и Марьян. В последние дни он пару раз заходил ко мне, и мы до боли в глазах тупо вглядывались в тексты, проворачивали под черепами гипотезы, и все это только для того, чтобы тут же отвергнуть их. Единственное, в чем мы продвинулись вперед, был подлинный акт об исчезновении жены Ольшанского, напечатанный в «Актах, изданных археографической комиссией»...

— А что это нам даст? — спросил я.

— А может...

— Рыбу нам с тобой ловить, а не искать.

— Половим. Уже скоро. Даже на озерах лед почти растаял.

И мы снова до одури, до обалдения сидели над книгой и копией, и Марьян ворчал:

— Тоже мне Холмсы... Пинкертоны... Картеры... Станкевичи... Мегрэ...

В ту вонючую и промозглую мартовскую пятницу — это было, кажется, двадцать девятого марта — мы также ни до чего не додумались.

— Пророк Наум и тот бы не додумался, — плюнул наконец Пташинский.

— Ну-ну. Неужели мы вдвоем глупее его одного?

Я пошел проводить Марьяна. От собственной беспомощности на душе было тошно.

— Как щенки слепые, — сказал Марьян.

Впереди по лестнице спускался интересный молодой человек, сосед Лыгановского. И в этот раз у него в руках было ведро с мусором. Где он его берет?

— Вот такой мусор и у нас в головах. Выбросишь — и останется пустая глиняная макитра.

— А может, и в самом деле надо все выбросить и начать сначала, — сказал я. — Может, дело и не в тексте? Может, что-то выскоблено? Может, суть не в содержании, а в ведре? В самом существовании вещи?

— Надо будет посмотреть. Завтра же.

Мы остановились у табачного киоска. Я купил пачку «БТ», а Марьян виновато улыбнулся и попросил пачку «Шипки».

— Бросил бы ты это, Марьян, — сказал я. — Ей-богу, брось.

— Проклятая слабость. Да я одну-две в день буду.

— И я на вашем месте бросил бы, — сказал поучительно «бригадир Жерар». — Вот друг ваш — он ведь здоровенный, вроде першерона или брабансона, — уж вы извините, товарищ Космич, — но я и ему советовал бы бросить. Капля никотина убивает лошадь.

— Я не лошадь, — сказал Пташинский.

— Вижу. А вы посмотрите на свои ногти. У них голубоватый оттенок.

И вдруг разошелся... Достал из кармана металлическую тавлинку^[26].

— Хотите, я вам вместо этой дряни нюхательную табачку буду доставать? Сам протираю.

Он зарядил в каждую ноздрю по здоровенной порции зеленоватой пыли. В следующую секунду пушка ударила, и Пахольчик довольно закрутил носом.

— Аж в очью посветлело. Учтите, свою же коммерцию подрываю. Но здоровье человека всего дороже, как говорил средневековый римлянин Гиппократ. А если вам скажут, что сушит слизистую оболочку, что будет сухой катар, — это чепуха господ бога — пусть простит он меня и смилуется... Так что?

— Нет уж, — вздохнул Марьян.

— Смотрите, — сказал Пахольчик, подавая ему «Шипку». — Если надумаете — приходите. Достану. И не «Пчелку», холера ее возьми, а настоящий табачок.

На углу мы простились.

— Если не поеду в Вильно на пару дней, то завтра зайду, — сказал он.

— Заходи.

— Жаль, что эту книгу нельзя распотрошить. Может, в обложке что-нибудь заклеено?

— Нет. Обложка тех же времен.

— Черт побери! В голове ни одной мысли, что бы все это могло значить.

Перейдя улицу, он обернулся и поднял руку:

— Прощай!

Я прикурил, а когда глянул ему вслед, его уже не было видно в снежном заряде, что внезапно обрушился на город.

ГЛАВА V. Человек исчез

Минуло еще четыре дня. Пришел апрель. Сугробы снега, отброшенные зимой машинами под деревья, стали совсем маленькими, грязными и ноздреватыми. И еще дважды падал снег, но каждый раз чередовался с дождем, съедавшим его на глазах. Все чаще прозрачно, по-весеннему, синело небо.

В затишье, с солнечной стороны, во дворах было совсем сухо. И все же весна шла, как бы оглядываясь, часто уступая дорогу холоду и ненастью.

В эти дни я несколько раз звонил Марьяну, но ответа не было. В конце концов я не вытерпел и поехал к нему домой.

Даже собаки не ответили лаем на мой звонок. Квартира молчала, словно вымерла, и ничего удивительного в том не было. Куда-либо уезжая, Марьян всегда отводил псов к каким-то соседям, хотя мог бы и ко мне. Но он не хотел мешать моей работе.

Наша общая подозрительность последних дней привела к тому, что я даже осмотрел замок. Мне показалось, что возле него оцарапана краска. Но так бывает, когда человек впотьмах пытается попасть ключом в скважину.

Ядовитая пожилая вахтерша, которую мы — да простит нас господь — иногда называли «Цербером», иногда «Цензором Феоктистовым»^[27] — на мои вопросы ответила, как всегда, довольно резко:

— Я ему, душа моя, не мать. Не видала. Уехал куда-то. По утрам убираю, подъезд мою, первую площадку, чтоб в свинушнике не сидеть. Потом здесь весь день. Вечером Саня приходит. И он не видел. Собаки? Наверное, отвел, как обычно... Ну, и что же, что не видели. Вон там черный ход во двор. Поэтому даже я могу не заметить, как приходят или уходят люди. Но он им редко пользуется. Двор не очень удобный.

Двор действительно был неудобен. Все эти сарайчики, закаморки, безжизненные с виду голубятни, гаражи. И его гараж. Запертый на замок. Неизвестно даже, пустой он или в нем машина. А за сарайчиками тот самый пустырь и деревья возле парникового хозяйства. О, господи!

Я потащился домой, не зная, что и думать. Какой дьявол мог задержать его в Вильно? Нашел что-то в архиве? Так мог бы и звякнуть.

В дурном настроении я вошел в свой двор и увидел Хосе-Марию Лыгановского, который копался на клумбе под нашими окнами. Живая изгородь вокруг цветника в одном месте поредела, и лекарь высаживал здесь какие-то кустики. Медное лицо от воздуха и труда покрылось

глубинным румянцем. Шляпа лежала на скамейке, и всему двору была видна волнистая грива серебряных волос.

— Историк-детективу персональный привет! — сказал он.

— Кондотьеру от психологии — взаимно, — буркнул я.

Он притоптал землю вокруг пересаженных кустиков, открыл поливной кран, вымыл руки и, вытирая их носовым платком, — по-лекарски, палец за пальцем, — бодро сказал:

— Закурим, сосед.

Здесь, в затишье, даже пригревало. Мы сели на скамейку, я распечатал пачку и угостил его. Он следил за этим процессом внимательными серыми глазами.

— Послушайте, — вдруг сказал он, — у вас случайно среди родственников не было людей... ну, с некоторыми отклонениями в психике?

Позже, когда я, к своему ужасу, понял, что со мной действительно что-то неладно, я часто вспоминал этот разговор и то, что заметил все это опытный, искушенный глаз всем известного психиатра. Обратил внимание еще в то время, когда даже я не замечал ничего. А тогда я только захохотал.

— Да нет! Все были здоровые, как пни.

— Вот и хорошо, — он затаился с очевидным облегчением, — значит, это просто психика холостяка. То же, что и у меня. И у Хилинского. У всех, нам подобных.

— А что такое?

— Вы методичны в мелочах. Я вот был у вас. Все на своем, испокон веку заведенном месте. Там бумага, там пепельница, там строго одно, а там — до скончания века — другое. Пачку сигарет открываете именно так. Молоко — только у одной молочницы. Цветы покупаете в киоске на Барской, хотя рядом цветочный магазин. Бреетесь, наверно, тоже только у одного мастера.

— Угадали, — снова захохотал я, — а если его нет, то небритым уйду или дома побреюсь...

— И банщик у вас только один. И не будете книгу читать, пока рук не вымоете, а когда книга старая, обязательно вымоете потом. И раз в месяц выбиваете ковер, а раз в две недели — пылесосите его.

— Слушайте, — удивился я, — откуда вы все это знаете?

— Я не знаю. Я «умозаключаю», делаю выводы.

— Но зачем?

— Профессиональная привычка. Поработали бы с мое.

— Ну, и какие же выводы?

— Вас они не касаются. Просто методичность закоренелого холостяка. У таких в доме или кавардак и свинюшник, сапоги на столе или... А вообще это иногда бывает признаком определенных отклонений в психике. При эпилепсии, в начале некоторых других болезней.

— Ну, если так судить, то большинство немцев эпилептики. И вообще все, кто как можно удобнее организует труд.

— Не смейтесь. Вот вам один пример, но убедительный — Достоевский.

— Весьма польщен, — сказал я.

Мы рассмеялись. Мог ли я думать, что мне в самом деле доведется обращаться к нему. И довольно скоро.

На площадке я увидел Хилинского, как раз заходившего в квартиру.

— Опять что-то стряслось? — Он внимательно посмотрел на меня.

Я рассказал.

— Небось уехал куда-нибудь. — Адам был очень измотан. — Может, сидит в том же Вильно. А что не предупредил о задержке, так этому разные могут быть причины. Не маленький. И не такие уж вы друзья, что водой не разлить, сорочки переменить некогда.

— Все же я единственный у него друг. И не мог он там где-то задержаться хотя бы из-за болезни бывшей жены. Ведь он каждый день ожидал звонка. Я страшно беспокоюсь, Адаме.

— Ладно. Если уж так, то я сейчас позвоню Щуке, — ведь мы приятели.

Пусть наведет справки, нет ли кого... неопознанного. И телефон твой дам. Пускай тебе будет стыдно, как этот... твой друг... подсвечник виленский привезет. Ну, шалопай и вертопрах, будь здоров. Позвоню, помолюсь богу и завалюсь спать.

...Прошло еще два дня. Где-то в четверг или пятницу, пожалуй, часа в четыре утра, а может, и раньше, зазвонил телефон. Испуганный спросонья, я схватил трубку.

— Алло. Хилинский звонил от твоего имени, — прозвучал низкий голос.

— Да, — с трудом припоминая, о чем идет речь, ответил я. — Космич у телефона.

— Нужна твоя помощь. Ты не мог бы подъехать для опознания?

— Конечно. — Голос у меня сел.

— Машина через десять минут будет у подъезда.

— Хорошо. Одеваюсь и спускаюсь вниз.

Дрожа со сна, от волнения и холода, в полном недоумении, что бы это

могло означать, я спустился по лестнице в промозглый туман, словно на дно молочного озера. Спустя несколько минут из этого тумана вынырнули радужные, размытые пятна фар.

После улицы в «козле» было жарко от мотора и как-то особенно сонно. Три человека, ехавшие со мной, — правильное, которые везли меня, — все время надрывно и очень заразительно зевали. Пахло бензином, мокрым сукном и еще чем-то. Человек лет пятидесяти, сидевший рядом со здоровенным шофером, протянул мне теплую и сильную руку. Это и был Андрей Щука. У него были бы обычные черты лица, «без особых примет», если бы не полдюжина шрамов на шее и руках. Впрочем, не очень заметных. А его пожатие мне всегда нравилось, я о многом сужу по рукопожатию.

Лейтенант, что примостился рядом со мной, отчего-то покраснел и сунул мне холодноватую ладошку.

— Клепча... Якуб... Иванович... очень приятно.

Ну, этот был по крайней мере устойчив. И то слава богу.

Машина рванула с места, и только тут я заметил, что за нею слепяще моргнули фары второй. Краем глаза я увидел, как к нашему кортежу пристраивается один мотоцикл... второй.

Ощущение было удивительно неприятное. Я чуть было не начал думать, что, может быть, все же выкинул в жизни нечто такое... что с точки зрения уголовного кодекса... Потом, обозлившись на самого себя, я представил еще большую глупость: что я резидент и еду тайно на встречу с шефом (господи, сколько же это я насмотрелся дрянных фильмов!) в какой-то лесной дом. На прием заморского посла это похоже не было: не хватало солнечного света и почетного караула.

— Вот он и говорит продавцу... — Клепча, видимо, продолжал рассказывать анекдот: — "А есть ли у вас оленье седло? Ведь магазин-то называется «Дары природы». — «Нет, — говорит продавец, — есть нототения». То есть в смысле рыба. «Ну, а лосятина есть?» — «Нототения есть». — «Гм, ну а хотя бы колбаса домашняя есть?» — «Берите нототению, в ней фосфора много». — «Знаете что, — говорит покупатель, — мне не надо, чтобы... светилось...»

Шофер коротко хмыкнул, Щука только головой покачал.

— За такие бородатые анекдоты при их миропомазанном величестве Николае знаешь, что делали? Ссылали туда, где козам рога правят... На Аляску.

— Аляску к тому времени продали, товарищ полковник, — сказал Клепча.

Полковник на миг замялся.

— Да я не про того Николая говорю. Я про Первого. Твоему же анекдоту хуже.

— А какая же тогда, Андрей Арсентьевич, нототения была?

— К сожалению, ты прав — не было. Пытливый ты человек, Клепча, скрупулезный. Дока!

— Надо знать, Андрей Арсентьевич, иначе таких ошибок наделаешь...

— Ну, хорошо. — Щука повернулся ко мне, но почему-то только в профиль. — Рассказывайте.

Я рассказал. Мне было не по себе. Я не разбирался ни в том, что делается, ни в том, что они такое говорят, как не разбирался потом ни в деталях опознания, ни в том, кто из них следователь областной прокуратуры, а кто старший усиленной оперативной группы. Кое-как еще мог сообразить, что вот это «проводник служебной собаки» — так, кажется, он называется, — да и то потому только, что при нем была собака. В домино сыграть, выпить — это можно, но что касается дела, то я хотел бы всю жизнь быть подальше от людей их профессии. Потому что это только в плохих романах человек бьет в ладоши и прыгает от радости по той причине, что к нему в дом каждый день повадилась ходить милиция. На месте следователя я в таком случае обязательно поинтересовался бы, а чего это он пляшет и рукоплещет? Но тогда и романа не было бы! Потому что ящик с долларами обязательно нашли бы тут же, в клумбе у этого весельчака, и не надо было бы присматриваться к подозрительному поведению мальчика Пети и к тому, откуда пенсионер Синичка берет деньги на ежедневные оргии с манекенщицами.

За стеклом машины, как на фотоснимке, постепенно стали проявляться сквозь туман черные деревья. Туман плыл откуда-то волнами, наверное, с низины. Машину начало бросать по корням. Потом она остановилась, деревья кончились, и взору открылась огромная поляна в хаосе мглы, которая шевелилась над нею.

Мы вышли, и только тут Щука спросил:

— Ну, а главная причина твоего беспокойства?

— Мне показалось, что вокруг замка есть царапины.

— Витя, — обратился Щука к мотоциклисту. — Отвези Степанца к квартире, пусть дежурит там. Адрес? Вот по этому адресу. Отвези и сразу возвращайся.

Звук мотоцикла скоро заглох в ватной мгле, и снова стало тихо. Мы шли по пластам слежавшейся, словно графитной, ливы. Я взглянул на

часы, но заметил не время, а то, как над рукавом пальто сновали, суетились микроскопические капли тумана, ясно видимые глазу на фоне темного сукна.

Край поляны. И я вдруг увидел у самых ног мелкие, беззвучные волны, изредка лизавшие песок, и понял, что это не поляна, а озеро, густо окутанное мглой. И сразу же все встало на свои места, я узнал, где нахожусь. И эту кривую березу с шарообразным капом-наростом, и, немного поодаль, неясную тень лодки на приколе, и толстый ствол черного дуба у воды. Узнал озеро Романь, куда мы так часто приезжали рыбачить с Марьяном.

И тогда предчувствие огромной беды, даже уверенность в ней сжали мое сердце.

Из тумана долетели глухие голоса, выплыли тени. Несколько человеческих, одна собачья. Возле собаки стоял молчаливый человек со смешным лицом. На меня пока что никто не обращал внимания, и я пристроился к нему.

— Космич.

— Старшина Велинец, — сипло сказал он.

— А собака? — Я протянул руку. — У-у, соб-бака моя.

— Рам, — сказал кличку старшина и тихо добавил: — Не советую его ласкать.

— Укусит?

— Бесплезно.

Мимо нас прошел полковник, и только теперь я вдруг понял, почему он всегда старался держаться справа и показывал только профиль: у него почти не было правого уха. Я знал, что в сорок пятом он попал где-то под Ошмянами в руки банды Бовбея. Веселенькая история. Допрашивал заместитель атамана, и только потому ночью Щуке удалось убежать. Сам не выпустил бы.

Клепча сказал бы о Щуке: «Старый, изгрызенный, закаленный в битвах волк».

— К нам он привык. А вы — свежий человек. Но это у него не от стыда. Это чтобы дать привыкнуть.

Я удивился, что старшина заметил мое смущение, но не заметил, что мы с полковником на «ты». Тут от группы людей долетели голоса, и я узнал их: глухой голос лесника и звонкие дисканты двух детей.

— Сторожка моя тут... на берегу... Ну, приехал он...

— Он часто тут ловит, дядька.

— А мне что? Дети ходят в школу... — Глухой в тумане голос.

— Мы, дядька, зарослями шли, напрямки. Видим, машина стоит. —

Это опять голос мальчонки.

— «Запорожец» стоит, дядька полковник.

— День, значит, стоит пустая... И второй тоже... А на третий уже я тревожиться начал. И лодку на воде увидал... в глубине заводи, холера на нее.

Ветер постепенно начал вздохами сгонять с озера туман.

Четче проступили силуэты людей и что-то темное, длинное, лежавшее на траве у их ног.

Над заводью, то поднимаясь, то снова опадая на воду, колыхалась кисея тумана. Ее хотя и медленно, но относило, и все чаще сквозь нее проступало пятно буя на воде, силуэт лодки, фигуры людей, которые, стоя в ней, ощупывали баграми дно.

Я догадался, что это место происшествия.

— Подойдите, Космич, — сказал голос полковника.

Я подошел. С того длинного и темного откинули брезент. Я увидел, что то лежит на пожелтевшей прошлогодней траве. Одежда была похожа, но лицо... Лица не было. «Раки, что ли?» — мелькнула нелепая мысль. Меня начало мутить.

Еще раз вспыхнули блицы. Я отвернулся, и Щука, видимо, понял, что мне плохо: тысячи трупов видел я на войне, но успел отвыкнуть, а тут еще это был... нет, уже не был.

— Он? — спросил Щука.

— Лицо — сами видите. Одежда очень похожа. Конституция вроде точно его. Извините, я должен отойти.

Я сел на пень. Я пытался что-то проглотить, а оно все торчало, сидело в глотке. Нервы сдавали. Веселого было мало во всех этих событиях. От вас уходит оскорбленная женщина. Ваш лучший друг погибает. Его слова, его беспокойство...

— Ну что это вы как красная девица, — сказал лейтенант Клепча.

Я разозлился, и, странно, мне сразу стало легче.

— Вот что, лейтенант, — сказал я. — Если бы после такого переплета я, скажем, спросил бы у вас, какого вы мнения о творчестве Первенцева или начал остроумно трепаться о достижениях народного хозяйства страны — тогда меня надо было бы немедленно брать под белые руки и везти в Новинки ^[28].

Клепча снова было открыл рот, но его оборвал Щука:

— Помолчите, Клепча. — И предложил мне: — Отойдем к машине.

Он, спасибо ему, хотел отвлечь мое внимание.

— Что было в его карманах? — спросил я.

— Каша из табака, хлеба, бумаги и прочего. Он курил?
— Последнее время очень мало. Что еще?
— Баночка с мотылем. Вот. И в лодке две большие щуки.
— Баночка его, — сказал я. — Но не мог он такую крупную щуку... И что он вообще щуку на мотыля ловил? Чепуха какая-то!
— Спиннинг нашли, — долетел по воде голос из лодки. — Видимо, щука затянула под корягу — удилище и утонуло.
— Ну, видите, — сказал Щука.
— Как это случилось? — спросил я.
— Упал из лодки в воду. Утонул. Как у него со здоровьем?
— Он был очень больной человек.
— Ну вот. Мог быть приступ.

Мы подошли к машине.

— Его «Запорожец», — после осмотра сказал я. — И все же не верю, что это он. Да, машина, да, одежда. Но ведь лица... нет. Но ведь этот, кажется, выше ростом. И потом, почему он поехал один?

Из леса, из тумана, вынырнул к машине Велинец с собакой.

— Рам следа от машины не взял, — сипло сказал он. — И не удивительно. Столько дней! Снег еще лежал. Дождь слизал его. Видать, окончательно весна пришла.

— Неужели бывают неопознанные? — спросил я.

Полковник не ответил.

...Еще через час мы возвращались к машинам. Тело забрали. Впереди шли Велинец и Клепча и говорили уже о каком-то другом деле.

— Да пойми ты, — горячился Клепча, — материал такой же, из какого пошит его костюм.

— Ну, ладно, — с иронией цедил Велинец, — костюм из материала, партию которого украли. Тоже мне доказательство! Ну, а если бы, скажем, он был когда-то полицаем, и с тайной надеждой в душе ожидал «взрыва народного гнева», и на этот случай прятал в стрехе арсенал — он что, ходил бы тогда по улицам и площадям с пулеметом в руках? Чепуха! Материал его и оправдывает. Да и его характер. Наверное, самое большое преступление в его жизни — у жены из ящика стола когда-нибудь стащил три рубля на водку.

А меня трясло. И от внезапного сознания непоправимости происшедшего, и от горя, и от какой-то неясной надежды, и от злости на этих, которым все равно, которые так быстро все забыли, переключились со смерти человека на какой-то материал и еще шутят.

...В маленьком местечке Чурсы остановились перекусить. Я смотрел

на эти полсотни домов, игрушечную чайную, флигель от разрушенного в войну дворца, на гигантские, туманно-мокрые, черные деревья старинного парка и вспоминал, как летом мы ходили здесь с Марьяном и собирали на приманку улиток. Их было несметное количество на берегах многочисленных зеленых прудов, в росистой прохладной траве. Я нигде не видел их столько. И таких огромных, с яблоко величиной. «Француз бы ополоумел от радости», — сказал тогда Марьян. И вот я смотрел и вспоминал, и у меня что-то жгло глаза и в груди.

— Есть лосятина, — прибежал Клепча, — видать, кто-то убил по лицензии и сдал в чайную. Повезло, в Минске не достанешь.

— Как в лучших домах Лондона, — сказал Велинец.

В чайной все разместились под скверной копией с картины "Томаш Зан^[29] и Адам Мицкевич на берегу Свитязи".

— Обожаю оленей, — сказал Клепча, уписывая мясо.

— Угу, — поддержал Щука, — еще со времен диснеевского Бэмби в кино. Удивительно красивое и благородное существо. Нежное, мягкое.

Я есть не мог. Заказал двести граммов «Беловежской», тяпнул их одним махом, будто последний алкаш, и закурил, ощущая, как потихоньку согревается мое нутро.

Я понимал, что несправедлив, что это их каждодневная работа, — и не умирать же им с голода, — и все равно презирал их. И потому немало удивился, когда полковник пошел и принес себе и мне по сто пятьдесят, сел и вдруг тоже оттолкнул тарелку.

— Не могу. За столько лет не могу привыкнуть. Выпьем, Антон Глебович. — И после паузы: — Ненавижу сволочей... Пока не подохну...

В этот момент Клепча заметил на картине у Зана бакенбарды и вдруг сказал:

— А чего это здесь Пушкин? Разве он был на Свитязи?

— Это Зан, — наверное, слишком резко сказал я.

— Ну, а этот... Зан... разве он...

— Помолчите вы, пожалуйста, — снова оборвал его Щука и только теперь ответил на мой вопрос, заданный еще на Романи: — Бывает и так, что не опознают. Редко, но бывает... Дай бог память, в 63-м или 64-м году писатель ваш один, ну, из этих, молодых да ранних, еще романы исторические пишет, плыл с родственниками по Днепру возле Рогачева. Видит, что-то розовое плывет. Подумал, необычной величины глушеная рыба (вот надо бы этих «шахтеров» из Бобруйска, что ездят рыбу глушить, прижать хорошенько!). Встал на носу и вдруг рулевому: «Вороти!..» Плывет навзничь женщина в розовой комбинации. Ну, вытащили, приехали

наши за трупом... Но и до сих пор неизвестно: кто, откуда, как? Может, откуда-то с Урала в неизвестной компании приехала, а может, с Камчатки. Может, утонула, а может... Но всплывет. Так или иначе, а она всплывает, рано или поздно, правда. Так что и ты, парень, не скули. Тяжело, понятно. Но утешься хотя бы тем, что если это убийство, они получают сполна. А уж мы постараемся, все перетрясем.

— Что же, — сказал Клепча, — всю Белоруссию вверх ногами перевернешь? Всех родственников перетрясеешь? А те, может, из Эстонии?

— А мы и эстонских перетрясем, — сказал Щука. — Кстати, возьми прижизненное фото да поезди по пригородам. Может, кто-нибудь видел этого человека в компании с кем-то знакомым... накануне.

— А по тому фото? На берегу?

— По тому фото люди подумают, что показываешь актера Овсянникова^[30] в роли тени отца Гамлета. Думать надо, хлопец.

Когда машины снова мчались по плиточному шоссе аллеей трехсотлетних могучих ясеней и вязов, Щука вдруг спросил:

— А что за книга, о которой ты говорил?

Я рассказал.

— Показать не можешь? Ага, тогда заедем к тебе домой. А потом... может, с нами на его квартиру съездишь?

— Да... Слушай, он ведь тревожился! Он говорил о какой-то связи с тем старинным преступлением!

— Это могли быть просто нервы. И потом, если бы мы занимались всеми преступлениями, содеянными за миллион лет с того времени, как обезьяна стала человеком, то кому было бы разбираться, кто украл у товарища Раткевича авторучку?

Его грубоватый тон, как ни странно, немного успокаивал меня.

— Так что старинным преступлением займись ты. Ты знаток, историк, тебе и карты в руки. А найдешь что-нибудь любопытное для сегодняшнего дня — тут уже мы всегда к твоим услугам.

— Ты вроде грошového критика, которому подавай сочинения только на злобу дня. А для этого газеты есть.

Мы заехали ко мне, взяли в портфель книгу и покатали к парниковому хозяйству.

И снова была аллея из наполовину уничтоженных лип, и старый дом, и барочные ворота кладбища. На дне спущенных прудов накопилась мутная весенняя вода. А во мне все еще жила робкая надежда, что вот позвоним, вот в глубине квартиры прозвучат шаги, щелкнет замок и заспанный Марьян скажет:

— А знаешь, что считалось у наших предков дурным тоном?

Но никто не выходил на звонок. Мы стояли и долго ожидали, и я слышал, как Цензор Феоктистов, вредная вахтерша, отвечает Клепче:

— Два дня назад послышалось — замок звякнул. Гляжу — человек. Но дверь закрыта. Спрашивает: «Что, там никого нет, бабуся?»

— Какой он хоть с виду, человек этот?

— А такой... ну... вроде немного городской, а вроде и не городской.

Наконец, привели понятых, открыли дверь. И надежда моя сразу улетучилась, а предчувствие беды превратилось в уверенность.

Эльма неподвижно лежала на полу. Здоровенный тигровый Эдгар, увидев меня, жалко вильнул задом. Глаза у него были несчастные и слезились, и он сразу закрыл их. Даже не поднялся навстречу.

В прихожей стоял какой-то резкий и тошнотный запах.

— Он не ездил ни в какое Вильно, — уверенно сказал я Щуке, — иначе бы отвел собак. Он и не думал уезжать больше чем на один день.

— Собак усыпили, — сказал Щука.

— В тот же день усыпили. Видишь, остатки еды. И вода не выпита. Но как могли усыпить на столько дней?

— Может, что-то искали? Если за один день не нашли, могли повторить дозу.

— Но это воспитанные псы. Они ничего не возьмут из чужих рук. Только у Марьяна... и у меня.

— Кроме воздуха, которого ни из чьих рук брать не надо. — Щука указал на замочную скважину.

— Я знаю, что они искали. — И я достал из портфеля книгу.

— Что же, давай присядем здесь, — Щука указал на длинный ящик для обуви, — чтоб не мешать. Займитесь квартирой, лейтенант.

Мы сели на ящик и начали внимательно листать старый том. Но что можно было заметить за такое короткое время, если я целыми днями просиживал над ним?

— Возьми, — сказал наконец Щука, — думай и дальше. Это не нашего ума дела. Возможно, какая-то сложная головоломка. А возможно, и все просто. Ценность книги большая?

— Да.

— Так, может, и нет никакой загадки?

— Хочешь сказать, что цена человеческой жизни не выше цены этого хлама?

— Есть такие, с твоего позволения, люди, для которых жизнь ближнего не стоит и гроша.

— Зайдите, — сказал Клепча, — посмотрите своим глазом, чего не хватает в квартире?

Я зашел. Обыск, по-видимому, уже был окончен. Лишь один из группы еще перебирал бумаги в ящике стола. По-прежнему летали под потолком ангелы, по-прежнему Юрий попирал ногой змея. Только Марьяна не было. И больше не будет.

— Не хватает двух картин, — глухо сказал я.

— Тогда, значит, о книге и разговора нет, — сказал Клепча. — Может, и в самом деле барыги-спекулянты. Не выгорело, и все. Такая история, рассказывали, была недавно в Москве, на улице Качалова. Уговаривали-уговаривали продать — не продал, ну и все окончилось на этом... А вот картины — это интереснее.

— Товарищ полковник... — Человек в штатском, что копался в ящике стола, протягивал Щуке лист бумаги. — Это, пожалуй, интереснее картин.

Щука прочитал и передал бумагу Клепче. Тот пробежал глазами, свистнул и посмотрел на меня. Затем протянул лист мне. А когда я, в свою очередь, прочитал то, что там было написано, у меня заняло дух.

Это было по всей форме составленное и заверенное у нотариуса завещание, по которому гражданин Марьян Пташинский на случай внезапной смерти завещал все свое имущество другу, гражданину Антону Космичу, с условием, чтобы упомянутый Космич содержал бывшую жену вышеупомянутого Пташинского на всем протяжении ее болезни.

— Что у нее? — спросил Щука.

— Рак, — ответил я, — лежит в Гомеле.

— Значит, иной смысл этого «на протяжении болезни» — до смерти, — сказал Клепча.

— Ну, зачем же так, — возразил Щука. — Позвоните, Клепча, к нам, пусть наведут в Гомеле справки о состоянии здоровья... как ее?.. О состоянии здоровья Юлии Пташинской.

Не успел лейтенант положить трубку, как в дверь позвонили, и сердце мое снова сжалось от маловероятной, внезапной надежды. А потом тупо заболело, потому что это был всего лишь тот человек с чемоданчиком, которого я видел на берегу Романи. Я догадался, что это, должно быть, медицинский эксперт.

— Это вы, Егор Опанасович? — удивился Щука.

— Хотел, чтобы быстрее узнали результаты вскрытия, а мне по дороге, ну и...

— Что же обнаружено?

— Никаких следов насильственной смерти, — сказал низенький

румяный лекарь.

— А кто же его, — ангел божий?

— Возможно. У него два микро — и один инфаркт. Сердце сдало — вот причина. Наверное, стоял в лодке и тут случилось. Упал в воду и захлебнулся.

— Почему же он поехал один?! — в отчаянии крикнул я.

— Его дело, — буркнул Клепча.

— Ясно, что его. И никогда, никогда он не берегся! Никогда!

— Какие картины пропали? — спросил Щука.

— Вот это и подозрительно, — ответил я. — Если бы крали, то взяли бы другие. Эту. Эту. Ту. Им цены нет. А те две — совершеннейшая чепуха, только что не новые. «Христос в Эммаусе» немецкой школы конца прошлого века и английской — «Кромвель у могильной ямы Карла I». Эту он в Киеве в ГУМе купил сразу после войны.

— Помню я эту картину, — вдруг сказал Щука, — долго она у них на стене висела. Немного поврежденная внизу. Кромвель в паланкине сидит.

Я вытаращил глаза:

— Ну и память!

— Память профессиональная.

— Точно. Порвана была. Он ее сам и чинил, ремонтировал. Огромные дыры, яркие. «Кромвель» этот «под Рембрандта наддает». Он эти картины не ценил.

— Может, не разобрались? — спросил врач. — Увидели, что большие, в глаза бросаются — ну и взяли.

— А почему тогда не взяли еще что-нибудь? — спросил вдруг человек в штатском. — Вот деньги. И много что-то денег.

Денег было восемьсот двадцать рублей.

— Может, спешили? Не знали? — спросил Клепча.

— Эти барыги по искусству, — сказал я, — хотя бы кое-что да понимают. Не взяли бы они этих картин. Может, тут совсем другое: не ценил и поэтому продал. Ему для жены были нужны деньги.

— Резонно, — сказал Щука, — пускай наши поищут по антиквариатам.

...За окном уже лежали сумерки, и мы собирались идти, когда зазвонил телефон. Клепча снял трубку.

— Да... Да... Спасибо.

— Что такое? — спросил Щука.

— Звонили от нас. Юлия Пташинская умерла пять дней тому назад...

Вид у него был на удивление многозначительный. И он смотрел на

меня.

— ...и как раз в предполагаемый день смерти мужа. Любопы-ы-тно. Может, и картины... для отвода глаз.

Кровь бросилась мне в лицо. Только теперь я понял, как можно расценить все это нелепое, страшное стечение обстоятельств.

— Послушайте, Клепча, не будьте быдлом!

— Ну-ну.

— Он прав, Якуб, — сказал Щука. — Это был его самый лучший друг.

— Единственный и навсегда, — глухо сказал я. — И я до конца дней работал бы только за хлеб, чтобы отвоевать для него хотя бы год жизни. А если вы считаете меня таким чудовищем, которое может убить брата за полушку, то знайте: все, что здесь есть после смерти Марьяна, должно быть передано музею на его родине.

— Кому это известно? — уже иным голосом спросил Клепча.

— Мне это известно. Если я тут чем-то и разживусь, так вот этими двумя собаками. При моем образе жизни они мне вовсе не нужны, но я их не брошу, я их буду держать, пока не умрут... в память...

У меня сдавило горло от обиды и неприязни к этому человеку. И снова меня спас Щука, иначе все могло бы закончиться черт знает чем.

— Берите собак и несите в машину, — буркнул он. — Подсоби, Клепча. И замолчи, наконец, черт бы тебя побрал... Извини, Космич. Я сейчас подброшу тебя с псами домой. Квартира же будет несколько дней опечатана. Потом получишь ключ, чтобы распорядиться имуществом. Достану машину, и сможешь перевезти все, как завещал покойный.

— Покойный, — повторил я, — значит... нет надежды, что не он?..

— Нет, — ответил Щука. — К сожалению, нет.

Когда мы привезли ко мне собак — Эльма все еще не проснулась, и я волок ее на руках, тяжелую, как телушка, — он отпустил машину и вдруг сказал:

— Там, рядом с рестораном, у вас что, кафе? И садиться не нужно?

— Не нужно. И за мной еще долг чести.

Он молча взял меня под руку. И только когда мы уже стояли у стойки и прихлебывали кофе с коньяком, сказал неожиданно мягко:

— Плачет душа? Я это знаю. Сам дважды пережил такое... Так вот, Антон, если что-нибудь вспомнишь или найдешь, — ты скажи Хилинскому. Мы ведь друзья, он меня проинформирует. — И вздохнул. — Ведь я же понимаю, мало радости человеку, да еще впечатлительному, таскаться по нашим учреждениям.

Он положил мне руку на плечо.

— А на Клепчу, хлопец, не сердись. Он еще молод, глуп, жестковат по молодости. Зарывается, как щенок-выжлец. Жизнь его не била, не ломала. Вот ломанет, как нас с Адамом, тогда будет знать цену доброте и доверию к тому, к кому надо. Убедится, какое это облегчение, когда никто во второй раз не бьет тебя дубиной по голове.

ГЛАВА VI. Короткая. О седом антикваре и «барыге»

Мне все же пришлось зайти к Клепче, хотя для меня это было хуже смерти. Случилось так, что вечером следующего дня он позвонил и ласково проинформировал, что ни в одном комиссионном магазине города исчезнувших картин — простите — нет и что, значит, имела место кража. И, стало быть, все было просто.

— Нет, не просто, — сказал я в трубку. — Не знаю, как с его смертью, но он не поехал бы на Романь, ожидая вестей от жены. Могли воспользоваться отсутствием. Потому что кто-то обещал за евангелие большие деньги. Искали его, не нашли, прихватили, что попало под руку, вот и все. А могли и убить каким-то неизвестным способом.

— Так что бы вы посоветовали, уважаемый Антон Глебович?

— Я знаю? Я стал бы искать того, кто умолял продать ему книгу, может, он и подговорил взломщиков.

— А может, в самом деле схватило сердце, упал, захлебнулся? А квартиру ограбили потом?

— Ваши гипотезы, вы и проверяйте.

Я положил трубку. Со времени обыска я выносить его не мог за одно только подозрение ко мне.

В эти дни я сделал одно открытие. Вертел книгу и так и этак и нашел в двух миниатюрных «красных буквах», — словно бы вплетенные в завитки, в листики, цветы и узоры, — инициалы. Может, мне это и показалось, но как иногда видишь в пятне на стене портрет или пейзаж, так видел и я в двух миниатюрах инициалы ПДО — Петро Давыдович Ольшанский, ВФО — Витовт Федорович Ольшанский. Это, кажется, подтверждало факт, что евангелие принадлежало им, но я не знал, чем этот так называемый факт может мне помочь. Ну, скажем, мог быть такой побудительный мотив, как похищение фамильной ценности. Но где теперь, кто они, дьявол их возьми, отпрыски того рода? Скорее всего, мотив был единственный — спекуляция.

И вот спустя два дня «уважаемый пан детектив» Клепча позвонил мне и вежливо пригласил к себе. Сами понимаете, что это было не то приглашение, которое можно игнорировать. Я явился и увидел в уютном таком кабинетике две картины, прислоненные к стене.

— Они?

— Они. Видите, на оборотной стороне «Кромвеля» заштопан след

повреждения?

— Его почерк? — Он протянул мне квитанцию.

— Почерк не его. Подпись его.

Он покраснел. Люди подобного типа не любят, когда им дашь понять, что они употребляют не те слова и неправильной речью искажают смысл. Мне и помолчать бы, но очень уж он мне опротивел.

Потом я имел еще два приятных знакомства. Одно с седеньким дедком — антикваром, этакой носатой птичкой с удивительно элегантными и подвижными ручками. Второе — со здоровенным, выхоленным верзилой, таким щеголем в сером костюме из мягкой дорогой шерсти. И галстук подходил к этому костюму, и серебряный старинный сыгнет^[31], именно сыгнет, а не перстень. Не подходили только усики вышибалы, но это уже зависит от вкуса каждого человека.

— Так я же вам и говорю, — горячился дедок, — что тут и графической экспертизы не надо. Это рука Пташинского — я хорошо знаю.

— Слова, — сказал Клепча.

— Что слова?! Что?

— Слова, говорю, слишком специфические знаете.

Тут он мне впервые понравился. Но дедок взвился:

— Криминальные романы пишете?! Детективы печатаете?! Так что вы хотите, чтобы люди не знали специфических выражений? А что касается того, что вы картин не видели в салоне, так я таки главный антиквар и был в отъезде, а квитанцию спрятал, а картины на складе были. И вот их выставили, что?! Вы же видите, когда они сданы.

— За два дня до смерти, — сказал Клепча, — вот почему было много денег. Слушайте, а вы это точно знаете, кто звонил Пташинскому насчет книги?

— Ну, как же иначе? Ну, разве я что? Конечно, точно! Спросили бы меня с самого начала, и не понадобилось бы тех глупых подозрений, разве не так?! И он был рад сказать с самого начала. Вот он хотел купить, Борис Гутник! Уже я что, Борю не знаю, чтоб не знать, кто хотел купить?

— Почему хотел купить?

— Книголюб. А что, нельзя?

— Торгует книгами?

— Так я же не слышал. Иногда меняет.

Привели и Борю, того самого выхоленного верзилу.

— Я звонил, — спокойно признался он, разглядывая ухоженные ногти. — Только никакого шантажа не было. И никакого «человека деревенского вида», который был на книжной выставке, не знаю. Да, раза

три звонил. Все надеялся, что передумает... Ну, просто хотел иметь эту книгу.

— Для работы?

— Не все, кто любит книгу, используют ее для работы. Я просто люблю книгу. А вы разве нет?

Хотел бы я видеть человека, который в наш просвещенный век признался бы, что он терпеть не может книг. Хоть до этого мы, слава богу, доросли.

Клепча смутился, а молодой верзила продолжал весьма серьезно:

— Это единственная моя страсть, товарищ лейтенант. За это, по моему, не судят. И если уж «книги суть реки, напоющие вселенную», то как можно обвинять того, кто жаждет и пьет? Да, звонил, не хотел выпускать из рук.

— Вам не случилось торговать книгами? — спросил Клепча.

Гутник полез в карман пиджака и достал газету.

— Это еще зачем?

— Сегодня как раз, идя сюда, получил. Белостокская «Ніва»^[32]. Видите, благодарность за то, что передал в библиотеку двести пятьдесят книг. Если бы торговал, вряд ли сделал бы такое. Как только насобираю хороших книг, менее ценные отдаю. Можете проверить.

— А мы и проверили, — сказал Клепча, — тут вы не лжете, все правда. И здесь отдавали, и в Витебске, и польским белорусам.

Я не знал, зачем Клепча держит при этих допросах меня. Попросил разрешения закурить, раскрыл пачку.

— Дайте и мне, — попросил вдруг верзила. — Спасибо. Что за сигареты? «БТ»? Курильщик из меня никудышный, но, понимаете, разволновала меня эта история.

Неумело затянулся, даже щеки к зубам прилипли, и, указывая на газету, сказал как будто в пространство, но с очевидным желанием уесть Клепчу:

— Имя напечатали. Культурные люди. А тут и собака не скажет спасибо.

Этот человек начал вызывать к себе расположение. Даже его усики уже не казались мне фатовскими.

Идя домой, я думал, что и последние косвенные доказательства рухнули. Ничего не дало вскрытие, ничего не дало исчезновение картин. Ни в квартире, ни на месте, где погиб Марьян, не было найдено никаких следов. Насчет книги звонил ни в чем не повинный книголюб, да и неизвестно, книгу ли искали взломщики, усыпившие собак.

...Прошла неделя. Никто мне не звонил, никто не вызывал меня, и по этим приметам я понял, что следствие по делу преждевременной смерти Пташинского скорее всего зашло в тупик.

ГЛАВА VII. Что было сказано в «Новом завете» и какую тайну запрятал в «Апокалипсисе» Иоанн Богослов

Работать я не мог. Развлекаться — тоже. Неотвязные мысли о Марьяне и его неожиданной кончине мучили меня днем и ночью. Оставалось одно: тупо и упрямо сидеть над его книгой и думать, думать, думать. Думать без всякой надежды до чего-то додуматься, без всякой надежды свести концы с концами. Единственное, что было в ней не напечатано, — это маргиналии^[33], комментарии скорописью. Чаще всего они носили мистический характер наподобие: «Сбылось при короновании» или «Справдилось в вещем сне такого и такого».

Мне уже давно хотелось плевать, и все же...

В тот вечер я решил сделать последнюю попытку.

Под зеленым абажуром горела очень сильная лампочка. Свет бил мне в глаза, и потому я опустил колпак пониже, чтоб свет падал только на книгу. То ли я измотался, выдохся за последние дни, то ли подействовала тишина, но я на миг задремал и, по-видимому, осунулся в кресле. А когда открыл глаза, еще затуманенные сном, то увидел на левой странице книги едва заметные темные точки. Поднял голову — они исчезли. Опустил — появились снова. И тогда я понял, что вижу не точки, а чуть заметную «тень от точек», от каких-то шероховатостей бумаги. Закрыв глаза, провел кончиками пальцев и почувствовал их на ощупь. Я перевернул страницу и увидел, что этим невидимым микроскопическим выпуклостям, которые и давали похожую на россыпь соринок тень, соответствовали вмятинки, сделанные, возможно, тупым концом иглы. Позже я убедился, что в этом месте они были еще крупнее. Если бы не случайное стечение обстоятельств, если бы не это низкое местонахождение источника света и моих глаз, я так бы ничего и не узнал. Но только это и было везением. Потом пришла очередь умения.

Эти вмятинки были размещены без всякой системы. Я насчитал девять таких под буквой А, десять под буквой С и так далее. Если это и была тайнопись, то такая, которую не разгадаешь. Криптограмма? Анаграмма? А черт его знает, как назывался этот способ в средние века. Хоть ты зарежь, вылетело у меня из головы название этого метода шифровки. Но я вам объясню суть. Патентного бюро тогда не было, бюро открытий тоже. И вот,

скажем, ученый делал какое-то открытие, но хотел иметь еще немного времени, чтобы его проверить. Только как было это сделать, чтобы открытия не перехватил кто-то другой, чтобы потом можно было доказать свой приоритет? Тогда он зашифровывал изобретение.

Оно, к примеру, заключалось в одном предложении: «У шефа длинный, красный от вина нос». Неудачный пример, потому что здесь пришлось бы шифровать совсем по иной причине, не по научной, а по административной, но ладно.

И вот наш ученый муж выписывал, сколько раз встречается та или иная буква, и записывал так: у-1, а-3, ы-2, и-2, и-2, е-1, о-2, ш-1, н-5, ф-1, л-1, д-1, р-1, к-1, с-2, т-1. Или: уаааыыиййееоо и т.д.

Если человек умирал, тайна о шефовом носе умирала вместе с ним. Не знаю, может ли в таком случае помочь даже самая сложная электронная машина с бесчисленным количеством испробованных вариантов.

Тот, кто что-то открыл, заверял шифровку у нотариуса, рассылал другим крупным ученым и потом спал спокойно, зная, что никто этого не разгадает, что участок застолблен.

А вообще-то был факт, когда, кажется, Галилей, я не астроном и потому, быть может, рассказываю вам легенду или в чем-то искажаю действительное событие, но суть истории была приблизительно такова, и я об этом где-то читал, — так вот, Галилей застраховался таким образом и чуть ли не Кеплер не поленился перебрать все возможные варианты и подстановки букв и заявил, что зашифрованное предложение звучит так: «Привет вам, близнецы, Марса порождение!» А если это так, то Галилей открыл спутники Марса. Было, правда, несколько лишних букв, кажется, три, но тогда и это специально делали, ради большей уверенности.

Спустя какое-то время Галилей все проверил и выступил с сообщением, что смысл его открытия, если отбросить шесть лишних букв, такой: «Высочайшую планету тройною наблюдал».

Выяснилось, что он открыл кольца Сатурна.

Но я никогда не был Галилеем и никогда не буду Кеплером, да и черт его знает, где набраться терпения на два года подстановок и вариантов, чтобы потом выудить любопытнейший факт, что у жены такого-то ноги кривые и волосатые.

Поэтому я подумал, что вмятинки могут быть и на других листах и что я их просто не углядел. Эти я заметил на первой странице апокалипсиса, и, по логике вещей, можно было предположить, что и остальные, если они есть, будут сделаны неизвестным шифровальщиком на первых страничках каждой книги.

Часа два заняло просматривание на свет, пока я не добрался до «Нового завета». И тут я заметил...

Первая ^{примеч} часть нового завета або тас-там-енту
по-одлуг славенского розделенья, то есть отъ
четырех евангелистовъ светое евангелие исуса
хрыста списаное...¹

[34]

Я выписывал буквы. Что-то получалось.

Я есмъ первы
і опошні...²

[35]

(Это значит первы, первый — автор напутал, потому что текста книги не хватало).

Меня подмывало взяться за апокалипсис. Как-то подсознательно я предполагал, что основная часть тайнописи там, что мозг средневекового человека обязательно должен был бы проводить какую-то параллель между своей тайной и таинственностью «Откровения», что он должен как бы соревноваться в непонятности с апостолом Иоанном.

Вы уже знаете, что под общей обложкой были переплетены без всякого порядка и без какой бы то ни было системы книги совершенно разного содержания. Наконец, я добрался до «Статута» 1580 года.

...от надснейшого гдѣ короля его млстѣи
жнкимонѣта ... друковано ... друкарни домѣ
мамоничовѣ³

[36]

Нашч... [37]

Я ползал по этим строкам, буквам и ударениям, слепя глаза низким светом очень сильной лампы.

... тех добра панства того великого князства
Литовского не уменьшишь и то, што будет
черезъ неприятелей того панства отдалено,
разобрано и къ ишнему панству от того панства
нашего коли колвекъ запрошено, то зае къ власности
великого князства привести, привласти и границы
направити обещаю...²

[38]

...атку разумному^[39].

Меня охватила какая-то ярость, какое-то исступление, какой-то бешеный азарт. Все же это была шифровка начала XVII столетия. Еще был жив Лев Сапега, еще не нахлынули шведы, еще древний язык звучал, звучал в полный голос и в правительстве, и в суде. И постепенно на отдельном листе возникли выписанные мной слова.

... нашчадку - разумнаму - вянью - медзь пася-
браную - кому медзь, таучы
в (три) фунты (с) паловаю. Чарговаць/такая):
карэнчкі лацне (удобно) пачатак схавалі, медзь
укрыла астанныя (астатныя)...

Он специально писал слова слитно, этот шифровальщик. Однако здесь он допустил одну присущую всем людям ошибку: писал буквы наиболее густо там, где слова делились. Я проверил, где стоит Ъ после согласной, и убедился, что это так. И тогда я стал делить предложение на слова и одновременно переводить его на современный белорусский язык. Мешало то, что неизвестный любитель тайн специально нарушал современную ему белорусскую грамматику, чтобы тяжелее было догадаться. А возможно, он недостаточно хорошо знал ее. Но ведь совсем отступить от нее он не мог. Он все равно в той или иной мере оставался в ее плену.

Нашчадку разумнаму вянью (завішчаю)
медзь пасябраную. (кому медзь, таучы
в (три) фунты (с) паловаю. Чарговаць/такая):
карэнчкі лацне (удобно) пачатак схавалі, медзь
укрыла астанныя (астатныя)...

Не слишком это было понятно, но какой-то смысл намечался. Ну что же, дальше, дальше.

... аче каженнкъ галавою кепъ ни Украдзеш (нрзбрч)
Базецна загамдю бо клюкою розумны складзи
змю лсвцаю дымам складзи канонъ вшыткае
вакол меди каб мещи занехаеш (нрзбрч) за заворою.

Чтоб ты сгорел со своей шифровкой, холера! Но ничего не поделаешь, поползешь дальше, хотя наши ученые так и не удосужились за сто лет исследований составить относительно полный словарь старобелорусского языка (словарики в конце некоторых исторических работ в счет таковых не входят, да и стоят немного).

аче (если) каженнкъ (скопец) галавою, (если) кепъ

Почему-то мне пришло в голову венгерское кер, и совсем не подумалось, что и по-польски дурак — кіер. Вот я и оказался тот самый — кепь.

«Ежели скопец головою, дурень, (то) не украдешь (нрзбрч.) подло. Загамую (задержу), ибо клюкою (здесь недоставало слова, но можно было догадаться, что „клюкою“ — ключом хитрости или ума). Разумный, (то) сложи змею, лестницею, дымом...»

Дымом? При чем тут дым?!

«Канонъ (то бишь накануне, а может, в значении сначала) вшыткое (все целое, все до конца) вокруг меди, занехаеш (не обратишь внимания, выпустишь из вида) (нрзбрч.) за заворою (за завалою)».

Потом я попытался перевести все это на белорусский современный язык, по возможности упростив текст. Получилось, за исключением темных мест, так:

«Я, первый и последний, потомку разумному завещаю медь посеребренную. Иному медь толочь, в три фунта (с) половиной. Очередность такая: корешки удобно начало спрятали, (а) медь скрыла остальное. Ежели (ты) скопец головой, дурак, (то) не украдешь (нрзбрч.) подло. Удержу (бо) тебя ключом (хитрости?). (Ежели) разумный (то) сложи змею, лестницею, дымом... Сложи поначалу все целое вокруг меди. Не обратишь внимания (нрзбрч., может — „останется“?) за завалою...»

Когда я записал последнюю букву, меня даже в пот кинуло. И нельзя сказать, чтобы смысл этой записи стал более ясным после перевода. Как и прежде, я не знал, в чем тут дело, что к чему и как?

Я подготовил себе воды с вареньем, бросил туда несколько кубиков льда, вскрыл свежую пачку сигарет, снял туфли и завалился на тахту, покуривая и прихлебывая воду, потому что у меня от этих дурацких лингвистических упражнений глотку будто наждаком продрали.

Черт его знает, что-то такое, скрытое под корнями, — оно вначале.

А то, что потом, — кто-то спрятал под медью, холера на ту медь и на то дерево с корнями. И если ты не дурак, то это что-то, эту медь, эти корни или то, что скрыто под ними, обкрути змеей и дымом вокруг еще какой-то меди, чтобы что-то не осталось за завалой... Ну, а если обмотаешь, то что будет? Второе пришествие? Бульон с бобами? Фига с маком под нос?

Я поднялся, подошел к окну и прислонился лбом к холодному стеклу. Стояла уже ночь. В черном зеркале стекла отражалось мое лицо, огонек лампы, а сквозь все это проступал неуютный городской пейзаж с последними огнями в окнах и с черным асфальтом, по которому наперегонки мчались, плясали расхлестанные, рваные, гонимые ветром водопады дождя.

Я был на грани того, чтобы все это бросить. Во всей книге пометок больше не было, и господь его знает, что скрыл под своей тайнописью тот древний человек, по костям которого прогрохотало уже несколько столетий.

«Брошу», — решил я.

Но в тот же миг я представил, как далеко за пределами города, на новом кладбище, где даже и деревьев еще нет, а только прутики выбиваются из холодной вязкой глины, лежит в этой самой ледяной персти то, что было когда-то Марьяном, лучшим, единственным, может быть, последним моим настоящим другом на этой клятой земле. Он завещал мне эту тайну, он беспокоился, он, возможно, погиб из-за нее. Потому что, хоть вы меня расстреляйте, я не верил, что все объясняется так просто: сердечным приступом и падением в воду. Не верил. У меня было первобытное, животное предчувствие, как у собаки, что все это не так, и если следы не найдены, если ничто не украдено, если никто не виновен из допрошенных к настоящему времени, то это не означает, что их нет, виновных, что новых следов не будет. Наконец, это просто мой долг перед его памятью.

И потому я опять закурил, сжал пылающую голову холодными руками и, собрав всю свою напряженную, холодную решимость, попытался сосредоточиться, сконцентрировать внимание только на одном.

«Медь... змея... дым». При чем тут, к дьяволу, дым? «Медь» написана там, как «мед»... А может, это не «медь», а «мёд»? Чушь собачья лезет вам в голову, уважаемый товарищ Космич, чушь и бред сивой кобылы! Какой

осел будет прятать что-то там в мед? Разве что только убитого на войне знатного человека заливали в долбленом гробу медом, чтобы довести целым к родовой гробнице или к бальзамировщику? Но представьте себе человека, который расшифровывал, искал, убил на это полжизни, и все только для того, чтобы найти труп? Это, простите, юмор висельника. И потом, что можно наматывать вокруг меда? Нет, ясно же, что это что-то надо наматывать вокруг какого-то медного предмета. А зачем?.. Нет, с этого конца ничего не получается... Корни скрыли начало. Деревья с корнями... Стоп! А почему дерево? О дереве нигде не сказано!.. И, наконец, существуют на свете омонимы... Так... Ну, ну... Корешок может быть не только у дерева... Корешки могут быть табачные... Корешок может быть... у... книги. У книги, черт возьми! У книги!

Я бросился к столу, где лежала книга. Я не мог ждать, не мог обдумывать все это дальше. Еще одного разочарования я просто не вынес бы. Я страшно боялся и одновременно знал, что не ошибаюсь. Ведь я был идиотом, который даже не догадался, что лучше всего можно замаскировать вещь на глазах у всех.

Корешок плотно прилегал к листам, но не был прошит нитками, и это меня немного успокоило. Я взял железную линейку и начал осторожно просовывать ее за корешок. Линейка входила очень медленно и с тихим потрескиванием: отдирался клей. И это было так же, как если бы стальной ланцет с потрескиванием резал мою собственную плоть. Ну, конечно, это было варварство, но я не мог больше ожидать. И я не резал по книге, а просто отодвигал эту рыжую кожу, пусть себе и отрывая приклеенное.

Потом skleю снова. Старательно и прочно.

Он, наконец, отстал. Я глянул в просвет и заметил, что там как будто что-то желтеет. Где пинцетом, а где и помогая пальцами, я тянул, шевелил, дергал и постепенно вытянул это желтое.

...И почти вскрикнул пораженный, когда на стол передо мной, наконец, легла сложенная вдвое длинная лента пергамента. Длинная лента, на которой были разбросаны буквы, начертанные старинными черными и со временем порыжевшими чернилами-инкаустом, как называли их предки в те времена.

Я тут же измерил ее. Длина, когда развернешь, была 63 сантиметра, ширина — 49 миллиметров. Буквы были разбросаны в полном беспорядке, но даже там, где они составляли строку (всегда под определенным углом к полоске), я ничего не мог понять. А между тем это не могло быть произвольной комбинацией знаков, потому что соседние строчки звучали так:

ZIN PЯЗ XMHВ FINIS.

По крайней мере, одно слово, FINIS, было понятно. И слово это было латинское. И обозначало оно «конец». Однако стоило перейти к соседним кускам, написанным нашей родненькой кириллицей, и сразу выходила чушь наподобие такого:

ЗМЮАОТАД ФСШ.

Скажите, вы слышали когда-нибудь о слове, которое начинается с твердого знака, или о твердом знаке, который удобно разместился после гласной? Я — нет.

И я читал, и все это звучало, как у ополоумевшего раввина, который читает белорусскую книгу на еврейский манер, с конца.

А, черт! А почему бы и в самом деле не представить, что это написано «с конца», наоборот. Скажем, методом, который тогда считался совершенной шифровкой, а теперь передан в пользование детям, когда им приспичит играть в тайные сообщества.

В этом случае первой букве алфавита должна соответствовать последняя.

А — это я, а я — это а.

Гм, вот и соответствующие куски "а". И еще «яя». И еще. Значит, это «ая». Похоже на то, что окончания прилагательных женского рода типа «толстая», «глупая». Ну что же, в этом что-то есть. Вполне возможно, что это и есть детские хитрости литорей^[40], когда алфавит делили пополам, первую половину писали слева направо, а вторую справа налево, под нею, и потом заменяли буквы из верхнего ряда буквой из нижнего и наоборот.

Что же, попытаемся и мы.

Сколько же это было букв в том белорусском алфавите? Ну, во времена Кирилла Туровского^[41] было сорок две. Но даже уже и в то время почти не употреблялась буква

ѣ

— дєрвь.

А уж до XVI столетия она и подавно не дожидка.

Шифровальщик вряд ли употреблял еще и такие знаки, как юсы простые и йотированные. Вычеркнем и их. Буквы «от», «кси», «пси» не были в чести у белорусов, особенно в мирских документах. Предкам были свойственны рациональность и склонность упрощать излишне сложные

вещи. Что им было в автоматически перенесенных из греческого алфавита знаках? Подумаешь — «кси» в слове Александр. Можно и двумя буквами обойтись.

Я долго думал над тем, пользовался ли мой человек такими буквами, как «зело», «і десятиричное», «фита», «ять» и так далее. И пришел к выводу, что не пользовался. Вместо них вполне можно было употребить обычные з, и, ф. Ведь ему нужно было предельно упростить дело.

Таким образом, сложенный мною «алфавит шифровальщика» приближался к современному белорусскому алфавиту, с тем исключением, что в нем не было букв э (ее в то время вообще не было) и, конечно, у (у — бывает кратким в белорусском алфавите). Потому что в кирилловском алфавите она отсутствовала, и мы даже не знали бы, существовал ли такой звук в нашей тогдашней фонетике, если бы не косвенные суждения и если бы не белорусские книги, написанные арабским шрифтом, в котором имеется и дз, и мягкое цъ, и много иных вещей подобного рода.

Зато, поразмыслив, я включил в алфавит букву щ (шта), довольно распространенную в текстах того времени. Таким образом, у меня получилось тридцать букв, или два ряда по пятнадцать.

На одной стороне полосы были такие буквы:

ѣхѣ ѣѣ ѣѣ ѣѣ ѣѣ

И больше ничего до самого конца всей шестидесятитрехсантиметровой полосы. Я подставил буквы.

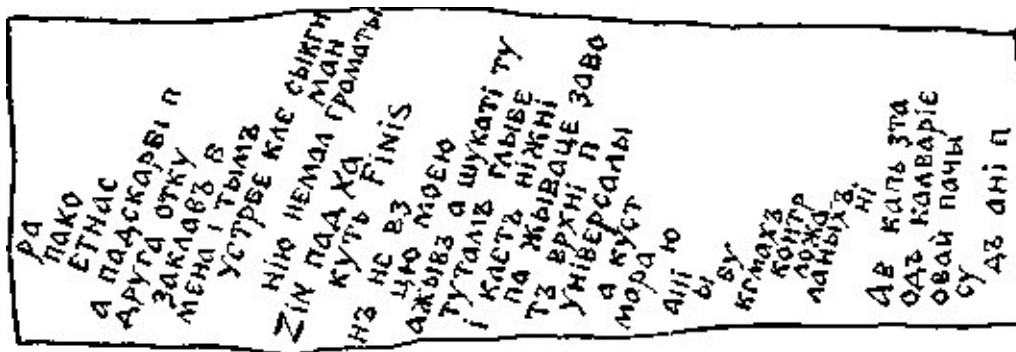
ѣѣ ѣѣ ѣѣ ѣѣ

«ѣ латіне...» («Как латине...») Что-то складывалось. Но почему только это? Написал, потом раздумал и перевернул ленту? Может быть.

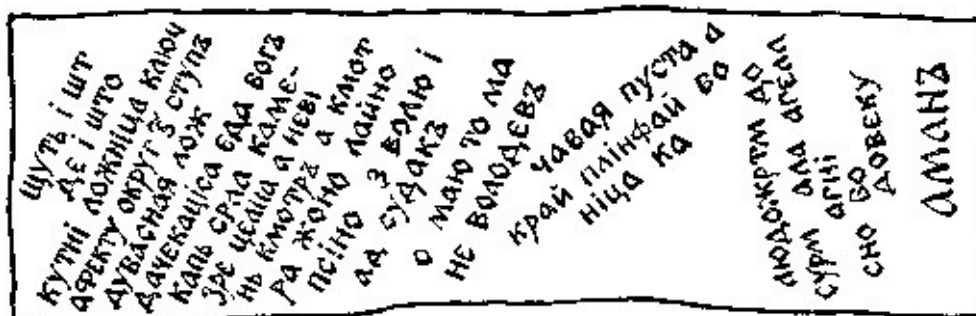
Первая буква на обороте Щ. Это значит Е. «ѣ латіне». И тут получилось. Пѣ — значит ра. Что же они ра? Пако етнас? Глупости, пане мой голубчик! Но вот десятая строка хмнв Finis подходит — куть Finis. «ѣ латіне ракуць» (Как латине говорят Finis). Что же, этот человек еще и здесь шифровал? Писал первую строку, десятую, двадцатую, а потом заполнял промежутки другими строками? Но двадцатой строкой было какое-то дурацкое ам ы б. Это я скудоумной обезьяньей частью своего "я" надумал расшифровать все с маху.

Когда я перевел литорею на обычный, нормальный человеческий язык, на полосе появилось вот что:

І половина ленты:



II половина ленты:



Вопрос первый: почему писал наискось? Вопрос второй: почему весь пергамент носит следы давней измятости и почему кое-где пятна от клея? Вопрос третий: каким методом записи пользовался тот человек?

Вот слово «капь», старая мера веса. Оно повторяется. Ясно, что эти строки должны быть рядом, ибо скорее всего здесь что-то перечисляется. Но между словом капь зта (золота) и капь срла (серебра, потому что на древнем белорусском было «срэбла») не десять, а одиннадцать строк. Нет, это что-то опять не то. Ты снова чуть не сбился на легкий путь. Снова. И потому опять покарай себя тяжелым трудом, человек.

Думай! Как бы тебе ни казалось, что до смысла легко дойти, что способ записи примитивный и пустяковый, — думай. Шевели мозгами. Почему полоса измята? Почему наискось? Почему пятна клея, чистые белые куски, почему не измят именно тот конец, на котором те, единственные на всей обратной стороне, буквы?

В книжном шифре есть слова «...сложи змеею, лестницею, дымом... Сложи вначале все целое вокруг меди».

И тут меня осенило! Я вспомнил один средневековый белорусский способ пересылки тайных писем. Два военачальника, дипломата или заговорщика заранее изготовляли себе два предмета одинаковой формы. Каждый имел при себе один. Если надо было отослать донесение, один из них наматывал на свой предмет полосу бумаги, длина и ширина которой

были заранее оговорены. Потом текст писали вдоль этого предмета. Затем полосу разматывали. На размотанной ленте ничего нельзя было понять, потому что слова, части слов, даже буквы были теперь в самых разных ее концах. Тот, кто получал донесение, наматывал его на свой предмет под заранее оговоренным углом... и читал. Гонец не знал содержания. Случайно попав в руки врага, он ничего не мог выдать, даже преданный пытке. Все, даже лютые враги, знали это, и делалось такое не из-за недоверия к гонцу, а просто чтобы человека напрасно не мучили.

Пока что все сходилось. И измятость. И строки, писанные наискось. И пятна клея, потому что им для удобства закрепляли ленту, чтобы она не разматывалась во время писания. И даже то, что несколько букв было на одной стороне, а все остальное на другой. Видимо, предмет был сложной формы, и шифровальщик перевернул полосу, чтобы она удобнее обвивалась вокруг какого-то выступа. В самом деле, попробуйте намотать вокруг чего-то непослушный пергамент! Это вам не покорная бумага, которая все терпит.

Все сходилось, все было, кроме... кроме того, чего я не имел и никогда не мог иметь, — предмета, на который наматывалась лента три с половиной сотни лет назад.

Один умный потомок имел часть чего-то очень важного, то, что «скрыли корни». Но он не знал, в руках какого другого умного потомка находилась «медь», то, на что надо наматывать, не знал ее формы. А значит, все мои усилия пошли «на псы».

...Почему «на псы»? Думай, хлопец, думай! Дело, конечно, будет очень трудным, если тот «предмет», скажем, имел форму двух конусов, сложенных основаниями. Очень трудным, но и в этом случае выполнимым. Да только вряд ли они пользовались предметом такой сложной формы... Чаще всего полоса пергамента или бумаги наматывалась на жезл определенной длины... А что такое жезл?.. Это та же самая палка... А что такое палка? Палка — это, если определить приблизительно, тот самый цилиндр, пусть себе даже сложной конфигурации, где потолще, а где и потоньше. Если это так, то почему бы не решить задачу, которая казалась чрезвычайно, неизмеримо сложной мозгам обычного, общеустановленного, заурядного средневекового человека («наш простой средневековый человек») и которую сейчас может решить даже ученик девятого класса, если у него, конечно, на плечах голова, а не арбуз.

Я пишу вдоль предмета. Полоса может наматываться, навиваться на этот предмет под любым углом. Угол между кратчайшим расстоянием по нормали (ширина полосы), отнесенной к длине строки, есть $\cos a$, косинус

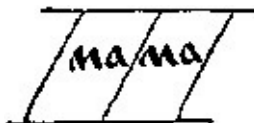
угла намотки.

...Измерил длину строки под углом. Она составила 58 миллиметров. А ширина самой полосы — 49 миллиметров. $49:58=0,82$.

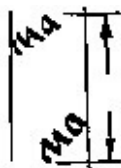
Ну вот, это уже пошло малость поинтереснее. Где это моя логарифмическая линейка? Я ведь не пользовался ею со времен раскопок в Городище и связанной с этим историей. Черт побери, до этого мог додуматься только отец: подсунул ее под настенный проигрыватель, чтобы не царапал стену.

Ну, 0,82 возводим в квадрат. Получается, что наматывали под углом в $20\pm$. К сожалению, предмет, кажется, и в самом деле был сложной конфигурации. Судя по измятостям, он имел утолщения на обоих концах и в середине. Но это ничего. Где угол иной — соответственно и рассчитаем. Да и, несмотря на утолщение, шаг (угол намотки) будет один, должен быть один. Просто в таких местах пергамент будет заламываться, заходить под следующий виток или напозать на него и, значит, угол почти не изменится, а просто на ленте останутся чистые, не заполненные буквами места. Что мы и видим в нашем случае.

Теперь более сложное. Как вычислить диаметр предмета, на который надо все это наматывать? Нужно найти хотя бы одну строчку, которая совпадает. Скажем, написано:



И тогда развернуть ленту и измерить расстояние между слогами, замерить его.



А эта штука равна πD .

Поищем такую строку. Есть такие строки. Вот по смыслу, пожалуй, подходит такое: «етнас... цю моею... о маю то ма. (Шт) о маю, то ма... етнас... цю моею». Или — «капь эта... капь срла». Молодчина, что пересчитывал, умница, что дал мне этот ключ! Ты и не думал, что даешь мне неизвестное тебе πD . Ты не имел и зеленого понятия, что отсюда D , диаметр предмета, на который ты наматывал свою тайну, равен измеренному расстоянию между совпадающими строками. Равен этому расстоянию, поделенному на 3,14. Головастые люди твоего семнадцатого столетия тоже знали это, но знали немного иначе — как бишь они это

знали? — ага, они, насколько мне помнится, знали это, по крайней мере, в Белоруссии, как 22:7. Что же, и это хлеб, почти то же самое и с расхождением в четвертом знаке. Но ты вряд ли водил знакомство с головастыми людьми. Головастые люди — они беспокоят, поэтому вы их не любите, стараетесь не уважать, и это главная ваша ошибка во все времена, многочтимые господа магнаты. Тайна твоя, даже для головастых твоей эпохи, лежала на поверхности.

Вот она, твоя тайна. Твой «жезл» был диаметром в два сантиметра с двумя-тремя миллиметрами. Диаметр утолщений на концах достигал четырех сантиметров, утолщение на середине — трех (что бы это за предмет мог быть? Но я этого, наверно, никогда не узнаю, да это и маловажно!). Все эти утолщения, глубокоуважаемый, практически можно отбросить. Вот так! Напрасно ты морочил себе голову.

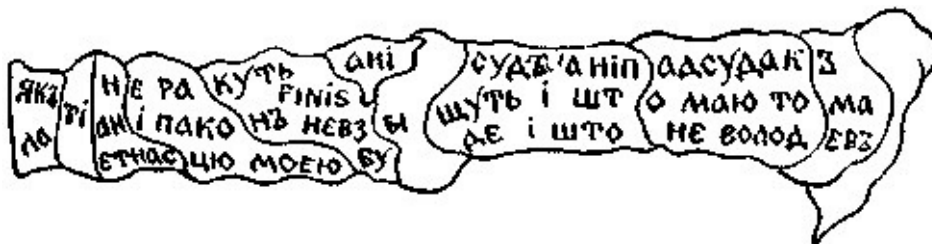
...Я пошел на кухню и начал искать среди своих причиндалов какой-нибудь предмет диаметром в два сантиметра.

И нашел. Рукоятка сковородника, которым берут с огня сковороду, была как раз в диаметре 2 сантиметра и два миллиметра, хоть меряй кронциркулем.

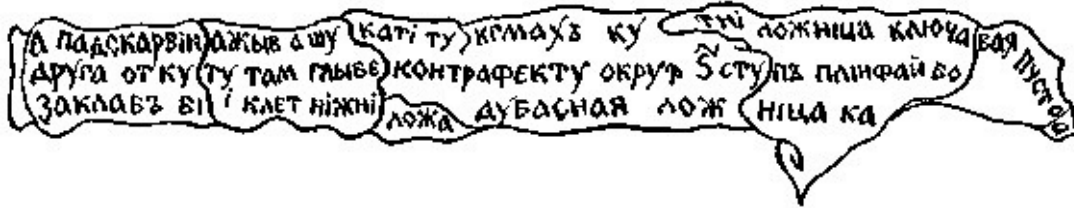
Что ж, теперь подготовим три-четыре точные копии из бумаги, чтобы не трепать пергамент, не порвать его и зря не марать клеем. Просто переведем через копирку — и не карандашом, а концом спички — все эти буквы. Готово. Ну вот, а дальше возьмем, парень, цилиндр вычисленного диаметра — сковородник — и под вычисленным углом будем наматывать на него бумагу, читая текст.

Я мучился с этим долго. Приклеивал и приминал те места, где были чистые пятна, и снова измерял угол намотки, и вел-вел дальше до посинения.

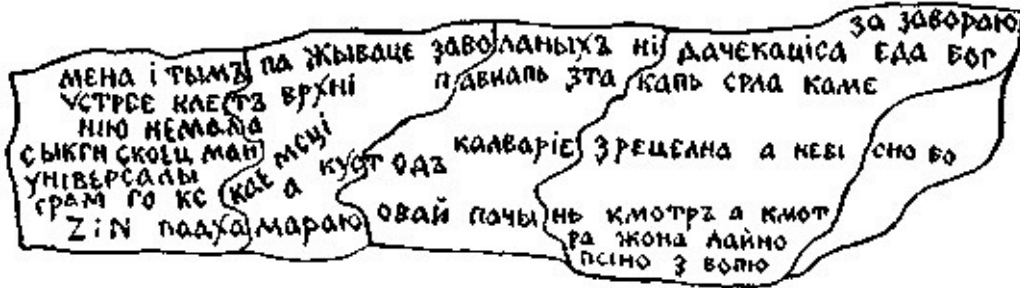
Сделано. Я приклеил конец, обождал, пока подсохнет клей, и начал читать вдоль предмета, как будто грыз кукурузный початок. Только что глазами.



И дальше:



При следующем повороте цилиндра обнаружилось следующее:



Здесь ему не хватало места, но, судя по тому, что последние слова были бранью — «лайно (навоз, помет, отбросы), псіно (песье отродье)», — человек, который записывал это, задыхался от ярости, горя желанием добавить еще что-то. И потому он завернул полосу и написал на чистых местах еще несколько слов:



Если изобразить это по-человечески, то текст звучал так:

"Якъ латіне ракуть Finis ані судъ ані падсудакъ ані паконъ не взыщуть і што маю, то маетнасцю моею буде і што не володевь, а подскарбі наживвь.

А шукаті ту кгмахъ кутні ложніца ключавая пуста. А друга от куту там глыбе контрафекту округ



ступъ плінфай бо заклавъ бі і клет ніжні ложа дубаснае ложніца камена і тымъ па жываце заволяныхъ ні дачакаціса за заворую еда бог уструбе клетъ врхні павкапъ эта капъ срла каменію не мал сыкгн скоец ман універсалы грам якмсці а кустодъ калваріе зрецелна а невісно бо Z i N падхамараю овай.

Пачынь кмотръ а кмотра жона лайно псіно з вою і людожртм до сурм ала агела агні довеку АМАНЪ".

Нельзя было сказать, чтобы и это было так уж понятно. Но теперь

можно было хотя бы составить словарик и подставить под непонятные слова современный смысл.

И я начал искать по всем выпискам, по всем своим картотекам, по словарикам в «Истории книги», у Карского^[42] и в других книгах.

Паконъ — закон. Кгмахъ — гмах (машина, громадина). Ложница — спальня. Контрафектъ — рисунок, образ. Окрут — корабль. Плинфа — старинный очень плоский кирпич. Дубасны — из еловой коры. Заваланых — позванных. Завора — засов. Еда — наверное, егда, разве, неужели, иначе. Павкапь, капь — два и четыре пуда. Скоецъ — монета. Кустодъ — сторож. Невісно, нявісны — это архаическое слепой, невидящий. Значит, и здесь что-то «слепо», «невидно», а может быть, и просто «не найдешь». Кмотръ — кум. Лайно — ну, это слово из лексикона Зизания^[43] и означает нечистоты, отбросы, помет, навоз. Калварие — место казни, лобное место, голгофа, кладбище (от латинского *calva* — череп).

А что такое людожртм? Наверное, людоежством (людоедством). Хитрил, бестия, и титулы ставил не там, где надо.

Подставим теперь то, что понятно. Переведем.

"Как латине говорят: *Finis* (конец)! И ни суд, ни подсудок (чиновник или писарь земского уездного суда), ни закон не взыщут, и что имею, то маетнасцю (имуществом) моею будет и (то) чем не владел, а падскарбим (государственным казначеем) нажил.

А искать тут гмах кутни (в смысле — угловое строение), спальня ключевая, пустая. А вторая, от угла, там глубже изображения корабля, восемь ступ цэглаю (кирпичом) бо закчал (заложил) (абы?) клетъ (этаж нижний), ложе из еловой коры, спальня каменная, и тем после жизни закликаных (позванных) за завалою (засовом) не дожждаться, хіба (разве) (что?) бог устр(у)бе (вострубит). Этаж верхний — полукапь золота, капь серебра, камней не (об) мал (ь) (немало) сыкгнеты, монеты, ман (ускрипты?) универсалы е(го) к(оролевской) м(ило)сти, а вартовник (сторож) лобного места виден, а не найдешь, ибо *Z i N* (?) под хамарою (?) этой.

Опочни, кум и кумова жена, навоз собачий, с воплями и людоедством до сурм (труб) ангелов (и в) дьявольском огне вовеки".

Таков приблизительно был смысл этого жутковатого в чем-то документа. Но что такое «хамара» и что такое «*Z i N*»?

Хамара. Словно звучало не по-славянски, хотя и напоминало наше «камора» (кладовая). Похоже на древнееврейское? Или арабское? Или греческое? Но в первых двух языках я разбирался, как... А третий знал

едва-едва. И, однако, полез в словарь. Дуракам везет, нашел:

Хзвард

Что означает свод, сводчатый потолок.

Но что такое Z i N? Что это мне напоминает? Химическую формулу? Но откуда в те времена взялась бы химия и ее формулы? Алхимия — это еще может быть. Так что это, что?.. Алхимия?.. Алхимические знаки?

Я начал мучительно припоминать все еще не забытые мной с тех времен, когда изучал колдовские процессы, алхимические знаки.



— золото или солнце. А как белорусский алхимик обозначал реторту? Ага,



спиритус?



Т-так...



— негашеная известь.

Что же такое Z i N?

И тут вдруг словно всплыло что-то с самого дна памяти. Ну, конечно же, конечно, Z i N — знак замазывания. Знак, который ставили, когда какое-то вещество замазывали на



годовой или даже более долгий срок.

И, значит, это предложение надо было читать приблизительно так:

«...страж лобного места. Видать, а не найдешь, потому что замазано под сводом этим».

Смысл был маловразумителен — автор пренебрегал всякой грамматикой, даже падежами — но от этого не менее страшен. А можно было, расставив иначе знаки препинания, понять все это и так:

«Лобное место видимое, но не найдешь, потому что замазано под сводом этим».

Но даже при таком, все еще смутном, хотя и более понятном прочтении, было в этой записи что-то тревожное, что-то устрашающее, чудовищно мрачное, коварно-утонченное и гнусное. Я кожей чувствовал это. И знал, что теперь не оставлю эту загадку, каков бы ни был ответ. Загадку, которую я должен был разгадать в память моего друга, была она причиной его смерти или не была.

ГЛАВА VIII. Вновь гаснет небо

Я оторвался от бумаг. Глаза жгло, словно засыпанные песком, во всем теле была вялость, как будто кто-то хорошенько отмолотил меня валиком от дивана: кости целы, а шевельнуться трудно.

Когда я отдернул шторы, за окном начинало светать. Очень медленно, тускло и неуютно. Значит, я работал целую ночь. Не случайно так адски, убийственно болела голова. Так болела, что теперь я вряд ли смог бы вспомнить таблицу умножения на пять.

Я ненавижу лекарства, принимал их, не считая тех случаев, когда серьезно болел, всего раз пять за жизнь (это тоже один из моих дурацких комплексов), но тут я не выдержал. Проглотил таблетку папаверина, полежал минут пятнадцать и, когда боль притупилась, выбросил две пепельницы окурков, распахнул все окна, умылся холодной водой, взрезал пачку сигарет, закурил и стал думать, что же делать с тайной, которая мне досталась.

В этот момент послышался стук в стенку: их величество Хилинский, наверное, желали испить со мной чайку. Тоже товарищ с комплексами. Или, может, только заявились? Вот и хорошо, будет с кем посоветоваться. Не с кем мне теперь, Марьян, советоваться. Совсем не с кем, брате.

Дав собакам поесть, я пошел к соседу.

Для раннего утра его квартира была уже идеально убрана.

— Не ложились еще?

— Гм, а зачем бы это я должен был ложиться?

— Работа какая-то была?

— Как всегда. Ну что, старик, пропустим по чарочке да в шахматишки?

— Коньяк? В такую рань?

— А ты что, хочешь, чтобы я в два часа ночи начинал? И, скажем, с денатурата и пива?

— Однако в девять часов... как-то оно... Вон даже американцы считают, что раньше пяти неудобно. Один там даже бизнес сделал: выпустил для бизнесменов партию часов, где все цифры — пятерки. Потому что раньше пяти — неудобно.

— Пяти утра? — спросил Хилинский.

— Ну, знаешь! — возмутился я.

— Человече, — вдруг посерьезнел Хилинский, — ты вообще-то

имеешь представление, где ты и когда ты?

— Шестнадцатого апреля. Пан Хилинский предлагает мне коньяк в девять часов утра и сожалеет, что не предложил мне этой работы, разбудив в пять утра. Сколько времени потеряли! Сейчас были бы уже готовенькие.

— Девять часов вечера шестнадцатого апреля.

За окном, действительно, не светало, а темнело.

— Черт, — сказал я. — Неужели, это я... сутки?.. То-то голова трещала.

— Шахматишки отменяются, — глухо сказал Хилинский, наливая рюмки. — Ну, что случилось? Расскажи, если есть охота, как это ты дня не заметил?

Я рассказал. Он сидел, грел рюмку ладонью и напряженно думал.

— Ну и фантазер, — наконец неуверенно выдавил он.

— Почему фантазер?

— Да как-то оно... гм... детективно уж слишком... И спорно... хотя и интересно... Тут тебе это несчастное происшествие, тут тебе, будто из волшебной шкатулки, шифр. Тут тебе, как по заказу, голова, которая за сутки такую работу проделала. Не по специальности работаешь.

— Увлёкся.

— А молодчина, черт побери! Дешифровальщиком бы тебя в штаб. А то иногда месяцами бьются. Что сейчас думаешь делать?

— Буду искать это место.

— Где ты его отыщешь? Разве что всю страну перекопать?

— Поеду в Ольшаны. Книга найдена там. Книга принадлежала Ольшанским, о чем можно судить по инициалам и по совпадению исторических событий и шифровки...

— Ну, занимайся, занимайся...

Я был немного обижен этим безразличием:

— А тебя разве это не заинтересовало?

— Да что тебе сказать, хлопец... Не в нашей это компетенции. Ни моей, ни Шуки.

— То есть как это? А если, действительно, Пташинский не захлебнулся, а убит, потому что кто-то боялся, что он стоит на пороге какого-то открытия?

— А ты уверен, что он убит?

— Да, — после паузы ответил я.

— Однако же и экспертиза, и следствие, и все против этого.

— Я уверен, — сказал я. — Вопреки экспертизе, следствию, черту, вопреки всему. Что-то во всем этом жуткое. Я предчувствую это

интуитивно.

— Предчувствовать — твое личное дело, — сказал Хилинский. — Ты лицо частное и можешь позволить себе такую роскошь. А вот когда начинает «интуитивно предчувствовать» правосудие, юстиция, само государство... тогда...

Он нервно отхлебнул коньяка.

— ...тогда начинается — бывали уже такие случаи — охота на ведьм, маккартизм, папаша Дювалье, да мало ли кто еще. А потом всем приходится долго, десятилетиями платить за это, рассчитываться. Даже невиновным. Слишком это дорого обходится.

Хилинский допил рюмку.

— Слушай, хлопче, не обижайся на меня, но это так. Ты потрясен смертью друга, ты не веришь, что он мог вот так, сам уйти от тебя. Ты ищешь возможность отомстить, чтобы стало немного легче. Но тут ничто не говорит в пользу мести. Даже звонки, объяснение которым имеется. Да, кто-то искал в квартире. Кто-то усыпил собак. Но это могли быть обычные барыги, они выследили отъезд твоего друга и воспользовались этим.

— Они искали книгу.

— Возможно. Но даже если это и так, даже если они смутно знали про открытую вами с Марьяном тайну, даже если они и вы столкнулись на одном пути к ней — это не имеет отношения к смерти Пташинского. Это случай, совпадение. Поверь мне, экспертиза была предельно тщательной, скрупулезной. Об этом позаботились, поверь мне. У него было очень больное сердце. Он мог прожить еще годы, а мог и умереть каждый день. И потому Щука, наверное, будет дальше вести расследование по делу взлома, но никому из них нет дела до того, что сегодня открыл ты.

Закурил.

— Как тебе объяснить? Ну вот: имеются сведения, что в Кладно где-то спрятан архив айнзатцштаба. Знаешь, что это такое?

— Знаю. Ведомство Розенберга. Грабеж ценностей.

— Правильно. Закопал некто Франц Керн с другими. Вот это дело людей, которых я когда-то хорошо знал. А события почти четырехсотлетней давности — это не наше дело. Ты бы еще попросил расследовать убийство Наполеона.

— И попросил бы. Делали же анализ его волос на присутствие мышьяка. В современной следственной лаборатории. Выяснили: был отравлен.

— Ну, такую услугу и я тебе могу оказать. Что тебе нужно?

— Сделать анализ чернил. Посмотреть книгу в инфракрасных лучах.

Ну и прочее. Полное обследование.

— Почему не сделать? По-дружески. Почему не помочь? Да и вообще интересно. А остальное — ты открыл, ты и делай. Помнишь, как ты дело Достоевской-Карлович восстанавливал и распутывал. Только для интереса мне рассказывал. И тут то же самое. Ну, логично, если хочешь, будем обдумывать вместе. Гимнастика для мозгов. Ну, разве юридический совет Щука может дать, да и то — ты юриспруденцию того времени лучше знаешь. Право очень сильно меняется. Сам и распутывай. Подмоги не ищи. Дай бог Щуке со своими документами и находками справиться.

Подлил мне коньяка:

— Интересная для тебя штука. Просто «остров сокровищ». А как насчет тех точек? Ну, 9с, 20в... Неужели и вычислительная машина тут ничего не сделала бы?

— А что она сделает? Простейший пример — «Вова — дурань». 1н, 1д и т.д. Перебрала все варианты и выдала, да почему-то по-русски: «На дурь, Вова». Я не могу все варианты перебрать, выбрать единственно верный, ну и у нее такая же логика.

— Мало утешает, — сказал Хилинский.

— Она выдаст все варианты, которые имеют хотя бы какой-то смысл, сотни тысяч, но выбор сделать не сумеет. У нее формальная логика. Поэтому человек заранее и отказывается от таких задач.

— Ясно, — сказал Хилинский. — Значит, сознательное признание умственного банкротства. Невозможности узнать.

— Вздор, — возразил я. — Отказ заранее — не свидетельство бессилия человеческой логики. Человек может сделать правильное заключение на основании далеко не полной информации. И может заранее предвидеть, что никакая информация не даст возможности сделать вывод. И этот отказ заранее от неразрешимой задачи не свидетельство бессилия, а, наоборот, свидетельство всемогущей силы человеческой логики.

— Что же, бейте на всемогущество. Признаться, немного завидую вам.

— Ну вот, — сказал я. — Сейчас пойду отсыпаться.

— Разбуди, когда раскинет ветви по-весеннему наш старый сад, — мрачно сказал он.

За окном была надоедливая апрельская слякоть.

...Я открыл дверь и сразу почувствовал, что в моей квартире кто-то есть. Снял туфли и прошел в кабинет. Так и есть: сладковатый сигаретный дым.

На диване, подобрав под себя красивые ноги, сидела и грела руками ступни женщина.

— Зоя?

— Да, ты не ожидал?

— Давно?

— Видишь, только зашла. Ноги окоченели.

Я принес халат и набросил ей на ноги.

— Спасибо. Я столько ходила по этой слякоти. Столько ходила.

Странный был у нее вид. Как будто накапала в глаза беладонны. Зрачки огромные, застывшие. Губы белые, словно она поджала их. Я поначалу испугался было.

— Что с тобой?

— Ничего. Ты хочешь спросить, зачем я здесь? Видишь, приползла. Знаешь, как не очень умная собака. Умные идут за последним в лес. Я только зашла, чтобы отдать тебе ключ. Вот он, на столике.

— А я о нем и забыл, — чистосердечно признался я. — Есть хочешь? Выпить?

— Ничего не надо.

Она умолкла.

— Послушай, ведь я тебе говорил уже и еще скажу: бросим это, оставайся — и все. Только откровенно — слышишь? — откровенно все скажем ему.

— Да нет, — почти беззвучно сказала она. — Не имеем права. Я не имею права. Обман. Ни на что я больше не имею права.

— Перестань себя истязать, — начал я утешать ее. — Ну, случилось, ну, подумаешь... Чушь, гиль какая-то... Покончим с этим, и все.

— Не чушь, — сказала она. — Я и пришла, чтобы покончить. Больше не приду. Вот только погляжу и... Ничего, ты скоро забудешь, что случилось. И ты меня жестоко не суди.

— Да я и не думаю, — улыбнулся. — Ну, давай выпьем немножко «немешанного кадара».

— Давай, — улыбнулась она влажными глазами. — Только давай будем здесь. Никуда не пойдём.

Я расчистил стол от следов ночной работы и поставил на него что было.

— Что ты собираешься делать в ближайшие дни?

— Пока ничего. Дня через три уеду.

— Куда?

— В Ольшаны, по делу. Это под Кладно. Деревня.

— Надолго?

— Недели на три, может, на месяц.

— Ну вот, значит, прощай. Может случиться, что и встретимся. Случайно. Кто знает, где оно, что и как.

— Послушай, Зоя. Я тебе еще раз говорю...

— Не говори глупостей. И не повторяй этого. Сам знаешь, женская слабость. Но только не со мной. Я уже решила.

— Не буду. Хотя мне плохо. Но, возможно, я смогу переубедить тебя.

— Посмотрим, посмотрим...

Странные, странные глаза.

— А что ты эти дни делал?

— Да тут головоломку одну древнюю решал.

— И решил?

— Не совсем. Не до конца.

— Ну, помогай тебе бог. Пусть тебе повезет. Ты же, смотри, возьми теплые носки. Несколько пар. В деревне еще слякоть. Блокнотов пару. Сигарет. Кофе растворимого, потому что там не достанешь. И ручек пару заправь. И пленок возьми для аппарата. И нож. И бритву.

Что-то нарочитое и неуверенное было в этой заботливости. Так, наверное, жена отправляет в дорогу мужа, изменив ему или зная, что непременно изменит, что высший, непреклонный рок неотвратимо ведет ее к этому.

— Все возьму, — сказал я. — У меня список. Я — опытный командированный. И вообще... методичный старый холостяк.

— Не надо тебе больше им оставаться. Слышишь, прошу тебя. Плохо это кончается.

— Ну, конечно, кто женится — у того жизнь собачья, зато смерть человеческая, а кто нет — у того собачья смерть, зато жизнь человеческая, — неудачно пошутил я.

— При нынешних родственных чувствах и смерть не всегда бывает человеческая, — подхватила она.

— Да что с тобой?

— Плачу, — ответила она. — И над тобой. И над всеми. — И вдруг поймала в воздухе выключатель бра, нажала на него.

— Иди ко мне, — голос был хриловатый и отчаявшийся. — Последнее наше с тобой... мгновенье... Прости меня.

В тоне ее было что-то такое, что нельзя, невозможно было сказать «нет».

* * *

Через час я провожал ее. И сколько ни убеждал ее, чтобы она осталась, сколько ни уговаривал, сколько ни говорил, что завтра сам пойду к ее мужу, она, бледная, только отрицательно качала головой.

— Не провожай меня. Ну вот, я не хотела, чтобы не было этого вечера, чтобы не вспоминал. А теперь я пойду. Я страшно устала.

Мы стояли в подъезде, и, когда в него вошел Хилинский, распечатывая пачку сигарет, она даже на мгновение не оторвалась от меня.

Хилинский, проходя мимо нас, сделал незнакомое лицо. А она, не успев он подняться и на несколько ступенек, припала к моим губам.

— Помни... Прости... Не поминай меня, пожалуйста, лихом. Прощай.

Оторвалась от меня и выбежала в дверь, под дождь, который нещадно поливал весь огромный город, все его мокрые блестящие крыши и голые деревья.

...Хилинский все еще возился с ключом, и я остановился возле него закурить.

— Печальная, — вдруг сказал он. — Горестно-печальная.

— Вам странно? — сухо спросил я.

— Немного, — ответил он. — Не мое это дело, Антон, но я думаю, что знаю людей. И... как мне кажется, она не относится к типу чувствительных. Ту-уго знает, что, как и зачем. Даже когда чулки покупает, даже когда в первый раз поцелуй дарит. Ну, это все же лучше, чем какая-то красотка, которая петуха от кур гоняет «за задиристость»... Опечаленная... Видно, что-то серьезное случилось.

— Это моя бывшая приятельница, — сказал я.

— Одобряю.

— Что бывшая?

— Нет, что приятельница.

— Мое поведение люди когда-то назвали бы предосудительным, — горько сказал я.

Я не стал объяснять почему, но он, видимо, понял.

— Себе ты это можешь простить? Тогда зачем осуждать за то же самое других? И кто имеет право осуждать?

Разговор становился чертовски неприятным. Мы оба чувствовали себя неловко. Он потому, что вмешался в чужие дела, которые его не касались. Я же потому, что, ища человеческого голоса, сочувствия в нем или хотя бы тени сочувствия, непростительно распустил язык. Божьим даром было появление в это время свежего человека, да еще с такими предметами в руках, что у всякого глаза полезли бы на лоб.

По лестнице поднимался Ксаверий-Инезилья Калаур-Лыгановский с

медным ликом. Его беспощадные глаза смотрели поверх круглого щита; вооружен он был копьем со здоровенным бронзовым наконечником.

— Готово, — тихо сказал я, — достукался с пациентами. Ну, по крайней мере, не Наполеон. Еще одна, свежая мания.

— И он увидел на стене зловещий, черный призрак Деда Мороза, — сказал Лыгановский, смущенно улыбаясь, и объяснил: — Несу вот художнику. Масайские копье и щит. Аксессуары для картины. Нарисует, а за это обещал реставрировать.

— А я подумал, что, наконец, появилась новая мания, что это вы входите в роль Чомбе, — сказал я.

— Ну, что вы! Не так уж плохо идут мои дела. И не так низко я пал.

— Откуда это у вас? — спросил Хилинский.

— А вы бы зашли как-нибудь ко мне.

— Не так уж плохо идут мои дела, — с иронией повторил его слова Хилинский.

— Догадываюсь, поскольку вы еще здесь, а не в моем департаменте. А вы просто зайдите посмотреть, — сказал психиатр.

— Любопытно, — заметил я. — Прямо хоть в музей.

— А у меня и есть... почти музей. Оно все и пойдет когда-то в музей.

Бронза наконечника была покрыта такой тонкой насечкой, что я был заморожен.

— В самом деле, откуда такое чудо?

— Я, мой дорогой, медицину в Праге штудировал.

Закурил с нами.

— Чехи тогда стипендии давали... угнетенным. Украинцам, лужичанам, нам. Но работу на родине найти было нельзя... Ну и рассеялись по земному шару. Где я только не работал! И в Индии на эпидемии холеры, и в Нигерии на сонной болезни, и черт еще знает где. Приходилось быть мастером на все руки. А что поделаешь? Человек, когда умирает, знает лишь слово «лекарь», и плевать ему на такие понятия, как «фтизиолог» или «психиатр». Наконец, при многих болезнях бывают интереснейшие отклонения в психике. И мы очень плохо их знаем, очень мало ими занимались.

— И сколько же лет вы нюхали эту экзотику? — поинтересовался я.

— Хватило. Лет десять. Возвратился в тридцать восьмом году.

Погасил сигарету.

— Вот вы и зайдите как-нибудь. Не в качестве пациента, а посмотреть. Пациентами не надо.

— Самые резонные слова, которые я когда-нибудь слышал, — сказал

Хилинский.

Мы захохотали. Доктор полез дальше, держа копье наперевес.

— Последний оплот белых колонизаторов и гиен империализма пал на исходе этого дня, — буркнул Хилинский. — Молодая Африка расправила крылья навстречу трудной, но оптимистической весне.

— Вы их там только не... — сказал я. — Не «ньям-ньям» или как это?

— Два дня как перестал ньям-ньям, — ответил сверху Лыгановский. — А будете издеваться над прогрессивными явлениями, Космич, я спущу этот щит вам на голову.

Мы посмеялись и разошлись по квартирам.

...Настроение у меня все последующие дни было отвратительное. Я улаживал свои дела, но даже это не могло заставить забыться.

Я добился разрешения на обследование замка в Ольшанах, получил в институте бумагу о том, кто я такой и что райисполком просит содействовать мне в обследовании костелов, церквей и других старинных построек.

Собирал понемногу вещи. И все не мог и не мог забыть тот последний вечер.

Надо было еще отвезти к отцу собак и купить то, что трудно достать в деревне. И я заблаговременно договорился насчет кофе с продавщицей, моей «блатмейстерицей», и с Пахольчиком насчет десяти блоков «БТ» и камушков к зажигалке, и купил по совету Зои блокноты, носки и кое-что для аптечки.

Все уже было готово, даже бутылочка чернил для вечного пера в полиэтиленовом мешочке и книга 1908 года издания «Ольшаны (Княжество, староство и уезд Ольшанский в их историческом бытии)». Купил я еще шестнадцать «шестидесятпяток» и три цветных «ДС», достал у знакомого фотографа десять широких «орвоколоров», а у знакомого продавца — десять «орвоколоров» узких. Достал хорошего чая и починил свой «Харків». Наточил ножик, купил пластырь, чтобы заклеивать футляры для кассет, и... Словом, работы мне хватило, и я постарался сделать запасы, чтобы не портить коммерции столичным продавцам.

Но перед отъездом мне необходимо было сходить на квартиру к Марьяну (передачу вещей в музей разрешили отложить до моего возвращения из Ольшан). Я не хотел туда идти без свидетелей, а главное, потому, что это было бы слишком тяжело — идти туда одному. Поэтому я зашел к Хилинскому, и Абель с Бобкин-стрит согласился составить мне компанию. Вернее, охотно прервал свое сегодняшнее *dolce far niente*^[44].

На улице девушки все еще часто заглядывались на него: высокий, но

не такой дылда, как я, «треугольный», плечистый, ко почти совсем без бедер. Я искренне сожалел, что пропадает зря такой великолепный образец рода человеческого, но в то же время до глубины души жалел его и понимал. А вообще-то, он достоин был не сожаления, а, скорее, удивления и уважения.

Сердце мое снова больно сжалось перед дверью, когда подумал, что не услышу я собачьего лая, не откроет мне дверь мой друг. И в квартире разило нежилым, застоявшимся воздухом. Я открыл форточку, взял себе несколько его любимых книг, небольшую модель корабля (никто уже, кроме меня, не знал, как он всю жизнь мечтал о море, но была война, было угробленное сердце), снял со стены одну гравюру из ценных, но не музейных и подарил ее Адаму:

— Ну, вот и все.

И тут я заметил на столике возле кресла книгу. Я знал — тут всегда лежали последние книги, которые он читал, и захотел поглядеть, что это было, последнее.

Это была «Книга джунглей». Я решил взять и ее, и тут из книги выпал маленький листок бумаги. Лежал, видимо, как закладка, а осмотр помещения, конечно же, был поверхностный.

Марьян, собирайся, возьми для вида удочки и неотложно выезжай на Романь. Если немного задержусь — полови с часок-полтора.

Очень нужно.

Я подал записку Хилинскому.

— Что это?

— Ничего. Мой почерк. И бумага моя.

— И что же получается?

— Получается, что убил я.

Все во мне словно окаменело. Адам внимательно смотрел на меня.

— Вот что, парень, давай ты мне эту писульку, а я отвезу ее Щуке...

Хватит того, что ты на ней отпечатки пальцев оставил.

Он взял бумажку чистым листком бумаги.

— И книжку свою завтра принеси Щуке. В самом деле, здесь что-то не то. И с твоей полоски сделай копию.

— Сделал.

— А полоску спрячь. Ну вот. Возьми еще и гравюру и кати домой. Я — туда. Поезжай. А то на тебе лица нет.

...На лестнице почему-то не горел свет. Я был еще на два марша ниже

своей квартиры, когда послышался какой-то странный резкий звук. Что-то меня насторожило, и я застыл. Скрип повторился. Я поднялся еще на один пролет, когда снова услышал тихое, резкое скрежетанье и заметил впотьмах неясный силуэт, тусклую человеческую тень. Кто-то взламывал замок моей квартиры. И тогда я стал подниматься на цыпочках. Скрежет. Еще скрежет. Я был уже почти на месте, когда тот, видимо, что-то почувствовал. Раздался звук, лязгнуло, как будто кто-то выдирал ключ, а потом тень метнулась мимо меня, толкнула плечом — мои книги упали — и бросилась вниз по лестнице. Несколько мгновений я стоял ошеломленный, а потом рванул за нею, что, учитывая темень, было нелегко.

Еще сверху я отметил, что дверь на улицу закрыта, и припустил к выходу во двор. Во дворе на лавочке, несмотря на прохладу, сидели и покуривали дворник Кухарчик и младший лейтенант Ростик Грибок, который вымахал в здорового гриба.

— Никто не пробежал?

— Никто, Антон Глебович, — ответил Грибок.

— Товарищ Космич, — завел было дворник, — а вот...

Я махнул рукой и бросился к двери в подвал. Она была приоткрыта, потому что огонек спички заколебался. Но она всегда была приоткрыта: никто у нас там ничего не хранил. И на ней шевелилась еще прошлогодняя паутина. А на пороге была пыль. «Тьфу! Не мог же он улетучиться?»

Светя спичками, я увидел, что пробки немного отвернуты, и ввернул их. Потом вышел снова во двор и спросил курильщиков:

— Давно вы здесь?

— Пару минут, — сказал Кухарчик. — А вот как, скажите вы мне, грифель в карандаш засовывают? Сколько уже думаю.

— Склеивают вокруг него две половинки, — сказал я, махнул рукой и поплелся наверх.

Тут мне пришла в голову мысль, что он мог заскочить в комнату к девушкам, и хотя я подумал, что от визга тут бы и дом рухнул, позвонил и зашел.

Обычная, по-студенчески, по-девичьи обставленная комната, только что несколько афиш, на которых эти красавицы были помечены самым мелким шрифтом.

На стульях (кровати были белоснежные) сидели три хорошенькие девушки и стоял... молодой человек, на этот раз без ведра. Он был сильно в кураже и слегка качался. А девушки хихикали, как ни в чем не бывало.

— Девочки мои, солнце жизни моей! Вы мои нефертушечки...

— Давно он здесь?

— С полчаса, — пискнула миленькая брюнеточка с лукавенькой улыбкой. — Насмеяли-ись...

— Гоните его в шею, — посоветовал я.

И полез к себе на этаж, и только у самой своей двери меня словно стукнуло, и я начал спускаться снова.

В это время хлопнула парадная дверь. Я бросился к ней, распахнул, но по улице возвращался из кино народ, и какому черту там было кого заметить.

Подошел к двери в подвал: паутины нет.

«Осел с дедуктивным мышлением! Паутина ему! Под ней можно проползти, не зацепив порога. И неужели ты думаешь, что тот не обдумал пути отступления? Идиот! Перечница старая! Ясно, что если бы полез туда, то получил бы, наверное, по черепу. И правильно. По такому черепу только и получать».

Но на этом вечер не закончился. Едва я успел включить свет и шлепнуться на тахту, как зазвонил телефон. У меня всегда предчувствие, когда звонок — плохой. Я не хотел поднимать трубку, но телефон разрывался. Пришлось снять, и тут я услышал далекий, полный отчаяния вопль Костика Красовского:

— Антон! А-антон!

— Я. Что такое?

— Антон!!! Господи! Господи!

— Да что с тобой?

— Зо... зо... зо...

Я понял: не только что-то неладно. Случилось что-то непоправимое.

— Кастусь, успокойся.

— К... к...

— Ну что? Что?

— Зоя... умерла.

— Как? — глупо спросил я, еще ничего не понимая.

— К... к... калий циан. И записка: «Я продала своего наст-тоящего, — он сделал ударение на этом слове, — мужа. Не вините никого, кроме меня».

— Я еду! Еду!

— Нет... нет... Я еду... Туда... — рыдания были такие, какие мне редко доводилось слышать.

Он положил трубку. Тут на меня обрушилось все. Главное, я не знал — почему? Что случилось в два последних прихода? Ничего. Все то же, и даже рукописи на столе, и все на своем узаконенном месте: чистая бумага справа, исписанная — слева, пепельница — здесь, сигареты — здесь. Мир

перевернулся, но только не для меня. И та же хмурая апрельская ночь за окном, и опять, кажется, сечет в окна дождь. Ну, расставались. Но ведь это было давно решено — при чем здесь вдруг ее слезы.

«Она готовилась, это ясно, теперь я понял. Почему? Если у нее было сожаление обо мне разве что как о потерянной игрушке? У меня было немного серьезнее, но тоже... Почему же сейчас так болит душа? Что я обманул Красовского? Но я не знал об этом, а она не придавала всему значения. Что вдруг изменилось?»

Я сидел и тупо глядел за окно в ночь. Потом пошел, взял том энциклопедии. «Цианистый калий». «Применяется в процессе получения золота и серебра из руд...» Зачем мне золото и серебро? «Очень ядовит. Признаки отравления: лоб желтоват, синюшность на скулах и шее, губы слеплены, кожа ледяная и сухая».

Нет, не мог я представить Зою с желтоватым лбом и ледяной кожей.

«О, боже неублажимый! Что все же случилось?»

Все было кончено между нами. Все было вообще кончено. Почему же у меня чувство такой вины?! Я ведь уговаривал, я чуть не умолял ее остаться. И вот конец.

Череп мой раскалывался... Книга... Лента... Шаги под окном... Смерть Марьяна... Еще одна смерть...

Опять погасло небо.

И тут началось мое... неладное.

За окном дождь. Мокрые пятна фонарей. Тянется невидимый сладковатый дымок табака. И вдруг мелкие разноцветные точки, как на картинах пуантилистов, а потом словно взрыв, словно черные крылья. И тьма, я лежу на тахте, и медленно, слоисто стелется надо мною голубой туман, в котором возникают милые мне облики.

...Утром я позвонил Хилинскому и рассказал обо всем.

— Никуда не ходи, — встревожился он. — Ни о чем не думай. Ни об экспертизе, ни о чем. И вообще, собирай-ка ты манатки и поезжай в свои Ольшаны. В случае чего — не волнуйся, найдут.

ГЛАВА IX. Кладно. Дорога. Отрешение

Я люблю Кладно больше других городов. Люблю за уютность перепутанных, словно паутина, залитых утренним солнцем улочек, за широкое течение реки, змеящейся водорослями, за грифель стен и оранжево-чешуйчатую черепицу костельных крыш, за все то, что не доконала война.

За дикий виноград, обвивающий кремовые стены, за зелень. И хотя зелени не было, а над городом просто жарко и сине светило небо конца апреля — я все равно понемногу стал выходить из оцепенения. Во всяком случае действовал не по инерции.

Автобус на Ольшаны шел только под вечер, но я не зашел даже в чудесный местный музей: мне не хотелось смотреть на вещи, мне хотелось видеть людей. И понемногу отходить, припадая к их теплу. Первое мое «припадение» произошло, однако, не совсем в том ключе. Я зашел во второразрядный ресторан, один из тех, которые утром — чайная, а рестораном становятся только во второй половине дня. И угодил к началу того, чего не терплю: маленький оркестр готовился к своей слишком громкой музыке. Попросил бифштекс, еще то-се и бутылку пива.

Ресторан был современный, без копий с картин Хруцкого^[45] на стенах (бедный художник!), но зато с росписями, на которых плыли разные «царевны-лебеди» и «лады» (будь они неладны, девами бы им старыми остаться или замуж далеко выйти, да чтоб им бог семь дочек дал!). До ужаса не гармонировала со всем этим мебель: шкафчики для посуды, столы, стулья и тяжелая старая стойка. И здесь уже и сейчас было хмельно и сильно накурено.

Официантка в белом венчике принесла мне все и прислонилась к подоконнику неподалеку от меня.

Я ел и слушал гомон.

— Ничего, алкоголиков лечат...

— Одолжил ей деньги. Никто в это не поверит, но это так...

— Пьяные, как гориллы, были.

— Сделал глупость. Начал обороняться... от милиции. А этого делать не след, с властью не связывайся, — поучал чей-то положительный голос. — Просто пойди себе дорогою. Прочь...

Бифштекс был из резины со стальным каркасом. Но, как говорил когда-то комиссар нашего отряда, «исчерпай все силы при выполнении

задания, мобилизуйся — а сделай».

Я мобилизовался.

Тем временем оркестр, видать, по заказу, грянул обработанное в современном, суперджазовом духе попурри из белорусских песен.

Два патлатых сопляка за соседним столиком подпевали и рыдали друг другу в жилетки.

Это было уже слишком.

Официантка прикрыла розовой ладошкой рот, скрывая зевету.

— Что это, у вас всегда такая гнусь? — спросил я.

— Почти всегда, — грустно сказала она. — Кроме поздней ночи и выходных. В большие рестораны перестали ходить.

— Угу, — сказал я. — Перестали. Тут тебе директор и объявления дает, и бегаёт по учреждениям, и организовывает коллективные посещения: «Напейтесь в нашем ресторане». Никто не напивается.

— Тогда директора ругают, — сказала она. — Сильно.

Впервые за последние дни я рассмеялся.

...Автобус отходил около семи. Оставалось что-то около часа до заката. Полон автобус людей, которых так редко встречаешь в Минске. Лица, покрытые бурым зимним загаром, узлы, голова утки, торчащая из кошелки. Я сел на заднее сиденье: здесь бросает и валяет, но зато сидишь выше всех и всех можно видеть, и полетел навстречу мягким, уже розовым от низкого солнца пригоркам, в леса, которые светились добрым светло-оранжевым огнем, и слушал музыку языка, и пил ее и не мог напиться.

Разговор с бранью можно услышать во всем мире — от Аляски до Австралии — но такой разговор с такой бранью — только в белорусских автобусах и на наших рынках, особенно на Могилевском, Рогачевском, ну и еще немного на Слуцком. Можно было когда-то и на Комаровке^[46], но там теперь стесняются цивилизации и милиционеров. Болтают, правда, что-то про одесский «Привоз», но я бывал там и скажу: не то, не то.

Чем они приукрашивали свой разговор — этого я из уважения к вам не повторю. Но автобус гомонил, и никто ни на кого не обижался.

— У него в родном доме всегда корчма.

— Ну, это лучше, чем корчма была бы ему всегда родным домом.

Хлопцы с городскими чемоданами. Опустили стекло и кричат деду, выходящему на улицу из глухого, в темнеющих кронах деревьев, деревенского палисадника:

— Эй, дядька, сидите в хате, не выходите на улицу, а то вас троллейбус задавит.

— Или метро.

— Гы-гы-гы. — И поднимают стекло.

— Ну, это ты уже слишком. Заврался. Нереальная и потому глупая фантазия. Откуда в такой Занюханке метро?

Хохочут. Едут домой, навстречу празднику. А я еду навстречу сумеркам. И я растроган, и даже слезы просятся на глаза.

— А ты, хлопче, случаем не был в Новинках?

— Не был.

— Ну так будешь.

— Вместе пойдем.

Вмешивается какой-то местный «интеллигент»:

— А это его трахнули медной кастрюлей по голове. Так он с того времени заговаривается... на тему о медных рудниках на Балхаше.

— А он, видать, у Булак-Балаховича когда-то служил. Коням хвосты крутил. И поэтому до сих пор боится звонков в двери.

Тьма бежала навстречу, подпрыгивала, и опадала впереди полоса света, автобус засыпал, а я сидел и слабо улыбался чему-то.

...До Ольшан, маленького местечка, я добрался часов в десять с чем-то. Можно было разглядеть только огни в окнах, тусклые метлы голых еще деревьев, пятно света возле клуба да толпу у него, преимущественно из молодежи.

— Где тут можно найти ночлег? И чтобы поближе к замку?

— Ай, дядечка, — всплеснула руками какая-то девчушка. — Так это же вам Ольшанка нужна. Это пригород (она так и сказала: «пригород», и я чуть не прыснул от смеха). И километра не будет. Во-он туда, и все прямо, пря-ямо.

Я чертыхнулся. Ошибка. И не первая. Ошибки даже в трудах по истории. Черт бы их побрал! Своего не зная... Это все равно как знаменитая Мало-Можейковская церковь, шедевр наш, на самом деле стоит в селе Мурованое. И неизвестно, кто первый назвал ее Мало-Можейковской. И сотни обалдуев повторили за ним, не удосужившись даже побывать на месте. Работники искусствоведения, художники, историки, архитекторы. Работнички, лихоманка на них!

Я уже совсем было собрался идти, когда кто-то сказал:

— Погодите. Вот заведующий клубом идет. Вечерка^[47].

Приближался небольшого росточка человек. Волосы словно прилипли к круглой голове. Походка какая-то ладненькая, веселая.

— Зелепущенок... Микола Чесевич.

— Космич. Антон Глебович.

— Так вы к нам? Идемте вместе.

— Вечерка, до завтра, — сказал кто-то вдогонку.

— Что это они так вас зовут? — спросил я, когда мы углубились в темноту.

— А-а. Это они по-уличному. Никак не могут отвыкнуть, хотя и уважают. А уважать, казалось бы, и не за что. Шесть классов у меня образования. Однако у нас не только кино, танцы, но и лекторы, и по два спектакля в месяц. Конечно, под суфлера.

Я был очень рад попутчику. В этой крошечной тьме рысь переломала бы все четыре лапы, а я до утра обязательно попал бы обратно в Кладно, а теперь спокойно шел себе рядом с маленьким человечком, который уверенно катился вперед. И было не так уж и плохо, потому что пахло весной и не совсем еще просохшая земля пружинила под ногами.

— Так почему бы вам не подучиться?

— Э-э, где там. И хозяйство, и клуб. Жена все руки на работе стерла. Часто аж стонет на печке. Да на мое место сюда и медом не заманишь и на цепи не приведешь.

— Что так?

— Глухомань. И — чертовщина какая-то у нас в округе завелась. Сам бы заревел да сбежал куда-нибудь, так некуда. Ну, ничего.

— Какая чертовщина?

— А сами увидите... Ну не думайте, что у нас так уж паршиво. У нас там замок, костел — извините, конечно, — с плебанией^[48], мельница, ссыпные пункты, филиал клуба. Вот начнутся работы, народа прибудет — станет и он функционировать три раза в неделю. Тогда хоть разорвись. Нет, место у нас хорошее, но все же пригород... А вы зачем сюда?

Я ответил, что буду изучать замок.

— Замок у нас ог-го. Запущенный только. У нас его уже недели две как обследуют. Наука! Археологи. Девушка руководит. Да ладненькая такая, только худовата. Но ничего. Как говорят, девкой полна улица, а женкой полна печь.

— А где бы там у вас можно остановиться?

— Да на первый случай хотя бы и у меня. На пару дней.

— Почему так?

— А больше вам навряд ли самому захочется. Потому что я... Вечерка. Отец мой был Вечерка. И дед. Что там говорить — люблю беседу. И не то чтобы там драка или руготня — такого я сам за дверь выкину. А беседу, общэния среди людей...

Нет, все же хорошо «общ-чаться с людьми». Я шел и посмеивался про себя. Хорошо мне было и потом, когда я понял, что огней Ольшанки не

было видно просто потому, что парк был такой густой, и это он, даже голый, скрывал их, и что огней тех немного, и что слышен разноголосый лай собак, и что хата Вечерки такая уютная внутри, побеленная, с ручниками, с печью и газовой плитой в пристройке, с тремя комнатами и боковушкой с отдельным входом, куда хозяин с женой Марией Семеновной, дородной смешливой женщиной, отвели меня.

ГЛАВА X. Идиллия контрастов

Утром, позавтракав и выйдя из хаты, я так и ахнул, настолько все вокруг было хорошо. Небольшая, дворов на шестьдесят — семьдесят деревенька, «пригород», широко раскинулась по склонам округлых мягких пригорков и утопала в садах, где уже зелеными тучами грезили кусты крыжовника. Неширокая речушка разделяла эти две гряды пригорков и саму деревеньку. Она змеилась, эта речка, быстро исчезая с глаз и слева, и справа, и потому не сразу можно было понять, откуда долетает плеск воды на мельничном колесе. Справа, далеко, виднелись ссыпные магазины.

И эти зеленые от мха крыши, и чуть заметный зеленый налет на ветвях деревьев, и горловой, ленивый крик петухов, и земля огородов, черная, лоснящаяся, что даже курилась под свежепобеленными стволами яблонь. И две башни костела вдали. И над всем этим синее-синее глубокое небо, которым хотелось дышать.

Прежде всего я пошел к костелу, он первый бросился мне в глаза. Да и кто лучше знает историю того или иного места, как не учитель истории и не ксендз.

Костел был могучий, с двумя высоченными башнями. То величавое, царственно-пышное и одновременно простое белорусское барокко, каким оно было в начале XVII столетия. А может, в самом конце XVI. На одной из башен был «дзыгар» — календарь-часы, которые, к моему удивлению, шли.

Двери костела, несмотря на будний день, были открыты. В стороне, под развесистыми старыми деревьями, стоял мотоцикл. Я подумал, что вот кто-то здорово умудрился подкатить на этом признаке цивилизации под самый «косцёл свенты».

В дверях появился человек невысокого роста в штатском, коротко стриженный шатен с очень заметной уже сединой. Улыбка была по-детски хитроватая, лицо лисье, но чем-то приятное. Такое, наверное, было лицо Уленшпигеля. Настораживали только глаза: то смеются, а то промелькнет в них что-то пронзительно-внимательное, словно пытается тебя до дна. Глаза то серые, лучистые, а то ледяные.

— Czy tutaj jest pan proboszcz^[49]?

В ответ зазвучал чистейший — в театре Купалы поискать — белорусский язык:

— Так. Чым магу быць карысным грамадзяніну-у?.. ^[50]

— Космич Антон.

— Леонард Жихович. Так что привело вас в этот прекрасный, но забытый уголок родной сторонки?

— Отче...

— Какой я вам «отче»? Я был и есть простой западно-белорусский хлопец. По крайней мере, для вас, а не для костельных дэвоток^[51].

В двух словах я, не открывая вполне своей цели, сказал, что приехал изучать замок, и показал документы.

— Гм. Хорошо хоть документы есть... — К моему удивлению, он взял их и внимательно просмотрел. — А то за последнее время почему-то очень многие заинтересовались этим несчастным замком... которого, возможно, скоро совсем не будет.

— Почему?

— Добьют люди, если не добило время.

— А что?

— Собираются рушить кусок стены. Будут делать скотный двор.

— Гм. Даже если скотный двор (Жихович неодобрительно покосился на меня, но увидел, что я улыбаюсь), так что, ворот нету?

— Есть. Узкие. А на случай пожара, простите, правила пожарной безопасности предусматривают два выхода. А костел посмотреть не хотите?

— Затем и пришел.

Вошли. Ксендз преклонил колено. Я, конечно, нет.

Мои предки не преклоняли колен. Просто заходили, думали, сколько им надо было, и снова выходили к жизни.

Огромная пещера костела была тем, что называется, «мрак, напоенный светом». В нефях полутьма. Под сводами, на алтарной части, на колоннах — радостный и возвышенный свет: на росписи, резьбе, многочисленных фигурах.

Не имею возможности описать все богатство старинных икон. Некоторые XIV столетия. Не могу передать и росписей, которые сияли темным и светлым багрецом, желтым и глубоко-синим. Нельзя описать и великолепной, старой диспропорции фигур алтаря. Об этом нельзя.

Когда мы взобрались к органу, который матово светился черным, золотым, слегка ржавым и приглушенной зеленью, ксендз вдруг сказал мне:

— Это еще что! А вот если с карниза смотреть — голова закружится от красоты.

Карниз опоясывал изнутри, с трех сторон, весь храм, висел на высоте метров восемнадцати, был с легким наклоном книзу и шириной

сантиметров семьдесят.

— Пошли. — И Леонард Жихович легко перелез через балюстраду хоров, пошел, словно по дороге, по этому кошмару.

— Не дрейфь! — сказал я себе и буквально оторвал руку от балюстрады. А потом уже было все равно. Я глянул вниз, увидел фигурки людей с мизинец, и фотоаппарат чувствительно, ощутимо потянул меня вниз. Ксендз шел впереди и давал толковые, поучительные, доходчивые и вразумительные объяснения. Он, казалось, совсем не думал, что кто-то другой может идти по этому мосту в ад совсем не как по дороге.

— Видите, волхвы! Какой колорит!.. А матерь божья — это же чудо! Какая красота! Голова кружится!

У меня в самом деле кружилась голова от «так-кой красоты»! Я старался только лихорадочно не цепляться за стену, да это и не удалось бы, потому что она плавно переходила в полукруг свода.

Когда я наконец снова вылез на хоры и взглянул на маленьких, словно в перевернутый бинокль, людей внизу, я почувствовал, что еще минута, и я стану мокрым, как мышь.

— Ну как? — триумфально спросил Жихович.

— Чудесно! — ответил я. — Wunderbar! ^[52] И часто это вы так «развлекаетесь»?

— А что? — невинно спросил он. — Иногда голубь залетит, бьется — нельзя же, чтобы разбилось божье создание. Идешь открывать окно.

— Нельзя, чтобы разбилось божье создание, это верно, — сказал я, посмотрев в пропасть.

Когда спустились вниз, в солнечную полутьму, меня все еще словно покачивало. Когда-то, подростком, я совсем не боялся высоты, мог сидеть на крыше пятиэтажного дома, свесив ноги вниз. Но, как говорят поляки, «до яснэй холеры»: ноги у тридцативосьмилетнего совсем не такие, как у пятнадцатилетнего.

— Что вас еще интересует? — спросил ксендз.

— Витовт Федорович Ольшанский.

— Тот?

— Тот. Что это был за человек?

— Столп веры. Много для нее сделал. В частности, этот костел.

— Словом...

— Словом, чуть не блаженный.

— Beatus ^[53]?

— Beatus.

— А что это за легенда о его жене?

— А, и вы слышали? Заговор Валюжинича и побег?

— Легенда широко известная.

— Что же, неблагодарная женщина. Как многие из них. Недаром ее бискуп Героним из Кладно попрекал. Убежали, захватив сокровища. Судья Станкевич (а вы знаете, что тогда судья зачастую был и следователем), средневековый белорусский Холмс, а он был человеком для тех времен гуманным, пытки — явление тогда обычное — применил только два раза, а тогда и сам магнат покаялся, что был в гневе.

— Но ведь говорили...

— И он и люди на евангелии поклялись, что беглецы живы... Жаль, окончился род. И последний из них повел себя не наилучшим образом. Вдовец, дети умерли — ему бы о боге думать. А он...

— Что он?..

— Спутался с немцами, — коротко бросил ксендз.

— Как?

— Ну, не с гестапо. Шефом Кладненского округа гестапо был такой... а, да ну его. Так Ольшанский связался с ними только под самый конец. Тут друзьями его были комендант Ольшан, граф Адельберт фон Вартенбург да из айнзатцштаба Франц Керн. А это хуже, чем из гестапо.

— Да, в определенном смысле хуже.

— Почему вы согласились с моим мнением?

— Это ведомство Розенберга. Грабеж ценностей. Вековых достояний человеческого гения.

— Да. И уж чего они в окрестностях Кладно ни награбили! Только вот Ольшанский цел был. Пока в мае сорок четвертого не начала гулять по приказу Гимmlера «kommenda 1005» — уничтожение следов преступления, «акции санитарные».

— И что тогда?

— Тогда дворец Ольшанского вместе с сокровищами сгорел. А сам он убрался с немцами. По слухам, вскорости умер... Ну, это он один такой был. А надгробие того Ольшанского — вот оно.

На высоком, метра в два высотой, ложе из редчайшего зеленого мрамора лежал в позе спящего человек в латах. Меч лежал сбоку, шлем откатился в сторону. Могучая фигура, широченная грудь, длинные стройные ноги. Лицо мужественное, брови нахмуренные, рот твердо сжат, но какая-то такая складка была в этих устах, что не хотел бы я с ним связываться при жизни, и хорошо, что мне это не угрожает. Рассыпались пышные волосы.

И кого-то мне напоминает эта статуя. Из тех, кого видел в жизни. Крыштофовича, который спас меня тогда под Альбертином? Нет, у того лицо было мягче. Кого-то из актеров? Габена? Нет, у этого облик не такой простой, хотя такой же суровый. Жана Маре? Похож. Или кого-то из исторических деятелей? Медичи? Коллеоне? А, все надгробия достаточно похожи одно на другое. Как большинство средневековых статуй. Несмотря на некоторые индивидуальные черты. Потому что заказчик или потомки хотели видеть в лице, в своем портрете нечто определенное самой эпохой.

Мы вышли. Как раз в это время начали мягко бить часы.

— В войну стояли, — сказал ксендз. — Но я, придя сюда, решил отремонтировать. А ремонтировал наш органист. Механик хоть куда. И даже календарь действует. Ну, кое о чем не догадался. Механизмы же не совсем те. Лунный календарь врет. Неизвестно, какие там валики-молоточки и почему-то вогнутые зеркала. Тут и Галилей не разобрался бы.

— Я, к сожалению, тоже. Профан. Ну и как органист?

— Исключительный. Это счастье — найти хорошего органиста. Только...

— Что?

— Иногда озорует. Однажды взял и посреди мессы «Левонику» врезал... Ну, а где другого взять?

— Н-да, веселый у вас костел.

— Бывают еще веселее. — Он позвал костельного и отдал какое-то распоряжение.

Мы подошли к красной «Яве». Ксендз ловко откинул подножку.

— Ваша?

— Да. — Он увидел мое удивление. — Вот и один мой штатский... гм... удивился и пожурил: «Что же это вы так свой авторитет подрываете? Ксендз. Ну, почему мотоцикл?» А я ему: «Потому что денег на машину не хватает».

— Где замок?

— А вон, через ров. Я не пойду с вами. Гадко иногда смотреть.

Мотоцикл затрещал и в мгновение ока исчез с моих глаз. Я покачал головой и пошел в сторону замка.

Зеленела трава. Мягкие, уже живые, благодарные весне деревья готовились к своему великому ежегодному делу: пробить почки, выпустить листву, дать миру и людям зелень, красоту, кислород, милостиво убрать из воздуха то, что надыхали люди со своими заводами, а потом пожелтеть от этого и, ничего не требуя взамен, покорно и кротко опасть на землю. Но до этого было еще далеко, и какими радостными в предчувствии этой работы

были кущи старинного, запущенного, поредевшего деревьями и погустевшего кустарниками парка, который давно стал похож на лиственный лес с липами, тополями, грозно вознесенными патриархами-дубами и с подлеском орешника, крушины, боярышника, красной смородины, переплетенным лианами хмеля и колючим ежевичником.

Было чудо как хорошо.

Впереди блеснула еще чистая, не позеленевшая вода (это придет позже, с теплом): речка не речка, а скорее рукав реки, превращенный когда-то в ров. Ветхий мостик лежал над водой. И тут я остановился, будто меня кто ударил.

Глазам открылось нечто такое, во что трудно было поверить, чего не бывает и не должно быть посреди этой разнеженной весенней природы, посреди этих ласковых деревьев и зеленой травы.

На той стороне возвышались стена и башня (остальное скрывали деревья) чуть-чуть только в прожелть, темно-свинцового, почти черного цвета.

Замок. И какой зловещий, чудовищный замок!

И не на холме, не поодаль, чтобы человек успел как-то подготовиться, а лицом к лицу, словно неожиданный удар меча.

Ясно, что парк был посажен позже, когда замок перестал быть замком, а стал дворцом, пускай себе и неудобным, но пригодным для тех времен, и все равно впечатление было воистину потрясающим, будто человек подошел к зарослям и вдруг увидел там разверстую в рыке пасть льва.

И это было так, потому что я увидел прямо перед собой темную и очень низкую арку ворот.

И это были ворота-проем, ворота-тоннель, ворота-вход в пещеру страшного исполина из злой сказки.

С какой-то даже дрожью приближался я к этой пасти. И тут увидел, что стены с обоих концов замыкаются двумя угловыми башнями. Пять граней на виду. Шестая выходила во внутренний двор. Стена высотой метров десять — двенадцать доходила башням до пояса, до башенных бойниц среднего боя. Башни были пустые и временами просвечивали этими бойницами. Крыши на башнях остроконечные, и остались от них почти одни стропила и слуги и лишь кое-где черепица.

Замок разворотили и расколошматили лет двести тому назад какие-то тогдашние фашисты.

Я шел воротами-тоннелем. Ага, проемы для запоров внешних, наружных ворот. Стены туннеля понизу, как, наверное, и весь замок, выложены циклопическими неотесанными валунами. Следы внутренних

ворот. Боже, длина тоннеля метров пятнадцать! Неужели стены такой толщины? Нет, просто, видимо, над тоннелем было какое-то помещение.

И снова свет. Что ж, планировка простая. Квадрат. Каждая сторона метров по сто двадцать. Слева три башни и справа. Напротив, если не считать двух боковых, еще две, вместе четыре. А всего, значит, по периметру восемь, исключая входную. Стена в общем-то трети на две сохранилась, кое-где разрушена почти до самого основания, но вход когда-то был только один. И по периметру (толщина там, где разрушено, на глазок метра полтора-два) ряды окон жилых помещений. Окон и дверей. Да, дверей, потому что там, где стены не развалены, их окружает каменная галерея, где закрытая арками и крышей, а где и открытая, — вон, слева, и там, где сохранилась, прямо передо мной. Там колодец. Справа, если посмотреть за стену, над вершинами деревьев, башни костела и часы. Но и здесь, внутри, вон, в левом далеком углу, видны остатки часовни. Фасады замка бедные, а здесь, где стека жилого помещения упала, видно, что внутренний декор был богатый. Верхние этажи некоторых башен служили, по-видимому, тоже жильем. Вон лепнина на потолках, вон вьются следы дымоходов.

"Ах, обалдуй! Ах, бестолочь, остолоп, полудурье, медный лоб, болван хвощевский! [\[54\]](#) Ты правильно решил навивать пергаментную ленту на какой-то предмет, потому что змея извивается и винтовая лестница вьется. И не стукнуло в твою мякинную башку, почему «дымом»?

Вот почему! Вон они извиваются, твои дымоходы! Их специально иногда делали такими. Даже снаружи дымоходы иногда извивали, чтобы дым из них выходил колечками или винтом. Еще одно отличие, еще одна возможность покуражиться перед другими не только шпилями и флюгерами, остатки которых видны там и сям, но и своеобразным дымом. И это не у одних Ольшанских. У, медный твой котелок!"

Нда-а, замок. И ясно же, что имеются здесь и потайные колодцы, ходы, укрытия, хранилища, склады, подземелья (конечно же, арчатые), лабиринты переходов, каменные мешки. Иначе, какой же это замок? Что же мы, хуже других?

Интересно будет здесь поискать-поползать.

На первых этажах помещения ниже, там, где стены их развалены, видно, что они стрельчатые: дом в разрезе. Жила там, наверное, стража да прислуга. Выше были залы, высокие, с лепниной, нишами для посуды. А вон камин. Наверное, есть и потайная лестница, ясно же, тоже винтовая. Что же, полазим, пускай себе только в приемных залах для пирушек-попоек, хотя ничего там нет, а есть только сквозняк, паутина, сырость и

пыль.

Только теперь я опустил глаза и оглядел двор. И хорошо сделал, потому что пришлось бы вытирать туфли.

Зрелище было аховое.

Я всегда возмущался свинским отношением к большинству старых зданий. Почему у нас свинарники любят помещать в старинных фольварках, если там самое место для клуба, роддома, больницы? Зеленые кроны, тень, кислород. Но эти учреждения почему-то стоят на пустырях, а вокруг них прутья новых посадок.

Разрушили костел в Воронче — какой клуб! — и какой сад рядом, какие роскошные двухсотлетние аллеи! Мощное, ослепительное, пышное барокко костела в Щорсах. Какой музей! (А сельский музей рядом, в тесном помещении!)

Оправдание всему этому находят в словах одного лица, что надо строить новое, а труха (стены в полтора метра толщиной) пускай рассыпается, хотя приспособить «труху» под что-то бывает легче, чем строить новое, которое зачастую, когда есть «труха», может немного обождать. Пусть силы и деньги будут отданы еще чему-то.

Что же, и лицо было порядочной свиньей, и те, с «оправданием». Я привык уже относиться к этому более или менее спокойно.

Но здесь даже меня оглушило. Двор был буквально завален разным ломом, барахлом, и хламом, и тем, что когда-то было высококалорийным отечественным сеном. Словом, я стоял посреди коровьих лепешек и овечьих бобов.

А прямо перед собой, между первой и второй башнями справа, я увидел толпу. В одном месте стена была доломана почти до самого низа на ширину приблизительно трех метров, а рядом, на высоте метров четырех, несколько юношей с ломом трудились в поте лица, долбя цемент: видимо, хотели расширить пролом.

Я подумал, что это напрасные штучки, что тут и шар-баба не очень-то помогла бы и что тот почти законченный пролом сделали не люди, а время. Не ломы, а ураганы столетий. Но те, наверху, старались.

В центре представшей передо мной картины была группа людей. Один мужчина в синем поношенном костюме и в сапогах имел вид человека, который привык и подчиняться, и командовать, выражение его грубо обтесанного лица было волевое и жестковатое. Оно, правда, несколько смягчалось юмористической складочкой в уголке губ. По виду — председатель колхоза, как оно потом и оказалось. Было ему лет под пятьдесят, и был он здоров, как бык. Мне только не очень понравилось, что

у него был чубчик, как у бедолаги покойничка фюрера. С некоторых пор я больше всего на свете не люблю такой прически да еще усиков подобного типа, которых у этого человека, к счастью, не было. А то я мог бы совершить что-нибудь. Например, запустил бы фотоаппаратом.

Хозяин. Тем более что и поселок Ольшаны находится на территории колхоза.

Рядом с ним стоял с портфелем в руке человек невысокого роста, также лет под пятьдесят, но совсем иного типа. Лицо широкое, изрезанное мелкой сеткой морщин. И на этом лице темные, внимательные глазки. Темная короткая стрижка, большие, словно у Будды, уши. От него на расстоянии в пятнадцать саженей приятно несло перегаром, и, видимо, поэтому лицо его было добродушным. То, что называется «веселый с похмелья». Был он коренастый, слегка сутулый и размахивал руками, не исключая той, с портфелем, больше всех.

И еще один бросился мне в глаза. В стороне сидел на травке, на косогоре, могучего сложения и не менее чем саженного роста. На широком лице черные крылатые брови, синие огромные глаза, орлиный нос, красивый широкий мужской рот. Лицо удивительно интеллигентное, хоть на профессорскую кафедру, но какое-то тревожное и диковатое, не такое, как у обычных людей.

О том, что это не профессор, свидетельствовало только то, что был он одет бедно: в ситцевой, распахнутой на груди рубашке, черных хлопчатобумажных брюках, заправленных в старые яловые сапоги.

Человек носил кепку козырьком назад (позже я узнал, что это одна из его постоянных привычек, а не минутный каприз), и вокруг него крутилось десятка два собак разного роста и масти и преимущественно никакой породы.

— Тут, что ли, подземелья? — долетали голоса.

— Здесь повсюду подземелья. Как бы которое не провалилось.

— Нет. Строили на века. Луп-пи, хлопцы.

И тут я почувствовал, что что-то меняется. К группе усердствующих ревнителй приближались двое в окружении ватаги примерно двадцати детей и подростков.

Впереди шагал невысокий худой мужчина в очень аккуратном черном костюме и белой сорочке с черным галстуком. Лицо деревенского интеллигента, простое и ничем не приметное, разве что шрамом, пересекавшим левую бровь. За стеклами очков умные и вдумчивые глаза. Волосы заметно седые на висках.

Второй был высокий и плечистый и очень напоминал американского

ковбой из фильмов про Дикий Запад. Соломенные волосы, лицо, продубленное солнцем и ветром до цвета темного золота. Широкий и высокий лоб, нос прямой и недлинный, рот твердый, щеки приятно впалые.

И все это освещали глаза такой глубокой сини, что становилось радостно на душе.

— Стойте! Что это вы делаете? — еще издали закричал «Ковбой». — Какое... по какому праву?!

— А ты не будь в горячей воде купанным^[55], Змогитель^[56], — сказал человек в синем костюме. — Надо — значит надо.

— Вы, Ничипор Сергеевич, хотя и председатель колхоза, — сказал интеллигент, — а и вам не мешало бы все ж подумать немного над тем, что делаете.

— А вы мне, Рыгор Иванович, товарищ Шаблыка, не во всех случаях указывайте, как мне этим колхозом руководить и что и как для его пользы делать.

— Безопасность противопожарная нужна? — спросил тот, с портфелем, и наставительно поднял палец. — Нужна. Второй выход нужен? Нужен.

— Да чему здесь гореть? — спросил кто-то.

— Не скажите. И камень иногда горит. И ружье раз в год само стреляет.

— Это памятник, — спокойно сказал Шаблыка. — Памятник культуры, памятник истории нашей. И потом, кто вас принуждал в нем загон для скота делать? Построили бы в стороне.

— На это затраты нужны, — сказал опортфеленный.

— Памятник. Под охраной, — объяснил Шаблыка.

— Какой памятник? Откуда видно, что памятник? — начал нервничать человек с портфелем.

— Вы не нервничайте, Тодор Игнатович, — сказал Шаблыка. — Вы бухгалтер, вы можете и не знать, что это — вторая половина XVI столетия.

— Откуда видно?

— Доска была.

— Где она, доска? — спросил бухгалтер.

— Содрали доску! — взвился вдруг на крик Ковбой. — В бурьяне она валяется! А все ты, конторская скрепка! Ты, Гончаренок! Ты, чернильная твоя душа! Ты на этот замок людей натравливаешь, как будто он главный твой враг.

— Успокойся, Михась, — сказал ему Шаблыка, но Ковбой, по-видимому, совсем не умел себя сдерживать и уже снова озверел.

— Жаловаться на вас будем. А тебе, Гончаренок, я дам жару. Я тебя так приглажу своими кулаками, так... из морды мяса накрою...

Глазки Гончаренка были бы страшными, если бы не были такими глупыми.

— Я, между прочим, не только бухгалтер. Я и член поселкового Совета.

— А-а-а, — иронично протянул Шаблыка. — Ну-у, если член поселкового Совета — тогда обязательно надо разрушать.

— Да успокойтесь, — сказал председатель.

— Вы его призовите к спокойствию, Ольшанский, — посоветовал председателю Шаблыка.

«Ольшанский? Откуда Ольшанский? Из тех? Да быть не может. Последний с немцами удрал и умер. Ну и идиот я. Мало, что ли, Ольшанских? Один Гаврила в Полоцке?»

— Говорю вам, постройте поодаль, — продолжал Шаблыка. — А иначе будем жаловаться.

— Ну и валяйте, — равнодушно сказал председатель, — вам же будет хуже.

— Ты! Ты! — взбеленился Змогитель. — Ты... вислюк.

— О новом думать надо, — сказал председатель, не обидевшись на «вислюка», потому что не понял.

Я улыбнулся. Я хорошо знаю украинский язык и знаю, как иногда удобно обозвать другого таким образом. Типично белорусская хитрость: специально употреблять вместо наших бранные слова из других славянских языков. И душу отвел, и обругал, а тот, кого обругал, ничего не кумекает. «Віслиук» по-украински «осел».

— Да! Настоящий вислюк! Только вислюки делают такое.

Зато Гончаренок Тодор Игнатович, бухгалтер и член поселкового Совета, почему-то оскорбился на явно неизвестное ему слово «вислюк».

— А ну повтори! А ну повтори, говорю тебе!

— Я тебе повторю! — Ковбой схватил Гончаренка за грудки.

— Высоцкий! — заблажил тот. — Что глядишь на бандитское отродье?!

И тут от толпы отделился высокий, исключительно сложенный мужчина лет сорока с чем-то. Волосы темно-русые, светлые глаза прищурены. В движениях ленивая грация, однако чувствовалось, что может быть неожиданно подвижным. Нос прямой, рот неуловимо усмехается. В большой руке маленький кнутик.

— Постарайтесь, Игнась Яковлевич, — сказал он сам себе. — Ну что,

в самом деле, за безобразия происходит.

И легко, как котят, развел Гончаренка и Змогителя и держал их вытянутыми руками.

— Ну, нехорошо. Ну, драка будет, — лениво уговаривал он. — Ну, милиция. Ну, пятнадцать суток. Ну, небо в крупную клетку. Бухгалтер большого колхоза, член поселкового Совета — и пятнадцать суток. Негоже... Учитель родного слова — и тротуар перед школой подметает. Неладно, экзамены скоро. Ученики про Сымона Скорину^[57] слушать хотят, а вы...

Почему-то не поверил я его словам про «Сымона Скорину». «Придуривается, издевается», — подумал я. Потому что была в нем такая староселянская обходительность и воспитанность, но было и что-то очень интеллигентное.

— Игнась! — горланил Гончаренок. — Пусти, дай дорваться.

— Да не пуцу, — лениво произнес Высоцкий.

— Сука ты! Пусти, пусти, отродье свинское! Пусти, черт смаленый, дымный!

И тут Высоцкий неизвестно почему расшвырялся:

— Ты за брата... Сколько м-мож... Ты, гаденыш... Ты, выползень...

Оттолкнув Змогителя, он ухватил Гончаренка, вырвал у того портфель, схватил за шею и за руку и молча начал крутить. Так, что стало страшно за жизнь воинственного бухгалтера.

— П-пусти... П-пусти...

Настало время вмешаться и спасти всех от горячности.

Я стал наводить аппарат, выбирать позицию. Кто-то зашипел, и постепенно скандал начал утихать. Последним отпустил бухгалтера Высоцкий. Вид у всех был озадаченный, а у некоторых — испуганный. Я даже не ожидал такого эффекта.

— Вы кто такой? — первым очухался Ольшанский.

— А не все ли равно?

— Зачем вы это делаете?

— Будет хорошая иллюстрация на тему: «Жизнь, ее правила и нормы в окрестностях Ольшан».

Я щелкнул еще и стену с молодыми людьми на ней.

— Эй! А это еще зачем? — крикнул Ольшанский.

— Я Антон Космич. Приехал исследовать Ольшанский замок и костел. Имею отношение к организации по охране памятников, между прочим, и этого вот вашего замка. Застал приятную картину разрушения. И «запечатлел». Для сведения современников и на память потомкам.

Благодарным потомкам.

Дети возле Шаблыки засмеялись. И этот смех вывел председателя из себя:

— Выньте пленку.

— И не подумаю.

Он бросился ко мне с грацией и ловкостью бегемота. За ним Гончаренок и Высоцкий. Подошли и Змогитель с Шаблыкой.

— Вы бы, Ничипор Сергеевич, подумали, что это одно из украшений нашего края, — указал на замок Шаблыка.

— Ты мне родину за мой счет не спасай, — отрезал председатель.

Ко мне подступили Гончаренок и Высоцкий.

— Ты... ты откуда? — вот-вот готовы были взять за грудки.

В этот момент человек в мучной пыли с кепкой козырьком назад и эскортом беспородных собак приблизился к нам, вошел в середину толпы, словно раскаленный нож в кусок масла, остановился и вперил диковатые внимательные глаза в наши лица. Рассматривал, лунатически склоняя голову то на одно плечо, то на другое, и глаза были неподвижные, и я заметил, как все сразу увяли, опустили руки и отступили. Человек поглядел, покрутил отрицательно головой и отошел шага на четыре.

— Н-не-а. А? А-а-не! — тихо сказал он.

Спор снова начал было разгораться.

— Не смейте больше этого делать, — сказал я.

— Это кто еще тут такой? — высунулся Гончаренок.

— Замолчи, а то я тебя...

— А вы не кричите на меня, как какой-то африканский папуас, — не унимался он.

— Новогвинейский бушмен, — поправил я.

Чем бы все это окончилось — неизвестно. Но в этот момент от стены долетел испуганный крик многих голосов. Туда побежали дети, и мы тоже бросились за ними.

На земле лежал, неудобно подвернув левую руку, юноша лет семнадцати. Один из тех, кто только что был наверху и долбил ломом стену. Красивый чернявый хлопец из тех «кладненцев-грачей», как их справедливо называют.

— Что с тобой, Броник? — с нескрываемой тревогой спросил Шаблыка.

— Разбился? — это председатель.

— Кажется, нет. — Юноша сел, морщась и поддерживая правой рукой левую.

— Вывих, — определил Гончаренок. — Потяните за руку.

— Нет! — Шаблыка ощупывал руку парня. — Перелом. Быстрее в больницу.

Знаю, я поступил жестоко, не по-человечески, но надо было удержать обезьяну, которая решила так распорядиться замком, да еще и с таким риском. Ну, а если бы не рука, а шея? И потому я щелкнул еще и эту сцену.

— Ну вот, — огорчился, чуть не заплакал Высоцкий, указывая на то место, где, по всей очевидности, был перелом руки и где пиджак был разорван. — Вот и пиджак порвал.

— Подумаешь, один пиджак, — пренебрежительно ответил мужественный Броник. — Мне это все равно как Радзивиллу, если б у него в одном из имений поросеночек сдох.

— Моли, хлопец, бога о здоровье, потому что молить о разуме тебе поздно, — сказал я.

Председатель, Гончаренок и Высоцкий, очевидно, собрались оставить поле боя. Но бросить его и уйти без последнего слова означало признать себя побежденным. Поэтому Ольшанский спросил:

— Это вы для чего все же снимали?

— Видите ли, не так давно на экране шел «Фитиль» про одного такого, как вы, «деятеля». Возможно, мои снимки тоже пригодятся в будущем, — сказал я, хотя и знал, что говорю пустую угрозу.

— Выньте пленку, — снова завелся Гончаренок.

— Вы, кажется, не охрана, а это не номерной завод, — отрезал я. — Выну. В темной комнате с проявителем.

Что было этому причиной — сказать трудно, но я давно не видел человека, который бы так взволновался.

— Вы...

— Отставить, — сказал председатель. — В самом деле, погорячились. Что нам, свет клином сошелся на этом замке, чтобы здесь устраивать загон. Да и чему тут, в самом деле, гореть? Словом, будет загон. Эй, спускайтесь оттуда! — Поглядел на детей, следивших за сценой, и добавил специально для меня: — А с вами поговорим...

— Да, — подхватил Гончаренок. — С вами, что здесь без года неделя, а подкапывается под авторитет руководителей, мы еще поговорим.

— Охотно. Тем более что больше всех подкапывают авторитет руководителей такие, как вы.

Ольшанский, видимо, хотел выругаться, но махнул рукой.

Они ушли, и тут неожиданно заголосил им вслед человек в кепке, надетой задом наперед.

— Ага! Ага! Вот вам божья кара! Рушили замок? А вы знаете, что тут было?! Вот вам... Что тут было! Вот вам божья кара.

И двинулся за ними в сопровождении эскорта своих псов.

И только теперь я понял, что человек этот — умалишенный.

— Змогитель Михась Иванович. — Ковбой протянул мне руку. — Местный преподаватель белорусского языка.

— Шаблыка Рыгор Иванович, — представился другой. — Учитель истории. Спасибо вам, вы пришли вовремя.

— Два Ивановича, — сказал я. — Что же, Космич Антон Глебович. Историк.

— Полагаю, в самый раз нам теперь отправиться в чайную, — сказал Шаблыка. — Я вообще-то не люблю, но после вот этого у меня от волнения даже колени дрожат.

— И у меня, — поддакнул Ковбой. — Да и за знакомство.

Мы наконец оставили загаженное поле боя, снова вышли в парк, перешли мостик, миновали костел, прошагали метров триста тихой улочкой и вышли в чайную, небольшую комнату со стойкой, десятком столиков, окном на кухню и тремя окнами на тихую, сонную улицу.

Молодая и удивительно свежая буфетчица скучала за стойкой, потому что еще было рано и народа совсем не было. Ковбой сразу по-ковбойски подкатился к ней.

— Данусенька... Р-радость моя... Как я рад видеть вас по-прежнему молодой, как восход, полной, как луна в полнолуние, свежей, как роза.

— Э-э, да он помесь ковбоя с поэтом, — тихо сказал я.

— Да ну вас, Михась Иванович...

— Я не Михась. Я Змогитель. Я все смогу.

— И меня уговорить?

— И вас, — свирепо ответил учитель.

Скорчил жалостную рожу и, указывая на бутылку коньяка, чувствительно пропел:

— Дайте бедному шути звездочку вон ту.

Буфетчица засмеялась.

— А что ему, — сказал Шаблыка. — Молодой, кавалер, дурачится.

Мы сели за стол и выпили за знакомство.

— Ну, эта история с Броником им теперь надолго охоту до таких штук отобьет, — сказал Шаблыка.

— Не говори, — сказал Ковбой-поэт, — Гончаренок — это такая свинья, что не отвяжется. Как будто ненависть какая-то в нем сидит и к замку, и ко многому. Это он подбил Ольшанского. Нутром чую.

— Да. — Шаблыка вертел в руках очки. — Я тоже считал бы, что он гад ползучий, если бы мы вместе с ним в гестапо не были...

— В гестапо? — удивился я.

— Ну да. Меня взяли по подозрению за участие в подполье, хотя прямых доказательств не было. Ведут через комнату, а он стоит, руками упершись в стенку под охраной собаки. Увидел — сделал вид, что не узнал, дай бог ему...

— И как же вы оттуда вышли?

— Продажные они были. Нашего редко кого купишь. Ну, одного-двоих. А у них только одного-двоих и не купишь. Выкупили нас. Тем более что доказательств не было. Гончаренок, говорят, держался, язык проглотив. А то, что характер дерьмо, — дело десятое.

— И все равно, — опять вскипел Ковбой, — я ему «бандитского отродья» не прощу.

— А почему... — И я осекся, едва не сказав бестактности.

Змогитель тыкал вилкой в котлету.

— Здесь секрета нет. Все знают. Был я по глупости после войны несколько месяцев в банде, щенок зеленый, несовершеннолетний. Романтики захотелось. В филиале банды Бовбея-Кулеша. Самого-то не видел. И хорошо, что попался мне хороший человек. Щука была его фамилия. Он мне и объяснил, что я такое. Ну, я свою вину искупил. Благодаря ему и мне мой филиал приказал долго жить, частично сдавшись, а основную часть с самим Кулешом к Палинскому болоту прижали и уничтожили до последнего. И сам Кулеш, раненый, в трясине утонул. А он мне «бандитское отродье». С-сука!

— Ладно, успокойся, — положил ему руку на плечо Шаблыка.

— Послушайте, а кто этот, в кепке козырьком назад?

— А-а. Людвик Лопотуха, — сказал грустно Шаблыка. — Помешанный. Тихий. Иногда только что-то непонятное говорит. Ну и кепка. И собаки его страшенно любят. Видели? Табунами ходят. Немецких овчарок только боится и швыряет в них камни.

— Откуда же он такой, несчастный человек?

— У нас тут в сорок четвертом немцы какую-то работу вели, а потом рабочих человек четыреста, поляков и наших, расстреляли в полукилометре отсюда. Да памятники вы потом сами увидите, в парке стоят. Наш памятник, общий, и польский. Мы тут с одним польским районом дружим, так они приезжали и поставили еще и своим. — Змогитель вздохнул. — Страшная была история.

— А Лопотуха здесь при чем? — спросил я.

— Говорят, что не ему ли одному удалось из-под расстрела как-то убежать, — задумчиво ответил Шаблыка. — То ли он был единственным случайным свидетелем. И тронулся, глядя на весь этот ужас. Но теперь от него уже никто ничего и никогда не узнает. А был ведь хороший, культурный человек. Окончил гимназию и единственный из всей Ольшанской округи окончил тогда Пражский университет. Несколько языков знал. А теперь только и можно от него добиться, что сторожит он здесь могилы. Пропал человек. Мешки на мельнице таскает. Жалеют его.

Продолжать разговор на эту тему было неприятно, тяжело, и я перевел беседу на другую тему:

— Послушайте, а что это у вас рассказывают про какую-то женщину с каким-то там черным монахом?

— А-а, продолжение легенды XVII столетия, — скептически улыбнулся Шаблыка. — Валюжинич и Ганна Ольшанская. Слыха-а-ли.

— Ну, нет, — оживился Ковбой-поэт. — Вы можете смеяться, говорить, что я олух, а я верю: что-то такое есть. И в последние несколько лет опять объявилось. Уже несколько человек говорили. Люди напрасно трепать языками не будут, и дыма без огня не бывает.

— Так что?

— Говорят, действительно, в некоторые ночи появляются. И если придешь в такую ночь и подойдешь осторожно, то увидишь. Идут иногда по костельной галерее, иногда — по замку. Размытые, туманные. Идут, и исчезают, и ничего не говорят.

— Ты коньяка больше пей, — сказал Шаблыка.

— Да я почти и не пью. Как и ты. Но верю, есть что-то такое. Прохаживаются, идут.

Мы смотрели на тихую и добрую деревенскую улицу, на березы, которые готовились зазеленеть, на ослепительно белые стволы яблонь на угольно-черной лоснящейся земле.

— Н-да, — сказал я, — гляжу я, у вас тут идиллия.

— Идиллия, — сказал Шаблыка. — С контрастами.

ГЛАВА XI. Белая Гора

Прошли праздники, обычные, всем вам известные праздники в маленьком поселке. С трибуной, обтянутой кумачом, с самодельными флагами, с солнцем и первыми, еще робкими намеками на зелень, с демонстрацией, которая состоит преимущественно из школьников, и с любопытным поросенком, который вылез на улицу, ко всеобщему оживлению, как раз на середину дороги: людей поглядеть и себя показать.

А потом где-то слышится гармошка, перед клубом танцуют пары. И в сердце закрадывается грусть, что тебе этого уже совсем не хочется, что твои балы отшумели безвозвратно.

Прошел с учителями и учениками, просто чтобы не быть одному, чтобы посмотреть на оживление других, а вечером удрал с вечеринки от Вечерки (действительно, частенько они у него бывали) к Змогителю в его холостяцкий дом (у него родители умерли, и он жил один), куда вскоре явился и Шаблыка, и хорошо мы провели праздник, хотя ничего особенно жареного и сдобного у нас не было.

Числа третьего я заметил за речкой, на возвышенности наискось от замка, человеческие фигурки и понял, что это и есть археологи, о которых говорил мне Вечерка, — те, разведка которых уехала незадолго до моего приезда, явились уже экспедицией.

Решил идти к ним. Надо же было познакомиться с будущими «коллегами» по работе. Тем более что, когда доведется лазать в развалинах, все равно заметят, и понадобятся объяснения. Шатким мостиком перешел речку и сразу понял: холм, лежавший передо мной, — городище. Старое, одно из ранних славянских в этих краях. Позже на этом месте, возможно, стояла и крепость XI-XII столетий.

Я вскарабкался наверх и увидел обычную картину: неровный квадрат метров сто пятьдесят на двести с возвышениями по краям и легким прогибом посередине, россыпь мельчайших черепков, размером с ноготь мизинца, вымытых еще осенними дождями, огромный, совсем еще голый дуб в одном из углов площадки и людей, сидевших под ним среди разбросанного имущества — разных там ящиков, пакетов, бочонков и бог знает чего еще.

Были там три девушки в возрасте лет двадцати и парень года на два старше их, которого я сразу узнал, потому что встречались в какой-то семье. Сидел с гитарой в руках белозубый, худой, темноволнистоволосый и

«большие надежды подающий» будущий археолог Генка Седун собственной персоной. А за его спиной возвышались две четырехместные жилые палатки и две палатки для инструмента и прочего. На таком фоне Генка в своих страшно потертых, но настоящих тыхасах с мустангом на заднице, в красной черноклеточной ковбойке выглядел — «заскучаешь». А девчатки были обычные, только милые по молодости, из той породы студенток-лаборанток, дело которых шифровать, обрабатывать материалы, сидеть на раскопках и заниматься расчисткой.

— О свиданья в джунглях и на море... — увидев меня, запел Генка.

Был он известен, между прочим, песнями собственного сочинения, хотя голоса и слуха, как большинство современных певцов, не имел вовсе. Но бог с ними, принимая во внимание отсутствие голоса и слуха, современному певцу почти безошибочно можно предсказать блестящее будущее. И удивительно, к тому же, что чем глупее была Генкина песня, тем большим успехом она пользовалась среди ровесников. А так что ж, парень как парень. Вот и сейчас... импровизирует.

О сустрэчы у джунглях і на моры...

Качка, шторм — гары яно агнём.

На Басфоры ж гэнай гары мора —

Ты меня не спр-рашивай о нем. [\[58\]](#)

— Антону Глебовичу Космичу привет, — вскочил он, когда я подошел.

— Привет и товарищу Геннадию, который отчества пока что не заслужил.

— Знакомьтесь, — обратился прохвост Генка к девчаткам, — приват-доцент Космич. А это Таня Салей, Тереза Гайдучик, Валентина Волот [\[59\]](#). Наша толстуха.

«Волот» был самый худенький и малый и потому застенялся больше всех; другие девушки тоже залились румянцем: как «узкие» специалисты они немного знали обо мне. Надо было их спасать.

— Ну и вы с ним познакомьтесь, девчата. Наш дуралей.

Девчата захихикали: хотя и грубостью, но напряжение было снято.

— А кто же у вас начальник?

— Ну а почему не я? — возмутился Генка.

— Таких шалопутов начальниками не назначают.

— Еще как часто, — скорчил жалостную рожу Генка. — Только тогда они сразу перестают быть шалопутами. А мне моего шалопутства жаль.

— Тебя, конечно, со студентами работать поставили. С такими же

проходимцами, как ты.

— Мы пройде-ом... «Нас двадцать будет на раскопе, да тридцать школьников найдем, — он напевал. — Все городища всей Европы мы раскопаем... кетменем». — В частности, это городище раннего средневековья.

— Стася Речиц у нас начальник, — едва не шепотом сообщила «толстуха» Валя Волот, благодарная мне за помощь. — Она сейчас придет.

Речиц? Я, конечно, знал это имя по некоторым публикациям, но лично знаком не был. Ни когда она была студенткой, потому что как раз в то время отошел от преподавательской работы, ни в последние три года. По слухам, она была в аспирантуре в Ленинграде. А специалист, опять же по слухам, хороший.

— Вон... поднимается, — сказала светленькая курносенькая Таня Салей. — С кем же это она?

— Дед Мульта^[60], — узнала Тереза, очень похожая на Таню, только темноволосая и малость построже с виду.

По давнишнему взъезду на городище (а я, дурак, перся склоном, едва не вспахивая носом землю) шли двое. Один лет семидесяти, но еще крепкий и узловатый, как коряга, когда-то, видимо, высокий, а теперь немного сгорбленный, так что руки свисали. А рядом с ним шла легкой походкой женщина в синем платье и таком же синем платочке на голове.

— День добрый, — сказал дед. — Мульта моя фамилия.

— Станислава Речиц.

— Антон Космич.

— Тот?

— Неловко, но выходит, что тот. А вы — та?

— Ну, если заметили где-то — та.

Теперь я мог рассмотреть их получше. У деда были синие, совсем не выцветшие глаза, седая копна волос, длинные седые усы при очень плохо бритой бороде, нос толстый, рот усмешливый и иронический.

И при этом медвежьем облике он еще и говорил то тенорком, то хрипловатым басом и все время сбивался со старческой солидности на какую-то суматошливость, словно никак не мог забыть, что в юности был шалопутом. Старался, и временами получалось, но до конца не мог.

Женщине, а может, девушке — впечатление было двойственное, — могло быть лет двадцать пять. На десять с гаком моложе меня. Когда я загибался в вагоне для скота на перегоне Барановичи — Слоним, она была еще совсем ребенком.

Тонкие руки с острыми локотками, но высокая, развитая грудь и ноги

длинные, мускулистые. Видимо, много ходила.

Движения точные, красивые. Выражение лица и голос приятные, мягкие.

И — рыжая. Но это была не та бесцветная, апельсиновая рыжина, которая встречается чаще всего, а был этот цвет темного красного дерева, всегда отливающий глубинным золотом. И кожа чистая, без веснушек, молочно-белая, совсем без голубого оттенка, так свойственного рыжим. Никакой косметики, да она «в поле», под ветром и солнцем, и не нужна. И тем более удивляли естественно темные брови и ресницы в контрасте с большими глазами зелено-голубой глубины.

«Ну, довольно пялиться, Космич. Этот пирог не для тебя, да и не такая уже цаца стоит перед тобой. Бывали лучшие».

— Зайдите на минутку к нам. — Она указала на палатку.

— Куда уж мне? — забасил Мультиан. — Я ее завалю.

В палатке было очень чисто и уютно. Четыре застланных топчана, четыре спальных мешка в изголовье, веточка можжевельника в вазочке, брезентовый пол посыпан молоденьким аиром.

— Что у вас — троица?

— У нас всегда троица.

Я почти сразу заметил у нее пристрастие к порядку, а потом, по мере знакомства, и слабость к добротным и красивым вещам. Причем — дешевым. Закажет, например, местному гончару доподлинную копию старинного кувшина, горшка, миски, облитых похожей глазурью. Просто, чтобы приятно стояли на столе.

— Ну, что у вас, Антон Глебович?

Я рассказал. Без подробностей, без истории расшифровки. Просто сказал, что должно быть под знаком корабля где-то под второй от угла башней подземелье. Она не удивилась — мало для чего какое-то там подземелье может быть нужно историку. Взяла щуп и сказала:

— Ну что же, пойдёмте, посмотрим.

Вышли на площадку. Мультиан — неизвестно зачем притащился сюда, делать было нечего, что ли? — поплелся за нами. Иногда наклонялся и что-то подбирал. Заразился во время археологической разведки человек.

— Что за щуп у вас такой интересный?

— Посмотрите.

Щуп, остроконечный прут, которым удобно щупать грунт на песках, был сделан в виде поморской шпильки-заколки. Кованый, и один конец закручен в поперечный овал. Чтобы пролезла рука и прочно держалась в стальной петле. Кончался овал утонченным завитком.

В другом щупе конец петли-ручки смыкался и, словно лента, трижды обвивался вокруг штыря щупа.

— Сама заказывала. Вот берите пока этот. В обоих по метру длины. Можно мерить глубину в раскопе. И на песках щупать удобно, — вздохнула с улыбкой. — Но, главным образом, от собак.

Мы пошли по краю городища. В спину Генка запел прочувствованным, дурашливым голосом на мотив «Степь да степь»:

В той степи глухой
И-сто-рик у-мирал.

И после небольшой паузы (как на это отреагируют?):

Перешли жане
Вещи тощие,
Передай ключи
От жилплощади...
А другой жане
О том промолчи,
От жилплощади
Не давай ключи.

Я наклонился и поднял камень, но Генка уже скользнул за палатку.

— Что, и в самом деле другой не давать ключей? — засмеялась она.

— Слава богу, не имею такого счастья ни во второй, ни в первый раз.

— Почему же «слава богу»?

— А так.

— Почему же так?

— Спокойнее. Я уже годы за плечами имею.

— Какие там годы, — издали, услышав, сказал Мульган, — какие ваши годы? Вот я, вы думаете, почему такой заросший? Неопрятный? Думаете, бритвы не имею? Имею, и в баню дважды в неделю хожу. А щетина, будто у кабана, потому что жена приказала бриться раз в месяц. Потому как еще ревнует, дура.

Он приблизился, и так мы подошли к краю городища, откуда замок смотрелся, как на плане. Отсюда и разрушения были видны лучше.

— Разрушают, — тихо сказала она. — Постепенно.

— И доска сорвана, — сказал я. — Валяется в бурьяне.

— Куда она убежит? — буркнул Мульган.

— В какой-нибудь фундамент.
— Да кто ее украдет?
— Благодарные жители и украдут.
— Не дам, — сказал Мультан. — Я ведь сторож костела. А заодно и замка.
— Ну, дед, вы насторожите, — заметил я.
— Ого-го, еще как. А доска что? Прибьют доску и как будто все дело сделано. А доска — сегодня она есть, завтра нету! Кр-руши, Ванюха!
— Он прав, — сказала Стася. — Была доска на Ружанах, на белорусском Парфеноне, а во дворе валялись бочки из-под мазута. Нету ее — те же бочки. Так какая вам башня нужна?
— «Вторая от угла».
— От которого угла? Где тот угол?
— И в самом деле, угла четыре. Так что практически под каждой...
— Практически псу под хвост твоя работа, хлопец, — сказал Мультан.
— А далее



стоп под знаком корабля, — безнадежно сказал я.
— Восемь стоп под знаком корабля, — повторила она, посчитав по пальцам. — Н-да, негусто.
Мультан ковырял носком сапога землю.
— Вот что, — проворчал он наконец. — Так ты тут ничего не найдешь. Я вот что сделаю. Я тебе внука своего младшего, Стасика, пришлю. Он настоящий Мультан. И он с Васильком Шубайло, другом своим, такие сорвиголовы, что весь замок с головы до пяток облазили. Может, они тебе чем-то помогут.
— Спасибо, дед. От детей в таких случаях действительно может быть больше пользы, чем от взрослых.
— То-то.
— Что же, — спросил я у Стаси, — вы копать начнете? Но ведь еще сыро.
— Пока будем готовиться. Настоящие работы начнем, когда учеников, у которых экзаменов нет, отпустят и когда немного подсохнет.
— Шаблыка тут им помог, — сказал дед.
— Да. Стоит копать. В случае чего и вам поможем. Заходите к нам.
— Что же, буду рад.

Мы стояли над откосом. Ветер веял со стороны замка, от небольшой реки. Справа и слева были видны пруды, и на одном из них игрушечная

отсюда мельница. Было широко-широко.

— А городище это называется Белая Гора, — сказала она.

— Да, Белая Гора, — повторил дед.

До костела нам с дедом было по пути. Шли, болтали о том, о сем. От плетения нам под ноги бросился рыжий пес, помесь дворняги с ирландским сеттером. Прижав уши, начал ласково скулить.

— Кундаль, Кундаль, — трепал его дед. — Гляди ты, какой жирный. Как мешок. Ну, скоро на охоту с тобой пойдем. Тогда сбросишь жир. Пойдем на охоту?

Собака начала прыгать от радости.

— Верите, наловчился, холера, чтоб он был здоров, рыбу ловить. Иногда такую здоровенную принесет. И не знаю, или он ныряет за ней, как водолаз, или еще как. Зайдите ко мне, — пригласил Мульган. — Поглядите на сторожку. Вот так здесь и ночью каждую ночь: жена, дети и внуки в хате, а я тут. Поэтому моя баба и запретила мне часто бриться... Ревнует, холера.

Сторожка была самой необычной из сторожек, какие мне когда-либо доводилось видеть. Целых две комнаты. И большие.

— Здесь вход отдельный, — сказал дед. — Ни к селу, ни к городу он. Клира поубавилось, вот и отдали мне под сторожку. А вещей разных столько: все непригодное сюда сложили да еще из бывшего дворца собрали и принесли.

Это было в самом деле так. В первой комнате — голландка, топчан, стол и табуретки, а кроме того, еще и поломанная фисгармония, кресло с высокой «бискупской» спинкой, старый буфет черного дерева (стекла в нем отсутствовали, и на полках виднелись кружки, стаканы, чайник, картофель и лук россыпью).

Во второй комнате в углу лежали доски икон и рулоны иконных полотен, стоял стол на «орлиных» ножках (когти орлиной лапы сжимали шары, на которых стол и стоял) и пара кресел-инвалидов.

И в обеих комнатах на стенах висели портреты. Некоторые были порваны, некоторые потемнели до того, что на них почти невозможно было что-нибудь рассмотреть. А посередине одного был круг расплавленной краски — видимо, ставили ведро с кипятком.

Портреты были, может, и не очень художественные, но музейные. На некоторых виднелись латинские надписи или славянская вязь.

— Ксендз сюда перетаскал. Что в хатах купил, что на чердаках нашел.

— Дворец ведь сгорел.

— Э, не так много в том дворце и добра было. Кое-что успели

вытащить.

— Куда же оно подавалось?

— А кто знает? Тут перед освобождением такое творилось... А потом, когда немцы удрали, а наши еще не пришли, было еще хуже.

— А что?

— Бовбель-Кулеш разгулялся. И разобрать нельзя было, кто кому голову сворачивает.

— А хорошо тут у вас. Мне бы сюда перебраться.

— Что, вечеринки у Вечерки надоели?

— Да я и сам могу. Но там уже слишком.

— И вот, гляди ты, хороший человек — заведующий клубом — поискать, даром что образования не хватает, а вот привязалась этакая чума — и ничего нельзя поделать.

Вздыхнул:

— Надо поговорить с ксендзом. Глядишь, и мне ночью не так скучно будет. Не будешь же всю ночь ходить, иногда и посидеть хочется... Поговорить. А Стасика вам завтра в помощь пришлю. Он — Мульта, а я уже на старости лет начинаю наше уличное прозвище оправдывать — Потеруха^[61]. Потеруха старая и есть.

Он проводил меня с костельного погоста.

— Дед, — сказал я, глядя на галерею, — а что это про женщину с монахом всякие байки брещут?

И тут дед посерьезнел:

— Э-э, если бы это байки! Правда. Сам видел.

— И в замке видел?

— В замок ночью не хожу. Боюсь. И все боятся. Говорят, и там бывают. А я вот тут видел, на галерее. Идет что-то светлое, как сам день, а рядом тень, будто сама ночь.

— Ой, дед!

— Брещу, думаешь? Чтоб мне со старухой и внуками дня не прожить.

— Специально приду взглянуть.

— Они не каждую ночь ходят. Я однажды набрался смелости, взобрался на галерею (в случае чего, думаю, пальну из ружья). Исчезли. Спустился на погост — снова идут.

В доме у моего хозяина царило тихое отчаянье. В тот день Зелепущенок должен был проводить брата, который приезжал к нему на праздник из Донбасса, и еще при мне они пошли на автобусную остановку в Ольшаны.

Мария Семеновна, полная, добрая, синеглазая, была вся в слезах и

заламывала руки; то ли с отчаянья, то ли от того, что они у нее каждую весну и осень нестерпимо болели. Была она в «сахарном» звене. А вы знаете, что такое сахарная свекла? Ни для сортировки семян, ни для прореживания всходов машин пока не придумано. «Надо будет привезти ей из Минска глицерина, — подумал я. — Это же надо, не слышать про глицерин. А ведь руки такие черные, потрескавшиеся, страшные».

— Что, не приходил еще?

— Нет. Антоська, миленький, дорогой, встрень ты его, пожалуйста, сходи ты в Ольшаны, поищи его.

— По какой дороге?

Ольшаны местечко длинное, и потому в Ольшанку из него ведут три дороги. Мария Семеновна виновато смотрела на меня, и я понял, что придется перемерить ногами все три.

— Хорошо. Дайте только его резиновые сапоги и фонарик.

— Сыночек, бога молить буду. А сапоги — вот. Потому что и впрямь, может, в поле забрел, может, в Выдрин Яр скатился, может, в канаве где лежит. А по ним же еще вода из пущи бежит. Снег ведь еще, должно быть, в пуще.

Вздохнув, я пошел от освещенных окон во тьму.

Прыгал по дороге огонек фонарика. Я обследовал Выдрин Яр, там, где он подходил почти к дороге, — ничего. Перед самыми Ольшанами потянулся лес с густым подлеском. На опушке что-то темнело. Я повел фонариком в ту сторону. У деревьев стоял Гончаренок, видимо, только что окончив справлять малую нужду, и я опустил фонарь. Малоприятно, когда на тебя светят в такой момент.

Показалось мне или нет, но в этот момент что-то будто шевельнулось в кустах.

А бухгалтер — я слышал шаги — поспешил ко мне, легко перепрыгнул канаву и стал рядом.

— А-а, Антон Глебович, — сказал дружелюбно, словно между нами ничего не произошло. — А я думаю, кто это светит. Закурить не найдется?

— Есть, Тодор Игнатович. Возьмите фонарик, посветите. — Я вскрыл пачку ножничками.

— Большой ножик, — заметил он. — Все есть.

— Все. Даже, видите, приспособление для вытаскивания гильз из казенника. Охотничий нож.

— И ногти можно постричь. Ну хорошо, пошли. До Ольшан недалеко, но все веселее вдвоем.

«Зачем ты к лесу перся? Мало тебе было придорожного кювета, чтобы

еще через него прыгать да месить вспаханное поле? Наконец, не мое это дело. А дорога действительно будет короче, если идти вдвоем».

— Какие дела привели вас сюда, Антон Глебович?

— Буду обследовать замок. Любопытная история связана с ним.

— Новая?

— Да нет, очень старая. Темная история тут триста с лишним лет назад произошла.

— А кому дело до трехсотлетней истории? — рассмеялся он, явно удивленный.

— Мне.

— Ну, разве что вам. А тут и недавних хватает. Вы бы Шаблыку порасспросили о подполье, о гестапо.

— Спрошу и об этом. Не мне, так другим пригодится. Тем, что для новой истории живут.

— Кгм...

...Обратно я возвращался новой дорогой. В одном месте мне показалось, что в поле за канавой как будто что-то темнеет, я шагнул туда, но не рассчитал и зачерпнул воды выше одного голенища.

Нет, это просто лежал кусок бревна.

— Тьфу ты, черт! — выругался я.

Я подходил уже к Ольшанке, справа от меня неясно виднелись деревья и, темнее ночи, черный силуэт замка. И вдруг я остановился. Резко, как будто неожиданно наткнулся грудью на что-то острое.

В одной из башен замка горел огонь.

Маленький, он в этой тьме казался розово-синим. И когда я сделал несколько шагов вперед, — исчез. А когда я повернул назад — загорелся снова.

«Что такое? Кому понадобилось зажигать огонь в этой темной, мертвой, как гроб, — нет, более мертвой, чем гроб, — хоромине?»

...Во мраке, в заброшенной, давно мертвой башне ровно и зловеще горел огонь. И нельзя было не думать, откуда он и почему горит.

Остро и одиноко горел в ночи огонь...

...Мария Семеновна была все еще в слезах. Я вздохнул, понимая, что придется снова идти в ночь, третьей дорогой. Снял сапоги.

— Дайте, хозяйюшка, сухие портянки.

Бог, видимо, услышал мои молитвы. Едва я успел обуть сапоги, как во дворе послышался гул мотора, по окнам пробежал свет от фар, в сенцах раздался топот, а потом дверь распахнулась и на пороге встали фигуры Ничипора Ольшанского и Рыгора Шаблыки, которые вели под руки

бренные останки того, что было пару часов тому назад Миколой Чесевичем Зелепущенком, а по прозвищу Вечеркой. Он был мокрый с ног до головы и едва вязал лыко. А за этой троицей шел учитель белорусского языка Михась Иванович Змогитель и только что не переставлял руками «покойничку» ноги.

— Вот, — сказал он, — в кювете нашли.

Хозяйка ахнула, заплакала, в этот раз от радости, и бросилась разувать хозяина, снимать с него плащ, пиджак, брюки.

Общими усилиями мы взвалили его на лежанку, и Мария Семеновна бросилась искать какой-то спиртовой настой, растереть незадачливого муженька.

— Жenuшка, ты ж мне лучше глотку этим разотри, — бубнил Вечерка.

— Дам, дам. А боже мой. Спасибо вам, люди добрые, что живого ж хотя привезли.

Я посмеивался. Эта незлобивость напомнила мне первую сельскую свадьбу, на которой я присутствовал. Поспать меня тогда отвели в соседнюю хату. Я лежал, а в ушах все еще однотонно гудело одно и то же:

А на сером коне
В яб-ло-ки
Едет в Зосенькин двор
Ми-теч-ка.

Утром, когда я проснулся, в печи пылал огонь, хозяйка ставила в нее горшки. И тут открылась дверь, и два хлопца внесли в хату третьего. Один нес ноги, второй голову (не плечи, а именно голову), а середина свисала самостоятельно и покачивалась, словно гамак. И тогда хозяйка всплеснула руками и совсем без злости, а только с безграничным удивлением протянула:

— А-а сы-но-чек мой! А ты ж говорил, что на своих ногах придешь!

Вариацию того случая я видел перед собой сейчас. Ох, и добрый же наш народ к такому! Я только подумал, что если так будет продолжаться — мне определенно придется съезжать от Вечерки. Хотя бы и к деду Мультану, что ли.

Вечерка ощупывал здоровенные шишки на голове и горестно бормотал:

— Били меня. Ой, били меня!

После мы узнали, что никто его не бил, что они с братом взяли «посошок» перед отправлением автобуса, брат уехал, а Вечерка, вместо

того чтобы идти домой, потопал ревизовать свой клуб и несколько раз упал и ударился головой, а потом поплелся домой, хотя его и пытались уложить там на кушетке отдохнуть.

— Шел-шел, — бормотал Вечерка, — очень далеко шел. И в канаву упал... И лежу поперек... как гребля... Воды с одной стороны много, и она через меня пе-ре-ливается, жур-чит... И машины мимо меня с фарами: в-ву-у, в-ву-у. А я руку поднимаю... А они не останавливаются.

— Угм, — произнес Ольшанский, — хорошо, что нас немного занесло и свет на канаву упал. Лежит, действительно, как гребля. И один палец иногда в сторону от кулака отставляет. Это ему казалось — «голосует». В полный рост и всей рукой.

— Так, может, чарочку, людцы вы мои?

— Сегодня не хочется, — сказал Шаблыка.

— А известное же дело, мои дорогие. На такого выпивоху, лохмотника наглядеться, то век не захочешь.

Они ушли. А Вечерка шевелился на лежанке весь красный от растирания и бормотал довольно путано:

— В-ву-у, в-ву-у... А я салютую... А тут тени шли... Две... И остановились... Гомонят... Не видят, что рядом... гребля лежит... Яйца каменные, страшные... Вторая вправо за Северной башней... Яйца...

Бред его был необычайный, но совершенно бессвязный, и я знал, что завтра хозяин даже не вспомнит про свои ночные приключения. Поэтому я принял от Марии Семеновны чарку (меня все же немного знобило от ледяной воды, в которую я угодил) и вышел из хаты, чтобы идти в свою пристройку.

Глухая, как махровая сажа, лежала над Ольшанкой и, казалось, над всем миром ночь. Нигде ни огонька, и только вдали возвышалась сильно усеченной пирамидой освещенная сверху слабым заревом двух костров немая Белая Гора.

ГЛАВА XII. Начало поисков

Вечером я решил съездить на пару дней домой, но сперва немного полазить по замку и наметить какой-то план действий. Утро снова выдалось свежее, но солнечное. В такое утро хорошо не в подземелье лазать, а сидеть на завалинке, на солнышке, чтоб ветерок не доставал, слушать петухов и думать о том, о сем. Но именно потому мне и надо было лезть. Надо браться за дело всерьез. Надо еще и потому, что так тревожно светил непонятный ночной огонек в башне замка. Второй башне справа от северной. А может, в первой от нее. Я ведь лишь приблизительно установил, в какой.

Пол сохранился во всех жилых помещениях первого и второго этажей, но в окнах-бойницах этих этажей не было ни одного стекла, и сквозняк гулял свободно, поднимая с куч мусора пыль. Филары (колонны, что поддерживали своды) и сами своды были вопиюще и омерзительно обезображены. Ниши, в которых стояла, видимо, когда-то посуда, вазы или небольшие статуи, были полны известковой крошки. Ничего интересного во всех залах я не нашел и только пожалел, что целиком еще пригодное здание пропадает в запустении.

В четырех обследованных мною башнях был глухой пол из мощных каменных квадратов. Оставались четыре башни северной стороны. В одной вниз вели каменные, стертые на нет ступеньки, но спуск оканчивался на глубине приблизительно трех метров железной, толщиной в руку, решеткой. На решетке висел мощный, очень старый цилиндрический замок, из тех, в которые ключ ввинчивается, как штопор. И замок, и решетка были кроваво-красные от ржавчины. Я решил, что наведаюсь сюда позже.

Под следующей башней тоже как будто существовал вход в подземелье, но он был завален каменными глыбами, песком, известковой крошкой и мусором. Нужны были кирка и лопата. Значит, и этот вход был закрыт.

— Антон Глебович! — послышался где-то наверху крик.

Весь запыленный, я вылез на дневной свет и увидел присогнутую фигуру Мультана-Потерухи, а рядом с ним две фигурки мальчиков лет семи-восьми.

— Это мой Стасик, — с гордостью сказал дед Мультан.

Стах был дерзким взлохмаченным воробышком. Если, конечно,

представить себе альбиноса-воробья. Еще весна, а он успел уже вконец весь выгореть, за исключением глубоко-синих глаз.

— Ну, здорово, Стах, — сказал я.

— Здорово, если здоров, — с солидной дерзостью ответил деревенский Гаврош.

— А это вот его друг, — сказал дед. — Василько Шубайло. Эти — помогут.

Василько смотрел исподлобья. И еще из-под копны таких же, как у друга, бесцветных от солнца волосиков.

— Ну, Василько, а ты что же такой нехитрый да несмелый?

— Та-а, — беззвучно сказал Василько и от застенчивости почесал одной босой ногой другую.

Дед ушел, а мы присели на валуны, чтобы обсудить план нашей военной операции.

— Ну, кто подземелья знает?

— Трохи, — сказал Стасик. — Потому как до конца их и черт не знает.

— А ты, Василько?

— Та-а, — ответил тот.

— Ну, с такими орлами я здесь горы сворочу. И вот что: вчера я видел ночью вон в той башне огонь. Что бы это могло быть?

— Эт-то надо сообразить, — рассудительно сказал Стасик.

А глаза загорелись. И я понял, что старый Потеруха в его возрасте был, видать, такой же: смесь солидного домовитого мужичка и молодого остроухого сатира.

— Ну, чего сидим? — сказал молодой сатир. — Полезли, не теряем золотого времени.

— Та-а, — сказал Василько. — Да-а-ффай...

Взрослый остолоп и двое молодых через пролом забрались в башню. В центре ее, вплоть до первого яруса, стоял столб от винтовой лестницы. Но нижние ступеньки выпали. В столбе оставались только ямки от них.

— Дядька Антось, — сказал Стасик. — Я первый полезу, а вы за мной. Потому как если я сорвусь, вы меня удержите. А если вы первый полезете и сорветесь — мне удержать будет трудно.

Стах полез как белка. А за ним, слегка тяжеловато, полез я, ставя носки ботинок в ямки от ступенек, оставшиеся в столбе.

Поднимались по спирали. Весьма похвальное занятие для без пяти минут доктора наук.

С яруса, с высоты, через бойницы было видно Ольшанку, и течение Ольшанки, и поля, и покрытую молодой травкой Белую Горю с маленькими

фигурками людей на ней.

Вон даже, кажется, можно отличить Стасю. И Генку. А может, и ошибаюсь, потому что все в джинсах.

Но не это привлекло наше внимание. Ярус, с которого небольшой пролом в башенной стене вел на чердак бывших жилых помещений, был обжит. По крайней мере еще совсем недавно здесь кто-то был. На полу несколько больших охапок свежей мякенькой овсяной соломы. На кирпичном выступе стены капли стеарина.

В камине — пепел. Если бы давний — выдуло бы.

Василько Шубайло, который спустился первым, вдруг копнул ногой песок.

— Ты что? — спросил я.

— Та-а. Пыли нет.

Я, конечно, не заметил бы этого, а он уже выкопал банку из-под бычков в томате. Пустую. Опорожненную недавно, потому что жижа еще не высохла.

— Бандюга, — сказал Стах.

— Почему?..

— Ну, — он неодобрительно посмотрел на меня. — И глупому ясно. Если бы просто какой-то бродяга — зачем бы ему закапывать жестянку?.. Бросил бы, и все.

— Резонно, орел. И хорошо, что у вас такие глаза.

Потом мы осторожно осмотрели подземелье под одной из башен. Я боялся, что может случиться обвал, и не пустил туда детей. Но они — они ж такой народ, что гнать их от интересного — напрасный труд. Как кота от сала. Прокрались сами и начали шарить по углам. И ничего не нашли.

Тогда я отпустил свою гвардию на несколько дней, попросив их, чтобы сами не лазили. Еще случится что, а тогда — как помотришь в глаза деду Мультиану и родителям Шубайло?

...Когда я, пыльный и грязный, шел мимо правления, председатель Ольшанский окликнул меня из окна.

Обычный кабинет председателя колхоза. Длинный стол, стулья, портреты. По углам — снопы разных зерновых, очевидно, премированных когда-то, но теперь уже довольно пыльных. А на стульях, по обе стороны стола, Ольшанский и Высоцкий.

— Добрый день, Ничипор Сергеевич... Добрый день...

— ...Игнась Яковлевич, — склонил голову Высоцкий.

— Садитесь, Антон Глебович, — как-то слишком... ну, словно извиняясь, сказал Ольшанский.

Мы молчали. Говорить, собственно, было не о чем. Потом председатель крикнул:

— Вы вот что, Космич. Вы плюньте на то, что тогда было. И на него, — он неопределенно махнул головой, и я понял, что он имеет в виду Гончаренка.

— Почему?

— Нестоящее это дело, бессмысленное... Ну зачем нам цапаться? Коты драть?

— Бойтесь, что нагорит? — прямо спросил я.

— Бояться? Нет. Но неприятно. И вы правы — нагорит. Почему не сопротивлялся, выполняя нелепые приказы... Правильнее, почему глупые советы слушаю... А Гончаренок теперь тоже десятому закажет... Доску мы нашли. В бурьяне. А думали, что снял кто-нибудь из района или области, что ценности эти руины не представляют.

— А разве так бывает, чтобы без ведома местных?

— А то, — сказал вдруг Высоцкий. — Вон председатель ездил опытом обмениваться под Давид-Городок. Так там негодяи, бездельники какие-то тоже доску сняли. И тоже все так же, как и мы, подумали.

— И разбирать уже начали церковь. Но тут учитель истории из Минска позвонил, и такой тарарам поднялся, что в районе едва отбрехали, что, мол, старую сняли, потому что поржавела, и новую надо вешать, — мрачно сказал Ольшанский.

— И никому в голову не стукнуло, — сказал я, — что ни минуты нельзя без охраны, что старая должна висеть до новой?

И сам понял, что никому.

— Ну, а Гончаренок что же?

— А, — махнул рукой Ольшанский, — желает всю жизнь героическим «гестаповским» периодом жить. Он и поддержал меня, когда я заколебался на миг, стоит ли в той бандуре проход бурить. Говорит: «приказ»... Но — плюньте. Тем более такое случилось при этом. Но врачи у нас хорошие...

— Плюну.

— Ну, а куда вы сегодня?... — спросил председатель.

— Вот приведу себя в порядок да пойду на автобусную остановку. Хочу на пару дней в Минск съездить.

— Зачем вам идти на остановку? На автобусе вы доберетесь до Кладно, а оттуда снова автобусом до Минска. Удобнее добраться до станции Езно. Двадцать километров — и прямо поездом в Минск.

— Ничего себе удобнее.

— Так сегодня туда наш грузовик пойдет. И вот Гончаренок поедет,

Высоцкий — машины принимать. И Шаблыка за школьными принадлежностями. Загодя. На будущий год. Мы этого «наперехват и вперегонки» не любим. Как раз к вечернему поезду успеете. Да и на будущее — вот Высоцкий, наш возчик, прошу любить и жаловать. Каждый день в Ольшаны, в другие окольные места, каждые два-три дня — на станцию. И «козел» есть, и «Москвич», а иногда приходится и «овсяным паром».

Вздыхнул:

— Обманула нас железная дорога. Дошла когда-то до Езно, а потом вильнула на северо-запад и пошла, пошла все дальше, до Кладно. А оттуда автобусом — сами знаете. А если бы дошла до нас — был бы уже, может, неплохой городок.

— Если можно будет — воспользуюсь.

...Через час Шаблыка, Высоцкий, Гончаренок и я уже тряслись в кузове грузовика. Никто не пожелал лезть в кабину к шоферу, потому что майские сумерки были удивительно теплые.

Я вспомнил слова из той поэтической легенды:

Тайно они убегали Слуцкою брамой^[62] ночью,
И на тусклый маяк луны тучи шли, как валы прибоя.

— Послушайте, Шаблыка, есть в замке Слуцкая брама? И почему — название? Брама же одна. Ворота в башне одни.

— Есть. И башня и ворота. Точнее, были. Слуцкие, или Несвижские. От них шла дорога, и через десять верст с нее был поворот на Несвиж, Слуцк. Потом их кирпичом заложили. Как и вторые. Одни только, третьи, остались. Главные. Слуцкая башня — это вторая с той стороны, что напротив Главной башни и Главных ворот.

Теперь я был почти уверен, что именно в той башне горел ночной огонек, видимый только с одного пункта дороги. И в соседней — вход в подземелье.

— С той стороной, наверное, и военная история связана, — сказал Шаблыка. — Доску в паре километров от деревни видели?

— Видел.

Действительно, стоит небольшой обелиск из серого бетона, и в него вмурована мраморная доска:

На этом месте похоронено
четыреста советских граждан,
зверски убитых

15 июля 1944 года
немецко-фашистскими захватчиками.

Стояли вы до кончины,
Как подобает людям.
Спите спокойно.
Край родной о вас не забудет.

— Немцы из деревни всех людей в последние дни выгнали. Думали — стрелять. Но нет. Только заставили в чистом поле под охраной прожить три дня. Некоторые в облаву не попали, мыкались по лесу, но в Ольшанку идти боялись. Они и видели, как шли в направлении замка грузовики под охраной. Много. Штук сорок-пятьдесят. Знаете, эти немецкие, тупорылые. А перед тем как они ехали, туда прогнали большую колонну людей. А потом, очень далеко, выстрелы. На исходе третьего дня. И обратно уже — никто. Можете догадаться, что это было.

— Знаю, айнзатцкоманды имущество и архивы прятали.

— Почему? Ведь могли вывезти? Хотя нет. Кладно тогда было в полукотле, — рассуждая вслух, сказал Шаблыка. — Дай бог вывести хотя бы часть войск.

Машина начала разрывать фарами неуловимо густеющие сумерки.

— И еще одно, — сказал я. — Не связана ли эта история с другой, очень давней. Ольшанский с немцами сотрудничал?

— Да.

— Мог быть и при схоронении имущества и при расстреле. Я тут разгадываю одну любопытную головоломку трехсотлетней давности. Страшноватая. И многим она стоила жизни.

— И разгадали? — неожиданно спросил Высоцкий. (Мы думали, что те двое дремлют.)

— Почти.

— Разгадка, видимо, не для среднего человека, — сказал он.

— Ну, зачем так? Если ум цепкий, то как раз для такого. Ну и, конечно, кое-какие знания надо иметь.

— Ну тогда это не нашего ума дело. Разве что Шаблыки.

Езно было той небольшой станцией (мало их после войны осталось в Белоруссии), где и до сего времени на здании висит колокол, в цветнике, с одной стороны, возвышаются толстенные тополя, а в маленьком зале ожидания полумрак и духота и плачет, мяукает чей-то котенок.

...Когда слезли с грузовика, в микроскопическом станционном поселке уже замигали первые огни. Высоцкий с Гончаренком побежали по своим делам (уговорено было на позднее время), а Шаблыка, у которого в Езно были приятели, прежде чем идти к ним ночевать, чтобы завтра с утра приняться за дела, покуривая со мной на перроне, смотрел вдаль, за далекий огонек светофора.

— Почему это так, Антось, что в юности к поезду гулять ходили, будто на бал? Какая-то иная жизнь рядом пролетала... Не наша... Может, красивее, а может, и такая, что собаке не пожелаешь. А теперь не тянет. Сидел бы и сидел на своем месте.

— Мхом обрастаем, Рыгор. Стареем.

— Видимо, да... Так что ты там, Антосю, говорил про головоломку?

Я в самых общих чертах рассказал ему обо всем, не упоминая, конечно, ни о судьбе Марьяна, ни о книге, ни о содержании написанного, ни о всей катавасии, которая вдруг поднялась вокруг легенды трехсотлетней давности.

Шаблыка задумался.

— Что-то во всем этом есть, — наконец сказал он. — Но все равно ничего не получится. Ты не знаешь толщины и длины палки.

— Ну, «начатки», как сказал бессмертный Якуб Колас, и мы знаем, — ответил я. — В смысле — математики.

— Ты что, ты близок к разгадке?

— Достаточно близок.

— Тогда молчи ты, мужик, и никому — ни-ни. Чтобы и искры из тебя нечем было выбить. Дело какое-то... паскудное. Бесчеловечное какое-то дело.

— Что же, Антон Глебович, — изрек, подходя, Высоцкий, — придется вам, желаете вы того или нет, ехать со мной до следующей станции.

— Почему? — удивился Шаблыка.

— А, черт бы его побрал, кладовщика... Договаривались ведь, так нет, куда-то поволокся в соседнюю деревню. То ли свадьба там, то ли похороны.

— Так что вы решили? — спросил я.

— Гончаренок здесь остался, а я к его родне идти не захотел. Поеду до Польной. Там у меня друг, у него переночую, а первым утренним — сюда.

Огненным змеем из чужого мира подошел поезд. Промелькнули в вагоне-ресторане слишком вдохновенные лица мужчин и слишком красивые — женщин. Некоторые были с бокалами в руках. И все смотрели на этот освещенный клочок земли, перед которым долгое время была тьма с редкими огнями посреди полей и после которого, они знали это, снова за

окнами будет мрак.

— Эй, туземцы! — заорал какой-то «пижамный» с подножки. — Здесь в буфете пива нету? В вагоне кончилось!

И тут я удивился выражению жестокой неублажимой ненависти на лице Высоцкого. Таким обычно добродушном лице.

— Таким, как ты, нету, пес приبلудный, — процедил он. — И вообще, кати, — это уже вслух, — тебе люру^[63] глотать. Или г...

Жизнерадостный «варяг» живо убрался в вагон, как улитка в свою раковину. Может, и сцепился бы с Высоцким, но увидел — стоят втроем. Хотя я и Шаблыка были тут ни при чем. Ни сном, как говорится, ни духом.

...Когда мы сели в почти пустой вагон и совсем пустое его отделение, я спросил у Высоцкого:

— Зачем вы его так?

— Вот, — все еще возмущенно сопя, сказал он, — ты тут трясись черт знает куда, возвращайся на рассвете обратно, а он — «туземец». А сколько ж здесь померзнуто, помокнуто, постреляно сколько, побито...

— Вы правы, — сказал я. — Я тоже однажды ехал. Ноябрь. Слякоть. Сумерки. Пейзажи, по обе стороны дороги, сами знаете, после немцев какие. Ну, стоим, курим в тамбуре. И тут какой-то тип смотрит на туман и дождь и говорит: «Правильно немцы эту страну „шайзеланд“ называли». Я тут не сдержался. "Если тебе жена со мной или с кем другим рога наставила, так не кричи о своем позоре. Если слабак, то такую землю не хули. А если ты сию минуту не сделаешь, как говорят твои любимые нацисты «Halt den Maul»^[64], то я сейчас открою дверь и тебя на полном ходу под откос вышвырну..." Он почему-то заткнулся. Юркнул в свое купе.

Мое лицо, по-видимому, даже при одном воспоминании сделалось страшным, потому что Высоцкий смотрел на меня слишком пристально. А я вдруг устыдился и воспоминания, и того, как я тогда разволновался.

Поезд колотило на стыках. Высоцкий отвел глаза, тоже взволнованный.

— А почему вы здесь возчиком? — спросил я. — У вас ведь какое-то образование есть. Судя по речи и по манерам.

— Ну, если все Ольшаны знают по сплетням и все равно вам расскажут, то лучше узнайте от меня.

— Верно. Сплетни в таких местечках до страшного суда доживут.

— Образование, ясно, так себе. Четыре класса польской гимназии. Вышибли за участие в патриотическом кружке. А потом — война.

— Так подучились бы на каких-нибудь бухгалтерских или

агрономических курсах.

— Нет. Все-таки и тот и другой — фигуры на селе. А я этими сложностями по уши сыт. Троюродного брата поляки повесили перед самым сентябрем^[65].

— За что?

— А господь его знает. Я с ним почти незнаком был. Будто бы убил провокатора, а те повернули дело так, что убийство уголовное. Ну и ясно, может, кто и защищал, а широкая общественность — нет... Второй, двоюродный, расстрелян немцами за подполье прямо на улице. Кто говорит в Кладно, кто говорит, что вывезли в Белосток. Так что видите, нашему брату куда ни кинься... Лучше уж я здесь. Спрос, как говорится, невелик, ответственности никакой. Тихо — и гори оно все ясным огнем.

ГЛАВА XIII. Совещание двух холостяков, одного вдовца и одного женатого

Утром я позвонил в Кладно Максиму Смыцкому, одному из лучших, если не лучшему, знатоку города и истории его и окрестностей. И, к счастью, застал дома.

— Слушай, Максим, ты историю с Ольшанским замком слышал?

— Друзе, ты меня за ребенка считаешь. Скоро посадишь за парту и заставишь учить...

— Что?

— Ну, «сам сабе катлету смажыў і запэчкаўся ў сажу»^[66] или «У Мани верный был баран, собаки он верней. Куда бы Маня ни пошла — баран бежит за ней».

— Угм. Ты еще вспомни «Anna und Marta baden»^[67]. Замок в Ольшанах разрушать хотели...

— Кто?.. Ах, сек твою век!.. Кто?!

— Этого сказать не могу... Слово дал. Обещали не растаскивать. Так вот ты, как «охрана памятников культуры», помни об этом и при случае постращай. Доску новую повесьте.

— Ах, черт! Еще легенда такая красивая связана с ним. Холера ясна.

— Возможно, она имеет под собой какую-то почву.

— Какую?

— А ты про бунт Валюжинича слышал? И про послание бискупа Кладненского?

— В лесу родилась елочка.

Он был очень похож на Марьяна. Юмор у всех нас почти одинаковый: юмор эпохи и ее манера шутить. И все же он был не то, не то... Хотя и энциклопедия на двух ногах.

И тут мне тюкнуло в голову:

— Максим, что ты знаешь о расстрелянных в последний день немцами в Кладно?

— Есть такой памятник. Вернее, стела. Только здесь их будто бы половину расстреляли. Часть дальше, под Белостоком. И неизвестно, кого где. Расстрелянные были поляки и белорусы. Во всяком случае, и здесь и там адекватные и двуязычные стелы.

— Текст помнишь?

— Помню, но лучше, для верности, посмотрю по картотеке.

Минутная пауза.

— Есть, слушай, — и дальше текст:

Tu spoczywaja zwloki
22 bojownikow Ruchu
Oporu, zamordowanych
przez hitlerowcow
w dniu 17.VII.1944 r.

И далее перечень фамилий:

A.Oblocki z Krakowa.
P.Romski...

Еще фамилии, и потом, как последнее подтверждение:

J.Stankiewicz z Olszan.
W.Wysocki z Kladna
oraz 17 osob nieznanых.
Czesc ich pamiesci.

И ниже по-белорусски:

Тут спачываюць астанкі
22 байцоў Руху Супраціўлення,
замардаваных гітлераўцамі
у дзень 17.VII.1944 г.
.....
А.Аблоцкі. з Кракава.
П.Ромскі...
.....
І.Станкевіч з Альшан.
В.Высоцкі з Кладна
А таксама
семнаццаць чалавек невядомых.
Вечная слава памяці герояў^[68].

— Спасибо, Максим. До встречи. — Я повесил трубку.

Почему мне пришло в голову спросить об этом? В истории этой все было загадкой, и потому приходилось присматриваться ко всем. Что означал человек под окнами? Случай в музее? Усыпление собак? Убийство (да, я подсознательно знал, что это было убийство, и даже желал этого, в противном случае это была бы слишком глупая смерть)? Записка, написанная моей рукой? Странные и диковатые люди в Ольшанке (а я умудрился проверить: никто из них уже два месяца не был в нашем с Марьяном городе). Наконец, вся эта история со старой легендой и ее странная связь с современностью, и странный поворот старой сказки. Да и вообще, куда мог подеться такой человек, как Валюжинич? Хотя... Мог же Кучум после последнего разгрома погнать коня, и следы его, как говорит великий историк, «утерялись во тьме истории». И история эта — моя история, а не та — крайне паскудная, очень во многом страшная.

Мне очень не хотелось идти к Хилинскому, но надо было. Может, узнал что-нибудь от Шуки? И мне ли, подозреваемому, было избегать закона? Но я тянул и тянул. Вышел к «Святому Герарду», купил сигарет; на этот раз «Шипка» была, а «БТ» только один блок. И за это спасибо доброму человеку, что приберег.

— И надолго, товарищ Космич?

— Да нет, дня на два, а там снова...

— Всё ищете? — спрашивает он.

— Ищу.

— Бывает, что и находите?

— Бывает, что и нахожу. Чаще всего нахожу... Тут лбом и задом надо стену прошибать. — Я оттягиваю визит к Адаму как могу. — Дурное дело нехитрое.

— Угм. Тогда в этом городе три четверти таких, «нехитрых».

Я все же иду на Голгофу. И когда Адам открывает мне дверь, меня словно ударяют в лоб чекухой или балдой. Той, что по обуху топора бьют, когда он завязнет в пне.

...Сидят за столом и попивают чаек полковник Шука и Ростик Грибок. Меня от этой идиллии передернуло. И одновременно снова возник страх. Правильнее, он жил все время. Страх. Страх перед той запиской. Перед собственным почерком. Откровенно говоря, ни до того, ни после я, в самых трудных обстоятельствах, не боялся. Но одно дело убить на войне, в уличной драке с уличным дерьмом, в состоянии аффекта. И совсем иное,

когда между тобой и другом встают деньги, когда человек за эти вонючие бумажки, за наследство убивает единственного друга. Так подло выманив его из дома.

Лишь тогда, когда люди — все — поймут это, только тогда придет справедливость. До этого ее напрасно ждать.

— Что это у вас гулко и шумно, как в бане?

— Гулко, — неожиданно сказал Грибок, — как в бане или в 9-й клинике в зале для посетителей.

— А ты что, и там бывал? — спросил я.

— Побывал. Но там лежать — это прости меня господи...

И в самом деле, зачем ему туда, такому Грибищу? Глупое предположение.

— Я всюду побывал, — сказал Ростик.

— Ну, на северном полюсе не был, — сказал я.

— Хватит вам, — вдруг отрезал Щука. — Вы разве не видите, что он еле жив от волнений? Уж эта наша, местных дурней, глупая привычка острить едва ли не под топором.

— Правда, — признался я. — Временами страшно болит голова. Какие-то странные явления во сне.

— Переутомился ты, парень. Отдохни, поспи, поплавай, влюбись, — сказал Щука. — Бросил бы ты это дело. Выеденного яйца оно не стоит. Подумай, что тут к чему? Где плес, а где лес? Где постель, а где костел? А чтобы успокоился — скажу: почерк не твой, Антось. Экспертиза графологическая установила. Почти не отличишь, но не твой. Бумага — твоя.

У меня закружилась голова. В последнее время она так трещала, что я боялся, а вдруг это я в забытьи чего-то натворил. Поэтому на последние слова я не отреагировал.

— Кто к тебе ходил? — спросил Щука. — Кто знает почерк?

— Ну-у, отец, тетка... Вы... Ну, соседи... Марьян... Изредка коллеги по работе.

— Отпадают.

— Ну, на женщин не подумаешь, — вдруг сказал Хилинский, — да и была она одна. И теперь ее нет.

Я был благодарен ему, что он не дал мне назвать имя Зои. Последнее это дело мужику катить бочку на женщину, которая была с ним.

— Хорошо, — сказал Щука. — Твоя старая байка наверняка не связана со всеми этими событиями. Кстати, возьми книгу и — вот тут на кальку сделано несколько копий... Оригинал оставим у себя. А что у тебя нового?

Я кратко рассказал.

— Вот это уже любопытно, — сказал Щука. — И, главное, мы сами не знаем о расстрелянных, кто за что и как. Если что-то интересное узнаешь — говори вот с ним, — кивнул на Адама. — А сам своим делом занимайся.

Ага, так я и могу заняться только своим делом.

— А про того Высоцкого, что в тридцать девятом повесили, — продолжал Щука, — так я помню этот процесс. Один из наиболее шумных. Действительно, говорили — подкладка политическая. А больше ничего не знаем. Архив сгорел.

Я снова налил себе воды и выпил.

— Что это ты пьешь, как с похмелья? — спросил Хилинский.

— Что-то в последнее время жажда мучает. В голове какой-то туман странный... Ну, а насчет тех, расстрелянных? А насчет тех, что убили в Кладно?

— Говорю тебе, — сказал Щука, — архивы сгорели. Архив суда — сгорел. О Варшаве и говорить нечего. И кладненских расстреляли семнадцатого. Ну, а Кладно мы взяли восемнадцатого июля. И значит, немцы могли не успеть вывезти архив и награбленное ведомством Розенберга.

— Считай, — вмешался Ростик, — 26 июня Витебск, 27 — Орша, 28 — Могилев, 3 июля — Минск, накануне — Вилейка. Видишь, как окружили, обложили. Твоих кладненских расстреляли семнадцатого. Ну, а Кладно мы взяли восемнадцатого июля. И значит, немцы могли не успеть вывезти архив и награбленное ведомством Розенберга.

— А что ты такое сотворил, что в Ольшанке был скандал? — Хилинский вертел в руках одну из лент.

— Замок фотографировал, — мрачно сказал я. — Выдам потом пленку японцам.

— Прижмут тебе когда-нибудь твой длинный язык, — проворчал Грибок.

— Не прижмут, — сказал полковник. — Потому с ним и делимся. Потому и разговор с ним идет здесь, а не там... Несмотря на некоторых.

— Лента эта не палимпсест^[69], — вдруг сказал Хилинский. — Выскабливали пергамент по какой-то иной причине.

— Что-то маскировали? — спросил Грибок.

— Кто знает? И думаю, что, может, клей, которым прикреплялась лента к предмету, — хмуро сказал Хилинский. — Только что это за предмет? Где его найти? — И добавил, глядя на то, как я снова пью воду: — Все же думай и ты, Антось. Вместо ребуса.

— Я тот ребус уже и без предмета разгадал. Полагаю, правильно.

— Склоняюсь к твоему мнению, Антось, что здесь что-то есть, — сказал Адам. — Вряд ли человек зашифровал бы что-то неважное. Но... не лезь ты слишком в дела Андрея и... Ростика. Твое дело история. И ты им подай иногда только то, что посчитаешь нужным... И они тебе нужное скажут... Что тебя касается. Помогут. Но и ты посильно поможешь.

И он с нажимом добавил:

— Если посчитают нужным заняться делом.

— Смерть моего Марьяна не считать — нужным?..

— Потому что говорить о своих делах с другими, — перебил меня Адам, — они не любят. А иногда просто не имеют права. И ты их не вини. Не лезь к ним, а они к тебе не полезут. Если что-то серьезное случится — разберутся сами.

Я был в холодной ярости. Не считать серьезным — такое?

— Не лезь ты в бутылку, — сказал Щука. — Если это было убийство — рано или поздно его раскопают.

— Кто это раскопает?

— Мы.

— Что ж, помогай бог, — сухо сказал я.

Хилинский вышел проводить меня. Стоя на этой занюханной площадке, беседовали.

— Слушай, что означает твое?

В

— Три, — сказал я.

— Гм. Ну хорошо. И вот это, расспроси, кто такой Бовбель, банды которого в войну и после войны гуляли возле Ольшан.

— Что, это важно?

— Щука считает.

— Тогда можно.

— Чепуха какая-то получается с этой полоской, — сказал он. — Кроме вот этого «слуцких ворот» и слова «жажда».

— Почему?

— Не знаю... Ну, а как там рыбка у вас ловится?

— Не знаю, — в тон ему ответил я.

— Спроси, если ловится, может, и я к тебе подъеду. А что еще делать пенсионеру?

— Знаешь, пенсионер, — сказал я, — катись ты к такой-то матери...

— Качусь, — улыбнулся он и закрыл дверь.

ГЛАВА XIV. О безумцах и мелочах, которые не стоят и выеденного яйца

И снова трясет машину по дороге Езно — Ольшаны.

Если это можно, конечно, назвать дорогой.

Но археологи не жалуются. И Шаблыка со Змогителем. И Высоцкий с Гончаренком. Одному лишь мне кажется, что на такой дороге только масло сбивать. И я даже не знаю, повезло мне или нет, когда из окна вагона увидел всю компанию на перроне (что-то выгружали) и в последнюю минуту, почти на ходу, спрыгнул.

Может, мне было бы легче переносить эту тряску, если бы не такая страшная жажда и такой тяжелый сон, которые мучают меня в последнее время.

Что-то со мной происходит неладное.

— Когда это, ребята, мы перестанем трястись по этим дорогам? Дороги и дороги, — не выдерживаю я.

— Ляжешь под сосенку — тогда и не будешь трястись, — мрачно «шутит» Змогитель.

— Иногда кажется, может, оно и лучше так-то, — вздыхает Гончаренок.

— Типично белорусский взгляд на вещи, — иронизирует Шаблыка. — «Что за жизнь?.. Утром вставай, вечером ложись, вставай — ложись, вставай — ложись. Вот если бы лег да не встал».

Все смеются, хотя и не очень весело. Такой ласковый и почему-то грустный майский вечер, что хочется верить одновременно в вечность и тленность бытия.

— И в самом деле так, — говорит настроенный на лирический лад Гончаренок. — Оттрубил каких-то лет шестьдесят — и хватит. И кому тогда дело, сколько твои кости пролежали в земле? Ведь правда, пани Сташка?

Ветер играет прядкой ее каштановых волос.

— Вздор несете, мужчины, — вдруг бросает она. — До всех костей живым людям есть дело. В противном случае, громко говоря, не были бы мы людьми. Есть такой у нас кустарный способ определять, ископаемая это кость, очень давняя, первобытная, или сравнительно новая. Дотронься языком. Если липнет — значит, ископаемая. Я впервые аспиранткой это услышала, на заседании сектора археологии. Ну и решила попробовать.

Хохот стоял на весь зал.

— Это что же, и человеческие лижете? — спросил Высоцкий. — Безумие какое-то. Гадко же.

— А почему? — отозвался Генка. — Если кости миллион лет, она тогда чище, чем наши руки. А я же вот своим девчатам руки лижу, если чего-то делать не хочется.

— Это когда было? — возмутилась Валя Волот. — Да я тебе и руки не дала бы, даже если бы собрался лизать.

— Толстуха, — с угрозой сказал Генка. — Ой, надеру уши.

— Это мы тебе артелью надерем, — вступилась Тереза.

— И в самом деле, — поддержала ее Стася.

— А по-моему, так все равно, — сказал Гончаренок. — Что нам до старых костей? О своих надо думать. Тем более что еще неизвестно, кому было легче кости по земле носить, нам или им. Войны тут всякие, беды, болезни разные развелись. Вон хотя бы поглядите на очереди у дантистов. А я однажды в музее макеты старых погребений смотрел — так там такие у всех этих древних зубы белые.

— Нам легче кости носить, — сказала Стася. — Следите за зубами, давайте им работу, — и не нужен будет вам дантист.

— А они следили? — с подковыркой спросил Гончаренок.

— А ты спросил у них, сколько они жили? — Резко повернулся к нему Шаблыка. — Ну-ка, Сташка...

— Мало кто доживал до сорока, — сказала она.

— Потому и зубы белые, как у собаки, — повысил голос Шаблыка. — Ты тоже по сравнению с собакой сколько живешь? Вот и съел зубы. Вот тебе и ответ, кому по земле легче кости носить. А если человек теперь не доживает до сорока, погибает на войне, погибает в печи, погибает во рву, — это не вина жизни, это вина других...

«Чего сцепились? — подумал я. — Словно ненормальные все».

И тут, по аналогии, а также чтобы перевести разговор в иное русло, я сказал:

— Вот Лопотуха. Разве он виноват в том, что такой? Люди сделали. Правильнее, нелюди. И что умрет, может, рано — тоже они.

— Не скажи, — отозвался Гончаренок, — может, ему так просто удобнее. Чтобы не вязались... Исчезает иногда на несколько дней.

— Послушай, — обратился к нему Высоцкий, — помнишь Рохлю-ненормального? Кем он потом, при немцах, объявился? В одной машине с шефом кладненского СД ездил. Вот как, мои вы голубчики.

— Брось, — вдруг не выдержал я, чувствуя, что перемена темы ничего

не дала, что не отделаться нам от темы войны и человеческих страданий. — И не мелите глупостей про обиженного человека. Сами говорили, что видел что-то и... Да, наконец, сами помните, как шли мы с вами мимо мельницы, а он мешки таскал. И дворняги за ним...

— Действительно. — И Шаблыка рассмеялся. — Одна, видимо, помесь с таксой. Похожа на пылесос «Ракета».

— Плохой смех, — сказал я. — А он увидел нас и кричит: "Сыщик проклятый! Наводчик гицелев^[70]! Замок ему! Сыщикам выдать! На след навести! Ну, погоди! Мы тебе!" Кто это мы? Кто из нас наводчик? Ты, Тодор? Шаблыка? Высоцкий? Я?

— Псы за сволочью ходить не будут, — строго, как очень опытная, сказала Тереза. — Они чувствуют, кто их любит, кто незлой.

— Чепуха, — вдруг сказал Ковбой. — Гитлер вон тоже любил собак и детей. Да дело в том, что любил он исключительно немецких собак и немецких детей. Да и то далеко не всех. Иначе не бродили бы у нас по лесам одичавшие лагерные псы и не плакали бы немецкие дети...

«Нет, они все же отравлены войной. А может, в этом и есть секрет всех последних событий? Айнзатцкоманда? Выселение деревни? Памятники расстрелянным? Кто знает... Всех зацепило. Даже Гончаренка с его язвительным добродушием. Даже Высоцкого. А Лопотуха? Может, в самом деле не помешанный? И правда, почему исчезает?»

...Шли мы в Ольшанку уже в темноте. Нам с Высоцким выпало идти вместе, остальные пошли другой дорогой.

— Да, — снова завел он свою шарманку, — и чего они все сцепились? По-моему, так живи тихо, хотя бы извозчиком, и никуда не лезь.

— Напрасно. Вы человек с умом. И с определенным стремлением, чтобы вас уважали.

Я вспомнил, как он отреагировал на «туземца» в Езно.

— Все равно не лезу.

«Ну конечно, — подумал я. — Троюродного брата при поляках повесили в тридцать девятом. Может, за что-то связанное с политикой. Двоюродного немцы в Кладно в сорок четвертом... Тут испугаешься. Да только вспомни, сколько в войну погибло и не за политику».

А он, словно угадав мои мысли, сказал:

— Хоть сову о пень, хоть пнем по сове — сове все равно. И не хочу я этого. Отработал, помылся в бане или в речке, опрокинул стопку, поужинал — живу. Ночью проснусь — живу. Кони хорошо пахнут — аж смеюсь от радости — живу. И ничего больше мне не надо. Пошли они, все эти рубки к...

Я лишь пожал плечами.

...На следующий день, взяв ключ у Мультана, я обследовал то подземелье под башней, где была решетка. Ничего необычного: та же пыль и та же щебенка. Разве только еще несколько заваленных ходов в неизвестность. Ей-богу, хоть ты чертыхайся.

Когда выбрался оттуда, погасив фонарик, был тот рубеж между сумерками и ночью, когда начинают мигать первые звезды. Полная луна, однако, еще не взошла. Только небо в той стороне было немного светлее. Я не спешил домой. Приятно было пройтись, когда обвеивает лицо майская ночь. Такая мягкая, словно дорогие руки гладят. Я вышел воротами, перешел мостик и направился было к дому ксендза, когда мне показалось, что за моей спиной что-то выскользнуло из паркового подлеска. И в этот раз ошибки не было: я услышал шорох шагов, отдалявшихся от меня в сторону ворот.

Любопытство родилось раньше меня, поэтому я немного обождать и пошел следом. Минул жерло входа. При слабом лунном свете, который все усиливался, мне показалось, что мелькнула двуногая тень и что у этой тени была на голове кепка козырьком назад.

«А, черт! Ну, это следует проверить. Только надо немного обождать, пока ты не займешься своим делом впритык».

Я вышел на середину двора и присел там за грудой битого кирпича, держа фонарь наготове.

Терпение мое было вознаграждено. Шли минуты, не знаю, сколько их там проплыло, и вдруг не в бойнице ли «моей» подозрительной третьей башни, кажется, на мгновение мигнул огонек, а затем оттуда послышались глухие удары чего-то твердого о камень.

«Может, ломом? И почему тогда, во время инцидента, тоже разрушали здесь?»

Красться в ту сторону было очень неудобно. Ноги неловко подворачивались на камнях.

Вот и темная дыра входа. Оттуда несет какой-то мерзкой тухлятиной, как из никогда не чищенной уборной. Я скользнул внутрь. В самом деле, откуда-то слышались удары. И сверху, и вроде бы отдается снизу.

«Кто-то долбит стену? Зачем?»

Луч моего фонаря упал на стену — да, свежие куски отколотого кирпича. И удары, глухие, будто из самой стены, сразу заглохли.

Я посветил фонарем вверх, по столбу обвалившейся винтовой лестницы, туда, где был люк, ведущий в нижний ярус башни. Люк чернел непроглядной теменью.

И вдруг оттуда мне в глаза упал нестерпимо яркий сноп света. Ослепил.

Я отступил скорее машинально, но, по глупости, фонарь не погасил. И тут же на то место, где я только что стоял, глухо ухнув, упал большой камень со следами свежесотбитой цемянки.

Снова летит вверх свет моего фонарика. И снова оттуда, в ответ, меч света. Дуэль фонарей. Снова я, будто предчувствуя что-то, отскакиваю. И тут же что-то звякнуло о стенку. Чуть-чуть не в то место, где только что была моя голова. Повел фонариком туда — мокрое пятно на камнях, а внизу разбитая вдребезги бутылка и — с убийственной ясностью — этикетка с надписью «Lasite».

Грохот где-то наверху. Ниже, ниже. Тишина.

Несмотря на тишину, лезть одному наверх было бы безумием. И я, несолоно хлебавши, выбрался наружу.

Луна была уже довольно высоко. Ее неяркий свет скрадывал мерзость запущенного двора с навозом и грудями камней. И наоборот, подчеркивал все уродливое величие этих стен и башен. Неровные стены, башни, словно граненые скалы, темная полоса галереи.

Мне захотелось быть в любом другом месте, только не здесь, и я ускорил шаг.

«Lasite — капелька по-латышски. Откуда у Лопотухи, если это был он, латышская охотничья водка? Да еще и довольно редкая».

У меня появилось желание еще раз окинуть взглядом всю эту чугунно-черную махину при лунном свете. Я оглянулся. Там, куда падал свет, чернь отлизала голубизной. В затемненных местах, в нишах и на галерее, господствовал безысходный мрак, благодаря чему вдруг перед глазами вставала своеобразная рельефность этой громадины.

И тут я не поверил своим глазам. В темном провале галереи, от внешней лестницы, ведущей на нее, медленно ползли две тени, тускло-светлая и темная.

Ноги мои приросли к земле. Тени, настоящие тени шли по гульбищу^[71]. Остолбенеv, я простоял на месте неизвестно сколько. И лишь потом бросился к широким, местами выломанным ступенькам. Забыв о возможной опасности, забыв обо всем, кроме единственной мысли: увидеть, проверить, схватить.

Взбежал. Ничего. Лишь дымный свет блуждал аркадами. Мрак лежал под сводами. И ничего больше. Ни души, хотя выйти им было некуда, кроме лестницы, по которой я взбежал. Ничего и никого.

"Черт побери, — думал я, идя к дому ксендза, — значит, все они были

в чем-то правы, когда говорили. И Мульта́н, и другие, и стародавний поэт. Вот вам и паршивый белорусский романтизм. Или это я тоже причастился к местному безумию?

Полночью каждой такую в замке, что стынет от страха,
По галереям проходят дама с черным монахом.

Холера бы вас побрала! Всех!"

...Завтрашний день пришел ясный и солнечный, в тихом шуме молодой, свежезеленой листвы. В «мою» башню отправились и Сташка с компанией, и Мульта́н с внуком, и даже сам председатель Ольшанский.

И полный конфуз. Никто бы не поверил мне, если бы не свежееотколотые куски стены внизу, более светлый по цвету, незапыленный кирпич. Но все остальное было всем, чем хочешь, только не тем, что еще ночью я видел собственными глазами. На полу громоздилась груда каменных осколков, мусора, цементной пыли. Огромная каменная глыба, целый валун, закрыла, как пробка бутылку, лестничный люк и угрожающе висела над головой. Видимо, обрушились перекрытия второго, а может, и третьего ярусов. Разбирать этот хаос снизу было смерти подобно. Сверху доступа туда не было.

— Ну вот, — вставил свои три гроша Ольшанский. — А кто-то говорил, что это строение на века.

— Да, — сказал я. — Если ему никто не помогает упасть. А кто знает, не помогли ли этим перекрытиям упасть сегодня ночью?

— А черт его знает, — дискантом пропищал Мульта́н и добавил басом: — Похоже на то, что и помогли...

— Здесь бульдозером расчищать, — с мальчишеским легкомыслием сказал Генка.

— Угу, — проворчал Ольшанский, — если бы был такой бульдозер, что лазает по стенам.

— И если бы кто-то позволил вам гнать на памятник культуры бульдозер, — заметил я. — Хотя... иногда это позволяют. Тут вот что, тут надо вход завалить. А то Стасик или Василько могут полезть и...

— Этих шалопутов деревня знает, — сказал Ольшанский. — И о случившемся деревня знает. Завалим.

— А откуда деревня знает? — спросил Генка.

— Э-э, голубь, — пропел Мульта́н, — на то она и деревня. Ты только чарку соберешься опрокинуть, а в Ольшанах уже будут говорить, что ты полдня козлов дерешь ^[72]. Вот же знают откуда-то Гончаренок, Вечерка и

другие. А между тем у них... как это... ну, когда меня тут не было, потому как я под Минском свиней пас...

— Алиби, — сказал Ольшанский.

— Вот-вот. Они же в Езно ездили.

— Правильно, — подтвердил председатель. — Совецание было.

Мы вышли через ворота, и сразу стало вроде бы легче дышать. Я сказал об этом.

— А вы поблагодарите всех, кто здесь столетиями навоз копил, — сказал Шаблыка. — И панскому быдлу, и четырехногому колхозному.

— Он не о том, — сказал Ковбой. — Морально, как говорят, тут стало легче дышать. Живые люди. Живут, смеются, работают. А если кто иногда и в ухо даст, то и это легче переносится.

Опять надо было переводить разговор на другую тему. И я, как всегда, сделал это неловко:

— Почему это, Ничипор Сергеевич, у вас такая фамилия. Вы что, из тех Ольшанских?

— Э-э, не оскорбляйте, — сказал председатель. — Что, я похож?

— Да внешне — нет.

— По-уличному они «Шавцы»^[73], — вмешался Мульган.

— Да, — сказал председатель. — Но, сами понимаете, паны иногда свои фамилии крепостным давали, чтобы отличить. Ну и ради смеха давали. Документов не было. Деревня со временем и привыкла.

Археологи во главе со Сташкой отправились на свою Белую Гору (дай бог, чтобы им там больше повезло, чем гуситам на Белой Горе и сербам на Косовом Поле) а мы пошли мимо мельницы к деревне. И здесь опять нарвались на сцену из «Бориса Годунова». У гребли сидел в окружении своих псов весь в муке, как Пьеро, Людвик Лопотуха в своей знаменитой кепке и, заметив нас, начал неизвестно в кого тыкать пальцем:

— Жив?! — Меня обдало холодом, когда я вспомнил ночной кусок стены. — У тебя ведь кровь из груди. Как у Гончаренка. Как у возчика. Сам видел у них, сам... Воскрес? Оборотень. Вовколака^[74].

— Что это с ним? Почему орет на нас?

Мы уже миновали его, и тогда Ольшанский подозвал к себе полную румяную женщину, шедшую нам навстречу.

— Наш заведующий медпунктом. Объясните, Агата, нашему гостю, товарищу Космичу, — он указал на меня, — что такое Лопотуха. А то он уже на всех коситься начинает.

— К сожалению, действительно ненормальный, — с хорошей и

грустной улыбкой ответила женщина. — Комиссия после войны была. И два года назад. Он неопасный.

Я подумал, что если та глыба была «неопасна», то какой череп должен иметь человек, чтобы говорить об «опасности». И еще подумал, что я теперь не верю в его безумие. Ну, откуда он знал о крови? И еще, если он и в самом деле ненормальный, то знает о чем-то таком, о чем мы, нормальные, не знаем. И молчит. Или не может сказать?

Пошли дальше. И тут Ольшанский меня удивил — не часто мне приходилось слышать в человеческом голосе такую жалость и такое сочувствие:

— В самом деле, не в себе человек. И стал таким действительно после чего-то страшного... Я вот часто задумываюсь: откуда такая жестокость у некоторых детей? Играли в войну. И один вояка на этого несчастного направил «ружье». Так тот заплакал: «Мальчик, не надо».

— Ну и что дальше?

— Пришлось озорника отлупить, хотя и последнее это дело.

Через несколько минут мы разошлись. Я постоял, почесал затылок и ничего не придумал умнее, как направиться к очередному «сомнительному», ксендзу. Ну ясно же, кого и подозревать, как не ксендза? И, ясно же, пришел как раз вовремя. Отец Леонард Жихович проводил беседу почти домашнюю и душеполезную с дружками и будущими молодоженами («Пусть женятся, больше нищих будет», — сказал бы мой хозяин Вечерка), объяснял им что-то насчет того, как они должны серьезно подумать, пока не поздно, потому что костел развода не признает, и, значит, это на всю жизнь. Тут я был с ним согласен. В самом деле, незачем заводить волынку со свадьбой, если это на один месяц. На один месяц — можно не беспокоить ни загс, ни священника. Бывает и так, но лучше не стоит.

Я поплелся к выходу и снова задумался, кого мне напоминает статуя из зеленого мрамора, похожего на нефрит.

Так и не вспомнил. А на меня, на надгробие, на ксендза и всех других глядел деревянный древний святой мученик Себастьян, пронзенный многочисленными стрелами, который, казалось, не умирал, а находился в состоянии наивысшего, из всех известных, человеческого экстаза.

Делать мне пока было нечего, и я начал бродить по деревне, тем более что было тепло и роскошная, еще не запыленная первая листва прямо светилась, словно в середине каждого дерева был запрятан сильный театральный фонарь.

Однако я и так затянул казань^[75]. Поэтому позвольте пунктиром.

Увидел я Змогителя, который спускался с Белой Горы со Сташкой и — это меня почему-то приятно поразило — группкой детей. И все же я мрачно сказал:

— День школьный. Время школьное. Почему вы здесь?

— Было свободных четыре часа, — улыбнулся Ковбой. — Завуч наделал «окон». Ну мы и пошли на раскопки. Стихи читали.

— И не нагорает?

— Еще как. Но что из них вырастет, если такого иногда не делать?

— А вы?

— А мне бока не покупать. Как всем, кто на «игрище, где... гудят в контрабас».

— А вы откуда? — спросила Стася, и я обрадовался.

— Из костела. Что такое там ксендз?

— Бог его знает, — сказал Михась. — Мне кажется, здесь все какие-то... И он весь помешан на катакомбах под замком, подземных ходах... Дети, вы куда?!

А дети уже полезли было через шаткие дубовые перила чуть ли не в речушку, которая здесь разливалась небольшой заводью. К нам подошли Стасик и Василько Шубайло. Стася гладила их по выгоревшим на солнце головкам. А я вдруг почувствовал, как было бы приятно, если бы это были мои и ее дети. И одновременно осознал, что с нею, такой молодой, это невозможно. Об ином надо было думать. И я спросил:

— Стасик, а где те подземные ходы?

— Немного знаем. И дед немного знает. И ключ был у деда, да он потерял. А может, ксендз забрал. Но туда можно и через дырку, и через провал, где дойлид^[76] лежит.

— Какой?

Змогитель, возвращаясь, слышал конец разговора. Он выполнил принцип белорусских будочников, который, по словам Глеба Успенского, звучал так: «тащить и не пущать».

— Да басни, — сказал он. — Говорят, что когда те — Валюжинич и Ольшанская — собрались убежать, зодчий их предупредил: «знают, следят».

— Почему?

— Говорили — был любовником сестры Ольшанского. Ну и... черт их знает, тайны людских сердец.

— Ну, что случилось с ними — неизвестно, — сказал я. — А с ним?

— Говорят, сорвался с обледеневших лесов. И та сестра залила в корсте^[77], в колоде, его труп медом и отвезла, чтобы сделали мумию. И до

сего времени он там, в подземелье, среди других Ольшанских лежит. А она так незамужней и умерла.

— Значит, не сам Ольшанский был учредителем этого костела?

— Люди говорят, сестра. Но это те же «шведские курганы» да «французские могилы». Записан — он.

И тут я все же задумался. Почему он, тот Ольшанский, считается строителем всех костелов в округе? И этого тоже. Подозрение — нехорошая вещь, но тут оно снова тронуло мою душу. Если ложь в этом, значит, мог соврать и на суде, когда клялся на евангелии, что беглецы — живы.

Простившись с ними, я закурил (много я начал курить) и зашагал через пролом к единственным воротам замка. Вечерние апельсиновые лучи ложились на молодую листву, и замок посреди этой роскоши казался гадкой, но и красивой (а ведь так действительно бывает) жабой в окружении цветов. Вошел в ворота и увидел на каменной глыбе ксендза с блокнотом в руке.

— Что это вы здесь, отец Леонард? — спросил я и снова удивился этому приятно-лисьему выражению на умном лице.

— Люблю здесь думать.

— Проповеди составлять?

— Иногда и проповеди составлять, — сказал «еще один подозрительный». — Отдыхать.

«А чтоб тебя, — подумал я, — типично евангельский тип, который не переносит лжи и несправедливости».

Многому недоброму научило и меня это дело: недоверию ко всем без исключения людям.

— И ходы знать?

— И ходы... Вы ужинали? Нет? Так пойдете ко мне.

...В плембании ксендзу принадлежало я не знаю сколько комнат. Мы сидели в одной, девственно белоснежной, с множеством разных статуй на стенах (в большинстве ярмарочных, гипсовых, как китайские божки, разрисованных в розовое и голубое, а порою и старых, деревянных, пострадавших от времени, давным-давно нуждающихся в реставрации). А на столе была скатерть-самобранка (ведь не сам Жихович приготовил все это и подал горячим на стол). Тут тебе и карп, запеченный в тесте, и травничек анисовый, и «утопленник», кипящий в масле (все старые белорусские кушанья, едва не из первой нашей поварской книги «Хозяйки литовской»), и «отведайте это варенье из стеблей аира, самая нижняя часть».

И на все это гаргантюанство умильно глядел большой черно-белый (а уши «страшно похожи на локоны Натальи Гончаровой с портрета Гау», как сказал ксендз) спаниель Ас.

Ас по-русски означает «ас», по-белорусски — ничего, а по-польски — «туз». Жихович положил ему на нос кусок сахара и приказал терпеть. Шагреневый кончик носа страдальчески морщился, из глаз чуть не текли слезы. И ксендз смилостивился:

— Ас! Милиция!

Пес подбросил сахар в воздух, поймал его и, поджав хвост, бросился под кровать.

— Ну, а если и впрямь милиция? Что тогда? — рассмеялся я.

— При нем? Нне-ет... Ну-ка, травничка.

Ас вылез из-под кровати и снова облизался.

— Знаете, что мне пришло в голову? Из Шевченко.

— Догадываюсь, — подумав, сказал ксендз. — Как дети на пасху хвастались, сидя на соломе. Одному отец чоботы справил, другой мать платок купила... «А мені хрещена мати лиштву вишивала»^[78].

— Правильно. «А я в попа обідала, — сирітка сказала»^[79].

— Ну, так почему «попу» и спустя сто лет с гаком не накормить «сиротку» обедом? Думаете, я не вижу, как вы на меня в «век ракет и атомов» глядите? Сквозь «ходы» и «тайны».

— Я не гляжу.

— То-то же. И хотя оправдываться ни перед кем не хочу — перед вами почему-то хочется. Чувствую что-то...

— Не надо оправдываться.

Жихович задумался. Даже лицо его обвисло.

— Особенной жертвы в этом моем поступке не было. Мне и до сих пор стыдно, что я поднес церкви негодный дар, но это правда — жертвы не было.

Рука его гладила уши Аса.

— Я был очень верующий. Больше, чем теперь. И в войну впервые влюбился. И — вещь почти несовместимая — был в подполье... Ее схватили, когда я утром пошел за сигаретами... Курите... После войны я стал ксендзом... Особой жертвы не было.

...Я брел от него и думал, что в самом деле мы все отравлены войной. Возможно, безумны. Но откуда мне было знать, кто, как и что? Хотя бы и тот же ксендз Жихович.

А вечер имел трагикомическую развязку. Довольно тяжелую и

одновременно достаточно комичную. Я пришел в свою боковушку и завалился спать. Слишком рано. И даже во сне чувствовал, как у меня болит голова. Что-то с нею в последнее время происходило. Все более тревожное и опасное.

Сон был тоже тяжелый. Та самая галерея, на которой я тогда видел тени. Молодой, светловолосый мужчина (высокий, мощные мускулы, детские глаза, такие синие, какие редко бывают на этой земле). Молодая женщина, почему-то очень похожая на Сташку.

— Я не могу, — шелестела она. — Он выдал нас, выдал друзей, выдал тебя.

— Не только выдал, — бросил он. — Присвоил все имущество восстания. Как ты могла когда-то пойти с ним?

— Я тогда не знала тебя. И я не знала, что он может...

— Он может еще и получить от короля треть за выдачу друзей, этот знатник^[80], — прозвучал глухой, но приятный голос. И я увидел, что к ним приближается сильный худой и высокий светловолосый человек.

Тут я догадался, что это Гремислав Валюжинич, инициатор «удара в спину», жена Витовта Федоровича Ольшанского Ганна-Гордислава и зодчий костела, башни которого, одетые лесами, уже возвышались над стенами.

— Этот истинствовать^[81] не будет, — сказал Гремислав. — Для него есть две очины^[82]. Одну он продаст, но за вторую зубами будет держаться, глотки грызть за свои скойцы^[83].

— Родные, — сказал зодчий, — он все же откуда-то знает о вас. И потому бегите. Пока не поздно. И возьмите с собой альмариум^[84] с деньгами. Они не принадлежат ему. Они — людские, ваши. Тех, кто восстали. Бегите. Садитесь где-нибудь на Немане на округ^[85] — и куда-нибудь в немцы. Потом вернетесь, когда снова придет ваше время, когда надо будет покупать оружие. Продажный род. Что предок Петро, который князя Слуцкого выдал, что этот.

— Кони есть? — спросила женщина.

— Есть кони, — сказал Гремислав. — Ключаюся^[86] с тобою, дойлид. Но столько ремней^[87] золота, столько камней, столько саженьных^[88] тканей — разве их повезешь в саквах^[89]?

— Возьмите часть. Остальное припрячем здесь.

— Я не хотел, — сказал Валюжинич. — Но зэлжил^[90] он самое наше белорусское имя.

— И пусть останется ни с чем, — жестоко сказала женщина. — Без меня и без сокровищ. Таков пакон^[91]. И пускай нас оттуда достанет, акрутны^[92], апаевы^[93] псарец^[94]. У него своя судьба^[95], у нас своя. А тебе, великий дойдид, благодарение от нас и от бога.

— Будете благодарить, когда все окончится хорошо.

...И вот уже падает на только что засыпанную яму огромный спиленный дуб (где я читал про такой способ захоронения сокровищ? — отмечает во сне подсознание), и вот уже и следа нет, и ночь вокруг.

...И вот уже рвутся в ночь, прочь от стен замка диким лесом два всадника. У одного при бедре длинный меч, у второго, меньшего, корд^[96]. Исчезли.

И вот худой человек поднимается по лесам башни костела. Стоит и глядит в сторону бескрайних лесов, где далеко-далеко — Неман. И тут алчная растопыренная пятерня толкает его в спину, и в глазах недоумение... Стремительно приближается земля.

И это уже как будто не он, а я падаю, как несколько лет назад со скалы на Карадаге (чудо и собственная сообразительность спасли тогда меня от неизбежного, — отмечает подсознание).

Этого чудо не спасло. Я опять смотрю сверху. И он, отсюда маленький лежит на земле, как кукла... Опять я внизу. Над трупом стоит коренастый темноволосый человек. Узкие глаза. Жесткий прикус большого рта. Сребротканная чуга^[97] падает широкими складками. А напротив него довольно уже зрелая женщина в черном.

Витовт Федорович Ольшанский и его сестра.

— Положите в корсту, в мед, — горько говорит женщина. — И в Кладно к бальзамировщику.

— Ты, может, и в костеле его положишь?

— Не только положу, но и пижмом^[98] удостою. Он строил — ему и лежать.

— Ну ясно, вы же размиловались. А то, что он справца^[99] того, что они добро мое растранжирили, что в зэшлом часе^[100]

предок Петро добыл, что я добыл?

— Изменой вы его добыли. Зэлжили имя белорусское, имя Ольшанских. И жаль мне только, что я в зэшлые часы не могла придушить его в колыбели. И тебя тоже. Потому что младшей была. И это наше общее владение, кого хочу, того и кладу. И контарфект^[101] над гробом его, бедного, безвременным повешу. И проусты^[102] над ним месяцами петь

будут, чтобы возрадовалась его душенька.

— Ну, он и тела не забывал.

— Зато ты забыл, смоковница бесплодная. Макула^[103] на нашем народе, хробок, туляч^[104]. Ты и с женщинами можешь только партаци^[105]. Так чему удивляться, что настоящая от тебя убежала? От тебя убежала бы и косорылая.

— И не боишься?

— Чего? Лепешки пагною^[106], кучи умету^[107]?

— Ой, гляди.

— Королю я донесла бы на твои проделки, да мерзачка^[108] меня берет глядеть на тебя.

И снова падает человек. И снова дикий крик. Падаю я.

Я просыпаюсь, залитый холодным потом. Настолько это живо. И не сразу понимаю, что я лежу в боковушке и меня трясет Вечерка, мой хозяин:

— Антю, вставай... Мы с кумом. И так нам без тебя скучно, так грустно. — Он всхлипывает. — Мы плачем. Вставай, Антю.

— Хорошо, сейчас. — Я понимаю, что не отвяжется и что лучше сейчас выйти, а потом незаметно исчезнуть: скорее всего они и не заметят.

Когда я пришел на хозяйскую половину, то увидел хозяйку на печи, стол, уставленный кушаньями и парюю «гусаков»^[109], а за столом кума, небольшого, лысого, как колено, человечка, и хозяина.

Поначалу я хотел уйти сразу, но потом разговор заинтересовал меня. Вечерка философствовал, а хозяйка (этого я не мог понять) тихо смеялась на печке.

— Все на свете — паразит. И муравей паразит, и пчела паразит, и овца паразит, и волк паразит, и ты паразит, и я паразит.

— Я не паразит, — возражал кум.

— А кто когда-то еще в колхозе мешок жита украл?

— Я не крал.

— Ну, все равно. Да ты погляди на себя. У всех честных людей чуприна на голове, а у тебя — плешь. И говоришь, что не паразит.

Тыкая вилкой в тарелку, несчастный кум старался перевести беседу на другие, более приятные рельсы:

— А я сало ем.

— Вот-вот! — И с возмущением: — Да честные люди — мяки-ину! — едят. А ты — сало. И говоришь, что не паразит.

Я ушел и сел на лавочку в палисаднике. Голова после сна и всего прочего болела нестерпимо. Надо было меньше курить. Надымил, как...

Ясно, что тут заболит. И эти нажрались водки. Будто несчастье это какое-то ниспослано на людей. А за окном снова высокопарная беседа.

— ...украшает траву тем, что еще недавно было высококачественной белорусской едой. Даже жалко стало. Такой продукт испортил попусту... — И после паузы: — Одного поля ягода. Что Лопотуха, что Ольшанский Ничипор, княжеское отродье, что этот юродивый отец Леонард, крыса такая.

«Надо переезжать к Мультану, — подумал я. — Иначе покоя не дадут, пьяные черти. И вообще, черт знает что. Все в округе какие-то свихнувшиеся, а все, что узнал за день, не стоит и выеденного яйца.»

ГЛАВА XV. Про новую квартиру, сбывшиеся сны и про то, как убивают человека и легко ли другому двоному сделать это

Утром следующего дня я вторично явился со своим предложением к деду Мультану. И мне понравилось у него еще больше.

— Пожалуйста, — сказал он, — мне что? Только ночами одиноко будет. Я ночами хожу.

И вот я перебрался во вторую комнату непривычно большой дедовой «сторожки». Ту, которая была особенно уютной, несмотря на запущенность. Этот уют создавали и старинные портреты, и склад ненужных икон в одном из углов, и то, что одна дверь (вторая вела непосредственно в сторожку деда) и окно выходили прямо в тенистый уже теперь сад. Если высунуться в окно, то справа был виден «первокостел» (к которому уже потом была пристроена громада более нового) с его чудесным иконостасом мореного дуба с позолоченными фигурами (равный ему мне довелось видеть разве что в Будславе).

Первым гостем был Шаблыка. Принес большую пачку бумаги: немецкие листовки и наши газеты, в которых писали о нападениях на партизан. И о расстрелянных деятелях движения Сопротивления, и о заложниках. Было даже с десятков номеров «Нашага шляху»^[110].

— Зачем ты это дерьмо хранишь?

— Надо знать, кто есть кто и кто был кто. Даже если это наглая пропаганда. Ах, Антон, сколько этой бесстыжей пропаганды в мире! Смотрел я после войны «Индийскую гробницу». Вывод: «немец ловкий парень, пройдет всюду». Какие-то там фильмы про «Агента 007» — «англичанин ловкий парень, пройдет всюду...». Тьфу! К сожалению, даже первоклассные люди иногда не всюду проходят. «Тому в истории мы тьму примеров слышим». Вот, может, что-нибудь интересное о тех «ловких» и найдешь. Хотя вряд ли: в последние дни им было не до газет... Вот достать бы газеты тех времен, когда брат Высоцкого провокатора убил. Хотя где ты их достанешь? Такой пожар прокатился...

— Ну, наверное, не все же сгорело.

Со вторым визитом явились Василько Шубайло и Стасик Мультан. И мы сразу же поспешили к лазу в подпол костела, просто квадратному отверстию, за которым ход шел вниз, как будто здесь собирались ссыпать в

бункер бульбу.

— Вы, дядя, можете не пролезть плечами, — сиплым шепотом сказал Василько.

— Пролезет. Руками вперед. Там что-то навроде ступеньки есть. До нее сантиметров пятнадцать.

Они скользнули туда, как малявки под камень. Но ничего, пролез и я: одна рука вперед, вторую под себя, чтобы ладонью подтолкнуть живот. Неприятно, когда свисаешь над пустой тьмой. Но действительно, не больше пятнадцати сантиметров до каменной площадки.

Не люблю я этих подземелий, особенно запущенных. Затхло, всюду куски штукатурки, стоят саркофаги, и в каждом чья-то бывшая жизнь. Стоящая или не стоящая этого саркофага — другое дело. И особенно мне омерзительно такое зрелище после того, как довелось увидеть «почтенный гроб» одного большого сановника былых времен. Мумия лежала в мундире при всех регалиях, но... без штанов. Штаны были суконные, и их съела моль. Стоило льстить, царедворствовать, обречь людей на самое худшее, убивать их легкой рукой, чтобы потом лежать без порток.

— Вот зодчий, — сказал Стах. — Комиссия какая-то с год назад приезжала, поднимала крышку. Как живой лежит, только усох немного.

Голоса наши гулко звучали под сводами, так что и этих могли бы разбудить. И все же я очень удивился, когда полумрак прорезала вертикальная полоса света. Неожиданно повернулась вокруг оси огромная и, как я теперь видел, непомерно толстая доска (прежде я думал, что просто на ней когда-то что-то было написано, да краска облезла), и в этом свете возникла фигура человека со свечой в руке.

— Кто там? — спросила фигура, и я узнал ксендза. — А-а, это вы?.. Каким образом вы здесь?..

Я указал рукой на лаз.

— Зачем же вы так? Я мог бы показать ход. И было бы удобнее.

— Извините, дети сказали, что второго хода нет.

— И напрасно сказали. Ну, хорошо, дети, идите, играйте.

Он указал им на потайную дверь, но мальчишки уже шмыгнули в лаз.

— Кабы мне их ловкость, — улыбнулся ксендз.

— Ее у вас и теперь хватает.

— Нет. Для некоторых вещей уже нет. Здесь, под костелом, да и под замком, целая система ходов. Говорят, есть и ход, который соединяет костел и замок. В некоторые из них я не рискую ходить. Очень редко не хватает смелости. Чаще — ловкости. Хотите, я вам некоторые покажу?

— Почему же, охотно. — Я подумал, что, может, это в чем-то поможет

моим поискам.

— Тогда пойдёмте.

Я протиснулся за ним в дыру. Это была какая-то костельная пристройка (я плохо разбираюсь в этой топографии). Жихович отомкнул низкую дверь, и глазам открылся неширокий коридор с низким сводчатым потолком. Это было похоже на пещеры Киевской лавры. Только вокруг был дикий камень, а не цементированный песок.

— И долго он тянется? — Казалось, мы прошли уже метров сто пятьдесят, и конца этому не было видно.

— До конца не доходил. Здесь есть и иные ходы, боковые, но я их не знаю. И никто не знает. Здесь во время татарского набега, где-то в тысяча пятисотом, что ли, году скрывалось все население Ольшан и окольных деревень.

— Так что, катакомбы старше костела?

— Неизмеримо старше.

Я шел впереди. Вдруг я почувствовал словно бы веяние чего-то по лицу. Пламя свечи затрепетало, тени замелькали по камням.

— Осторожно!

В тот самый момент я поскользнулся, почувствовал, что падаю, и вдруг ощутил невероятной силы толчок в спину. Такой, что я взлетел на воздух, наверное, на метр, подержался так, а потом не очень мягко приземлился в пыль, чувствуя, что ступни мои висят над пустотой.

— Езус-Мария! Матка боска Остробрамска! Матка боска Бытеньска^[111].

— Что это было?

— Колодец. Я ведь говорил — осторожно.

Я действительно едва перепрыгнул, благодаря толчку ксендза, круглый черный провал в полу. А может...

— И почему вы поскользнулись? Ну так и есть... — Он поднял свечу вверх. — Колония летучих мышей! Видите, за зиму какой блин на полу получился.

Он свесился и провис, глядя вниз. Потом взял камушек и бросил в черную пропасть. Через неисчислимые столетия оттуда донеслось будто бы звонко и в то же время будто бы и глухо: «глок». Тут мы оба, если об этом можно судить при свече, побелели.

Следующие минуты шли молча. Кое-где в стенах встречались зарешеченные отверстия под ржавыми замками.

— Ключи у кого?

— У меня, — сказал ксендз. — И от замковых ходов тоже. У меня и у

Мульгана. Дети повадились лазить. Чтобы который сорванец не свалился, решили закрыть. Хорошо вам у него? Хотя почему бы и нет? Человек он добрый, спокойный. Потомственный страж. От прапрадеда, а может, и раньше.

...Когда мы напрямик через пресбитерий^[112] пошли к выходу, органист в пустом костеле снова играл что-то похожее на «Бычка»^[113].

— Что это он?

— Я же ведь вам рассказывал. Однажды во время службы он и «Левонику» оторвал.

— И ничего ему?..

— Держу. Я ведь вам говорил: мастер на все руки. Здесь и органиста найти трудно, а этот... еще и часы костельные отремонтировал, и календарь на них — и солнечный, и лунный.

Мы медленно шли к замку. А я все не мог избавиться от мысли, почему он хотел убить меня. А может, я и в самом деле поскользнулся? Тогда что означали слова Вечерки? Знает что-то или просто пьяная болтовня?

— Ходят слухи, что вы что-то ищете? — спросил ксендз. — И будто бы вам в руки попала какая-то шифровка?

«Ясно. Все та злосчастная болтовня в машине по дороге в Езно».

Кое-как, в самых общих чертах, я рассказал ему о самом незначительном из того, что знал сам, особенно напирая на то, что ничего не расшифровал, так как мне неизвестен предмет, вокруг которого нужно эту ленту наматывать.

— Зная математику, это не так трудно, — удивил он меня, а потом еще добавил: — Литорею пробовали? А может, соединить ее с Кеплеровским принципом?

«Почему он мне сейчас помогает? — подумал я. — Что за человек? Откуда?» А он, словно угадывая мои мысли, вдруг сказал:

— Вы можете думать что угодно о том, что здесь происходило лет триста тому назад. Это и дурню неизвестно. А вот что творилось здесь на нашей памяти? Это распутать! Тогда, возможно, и тайна нашего провала всплыла бы.

— Ну, а если бы и раскрыли провокатора? Что тогда бы вы сделали?

— Христос говорил, что врагам надо прощать не до семи раз, а до семижды семи...

— И вы?

— Я, к счастью, не Христос. И даже не самый лучший из его слуг.

— Это как понимать?..

— Если бы властей рядом не было — кишки мотал бы, — вдруг сквозь зубы процедил ксендз. — За мою последнюю... Мне можно. Я — кровожадный. Я — рука Ватикана.

И я понял: этот действительно наматывал бы кишки. Не «рукой Ватикана», а своей, вот этой, способной на все. При воспоминании о друзьях и о любви, которая погибла где-то в подвалах СС и СД — кто знает?

Я ушел от него в самых растрепанных чувствах. Наши романтики прошлого столетия сказали бы, что грозные «тени, ангелы ночные» кружили над моей головой. Почему книга? Зачем две смерти? Почему четыреста убитых в войну? Каменные глыбы мне на голову? Ксендз над колодцем? Банды Бовбеля и Кулеша? Лопотуха? Бессмысленная болтовня про тени и какие-то страшные яйца?..

Тени, ангелы ночные. Кошмарный, безжалостный мир.

Я не знал, что все это — розовая детская сказка по сравнению с тем, что меня ожидало.

ЧАСТЬ II. Катакомбы, мрак, огонь

ГЛАВА I, в которой никто из «трех мушкетеров» почти ничего не знает, а тот, кто знает, не может рассказать

Май был таким, что если бы таких не бывало на земле, его бы стоило выдумать. Ночами несколько раз ласково шептались с крышами теплые, как будто парные дожди. По утрам земля курилась добрым паром через многочисленные густые ростки, а на травах висели подвески из росы: сделаешь шаг — и вдруг засверкает, заиграет, сделаешь второй — и уже в других местах вспыхивают маленькие оранжево-зеленые солнца.

Май обещал спокойное лето, добрую осень, сытую зиму, и не было, наверное, среди крестьян того, кто не благословлял бы его.

Кроме меня, пожалуй.

Для меня он был не цветением садов, которое потом укрыло теплым снегом землю, не дождями, не росами, которые пророчили роскошные животворные дни, а скорее какими-то мрачными подземельями, переходами, бесконечными катакомбами да ночными кошмарами.

Я жил, говоря словами старого анонима:

На границе света с тьмою,
На границе жизни с ямой.

А когда пришли те события — к представлению об этих лазах, ямах, провалах, подземных колодцах прибавились еще и строки (чьи, я забыл) о том, как:

В мрачном аду, где с черным
Схватился пламенный бог.

Поэтому настроение у меня было, как говорят братья-поляки, «на псы», когда где-то уже в двадцатых числах месяца я сидел на лавочке возле дома Шаблыки вместе с хозяином и Михасем Змогителем, занимаясь весьма похвальным делом: мы потихонечку потягивали «Белорусский бальзам», смешанный с божьей слезой, и закусывали из решета парниковой клубникой (пусть его бог любит, этого Шаблыку, все на свете у него есть

или «найдется»).

Гудели в золотом вечернем воздухе майские жуки. Совсем уже низкое солнце превратило Ольшанку в райскую реку света. Густые кроны деревьев неподвижно готовились ко сну.

И беседа у нас поначалу была какая-то сонная и ни о чем.

— Ты всегда это «БТ» куришь? — лениво спросил Змогитель.

— Да.

— А я исключительно «Неман».

— Да и я люблю эти папиросы, но если покурю долго — кашель. Бросать не пробовал?

— Однажды девять месяцев не курил. А тут выборы. Пива редкого в деревню привезли, «Лидского». Сушеная рыба нашлась. Ну, а я урну возил к тем, кто своими ногами прийти не может. Друзья накупили всего и на мою долю, чтобы после подсчета голосов отметить праздник. И, заразы, забыли и три пачки «Немана» купили, черти. Я намерзся за день, отвел коня, пришел, ну, и выпили. Потом закурил. И... как и не было этих месяцев.

Шаблыке этот разговор был настолько интересен, что сдох бы от скуки вместе с мухами. Поэтому мы перешли на тему, от которой, судя по нашим литературным газетам, подохли бы мухи во всем мире: на «книжную».

— Ну вот какого ты, Михась, мнения о Быкове?

— Ничего. Не выдумывает. Видно, сам нахлебался этого военного счастья по пилотку. Не то, что какой-то там пишет, как Саня баннным венником роту немцев разогнал. С танками...

Мыли, мыли косточки инженерам человеческим душ (услыхали бы они это с трибуны), и завершился разговор еще на одной личности, к которой я вообще-то отношусь терпимо.

— Ну а этот... Короткевич? — спросил Шаблыка.

— Да вроде ничего. Только чумовой какой-то, дурашный.левой рукой ухо через голову чешет... Никогда не знаешь, чего от него ожидать.

— Говорят, бабник, — сказал Змогитель.

— А о ком этого не говорят? Ты вот лучше, Антось, скажи, что ты там нарасшифровывал? — перевел нудный разговор на другую тему Шаблыка.

Я коротко рассказал про литорею. Сказал также о своем твердом убеждении, что нужная мне башня — с северной стороны, там, где были потом замурованы Слуцкие ворота. Поведал и про угол наматывания (я верил этим парням и крепко надеялся, что они, бывшие деятели партизанщины и подполья, умеют, когда нужно, зажимать язык в тиски), но сказал (прости мне, господи, этот обман), что предмета, вокруг которого

следует наматывать, у меня нет и что определение угла между осевой линией ленты и направлением написания слов с помощью транспортира мало что дает, а окончание и вовсе неясно (и это было правдой). Непонятно было и то, какую башню надо считать от угловой. Третью?

— А ты еще почеси свой глобус, — посоветовал Змогитель, — может, что-то надумаешь.

А что мне оставалось на самом деле?

Вдруг за штакетником началась дикая какофония. На разные голоса и с разной степенью отчаянья вопили «караул» десятки собачьих глоток и кто-то верещал на всю улицу:

— Убийцы! Убийцы!

Мы подошли к забору. Справа двигался уже известный мне кортеж: Лопотуха в сопровождении десятка собак. А навстречу ему шли председатель Ольшанский и бухгалтер Гончаренок. И чувствовали себя, по всему было видно, как две мухи в миске с кислым молоком. Все делают выводы, все видят, а удовольствия никакого.

— Убийца! — горланил Лопотуха.

— Почему, Людвик? — спросил Ольшанский.

— И вы! И вы! Убьете меня! Спрячусь!

— Почему я убийца? — спросил и Гончаренок.

— Потому!.. — И, обратившись к Ольшанскому, снова завопил: — Бычков убиваешь? Теляточек! Овечечек! Спрячусь!

— Иди, Людвик, — грустно сказал председатель.

Но сумасшедший, заметив нас, уже переключился на меня:

— Ага, к правде идешь. Тем скорее свернешь голову. Обсели уже тебя, обсели. И бац ^[114] тебе не поможет. Бац в сутане. Вот Бовбель, Бовбель придет. Пришел.

И мы, и те двое рванули от него так, словно он размахивал ведром с кипятком.

Чуть отдышались, пока перенесли остатки «Бальзама» и решето с клубникой на другой, садовый столик за домом.

— Ну, джентльмены, — спросил я, — как самочувствие? И что сей сон вообще должен означать?

— Не знаю, — сказал Шаблыка. — Может, на самом деле рехнулся человек. А может... уж очень удобный способ замаскироваться.

— Ну, это ты брось, — сказал Змогитель. — Здесь тогда такое творилось, что и самый здоровый человек свихнулся бы. А у этого, видимо, психика была слабая. Хорошо еще, что богу душу не отдал.

— Как это все было? — спросил я.

— Ну, в мае сорок четвертого по приказу Гиммлера, как известно, была образована «kommanda 1005», — стал рассказывать Шаблыка. — Уничтожение следов всего, что они тут натворили. «Акции санитарные». Смертный приговор деревням и хуторам, где могли быть свидетели. Нам еще повезло. Не успели уничтожить, слишком поспешно лыжи подмазывали. Но выселить людей — выселили. В лес. А акты эти, о массовых экзекуциях, были подписаны. Был тут такой шеф Кладненского округа гестапо. И подписывал он их как «Przewodniczacy sadu gestapo». Председатель «суда» гестапо... Ну и начали по округе машины рыскать. А в машинах — наши из леса следили за ними, — а в машинах СС — оберштурмбаннфюрер, доктор права (как будто может быть какое-то право в стране бесправия) и он же, упомянутый шеф Кладненского гестаповского округа, некто по фамилии Гештербер, да с ним какой-то штандартенфюрер, полковник, значит. Да оберштурмфюрер Зейтц с помощником унтерштурмфюрером Штофхеном (пусть земля ему битым стеклом будет, такая сволочь). Ну и в других машинах помельче, шарфюрер Линц (этот охраной руководил) и почему-то фон Эйхгорн, майор тодтовских частей, военно-строительной организации. Ясно, что не строить они что-то тут собирались, а прятать... А может, искали какой-нибудь овраг, чтобы меньше было работы по засыпанию...

— И документов нет? — спросил я.

— Искали мы их несколько лет назад. Потому что наши люди иногда все же прокрадывались в деревню взять что-либо из вещей или еды немного из тайников и хочешь не хочешь, а кое-что видели.

— Кто, например?

— Мультан. Органист. Да мало ли кто еще... Ну вот. В середине июля подступили наши. И тут снова началась катавасия. Этой акцией руководил уже комендант Ольшан граф Адельберт фон Вартенбург.

— Случайно, не из тех? Не родственник того Йорка фон Вартенбурга Иоганна-Людовика, что с генералом Дибичем в 1812 Таврогенскую конвенцию заключил? — спросил я. — Ну, что немцы с расейскими войсками будут против Наполеона воевать.

— Угу. А еще раньше, в 1778-89 участвовали в войне за Баварское наследство. Не прямые наследники, а, кажется, от троюродного брата.

— Ты откуда знаешь?

— А я был в партизанах, затем не только по подозрению в «бандитизме» в гестапо сидел, я в гестапо некоторое время переводчиком служил. Потом опять в партизаны ушел.

— Как?!

— А так.

— Ну и что?

— Сам видишь. Не с белыми медведями воспитательную работу веду, а с юношеством. Значит, ясно, как я немцам наработал.

— Н-да, — впервые отозвался Ковбой, — не жизнь, а слоеный пирог: лес — переводчик в гестапо — подвальный подопечный гестапо — выкуп — снова лес.

— Ладно, кончай. Ну вот. А с графом — Франц Керн из айнцацштаба, из ведомства Розенберга. Грабеж ценностей. Значит, и их вывезти не смогли, потому что кольцо почти замкнулось... А с ними штандартенфюрер Зигфрид (фамилии не знаю) и — держись за что-нибудь, упадешь — последний Ольшанский, старик Юзеф-Ксаверий.

— Он, говорят, вскоре умер? — спросил я.

— А я думаю, его умерли, — сказал Змогитель. — Могло быть и это.

— Как так?

— А ты что думаешь, — продолжал Шаблыка, — Вартенбургу и Керну нужны были лишние свидетели? Так вот, вваливаются тогда в Ольшаны и сюда под непробиваемой охраной несколько «оппелей», два «даймлер-бенца», одна машина системы «монти» (день п...т — год на ремонте) с эсэсманами и три легковушки: «бээмвешка» синяя, «оппель-капитан» и «мерседес» с генералом. И почти во всех машинах какие-то сундуки, тюки, обшитые брезентом и клеенкой рулоны. А возле одной все время крутится, размахивает руками и распоряжается старик Ольшанский, а на остальные и плюнуть не хочет... Ну, а потом погнали колонны заключенных и просто мирных... Эсэсманы своими «вальтерами» и «манлихерами» трясут, блокэльтестеры, блочные старосты, да блокфюреры палками размахивают: а может, за усердие, радение да старательность не будет им последней ямы. Потому что предчувствовали, ой, предчувствовали все. Как хорошая собака — землетрясение или пожар. Хрена им с маком, этим старостам, — не обрекли их немцы на иное. Там и наши были в полувоенной форме — Мультик видел. Несколько человек. Но далеко было, не узнаешь в лицо. А ведь наши, гады.

— Какая эпоха, такие и таланты, — с черным юмором сказал Змогитель.

— Ты бы, Миша, и о других талантах нашей эпохи вспомнил, — сердито проворчал Рыгор.

— И вспомнил бы, да те забыть не дают.

Уже довольно густые сумерки легли на деревню, речку Ольшанку, леса и громоздкий черный силуэт далекого замка. Шаблыка вздохнул:

— Ну вот. Мультиан в лесу сидел. Видел, как разгружали ящики, как волокли куда-то.

— Он после войны их даже искал. Щупал лопатой дно замкового озера. «Ил, — говорит, — засосал», — процедил Ковбой.

— А я считаю — напрасно там искать, — сказал Шаблыка. — Думаю, не в речушке ли под замком, там промоины у берега. Или, вернее всего, где-то в катакомбах. Потому как там и дьявол ногу сломит. Потому что их до конца никто не знает. Знал только старый Ольшанский, у него был старинный план.

— Кто видел? — вздохнул я.

— Лопотуха.

Я очень удивился.

— Он года два — до тридцать девятого — в замке библиотекарем работал. Куда было деться белорусскому хлопцу, пускай себе и с университетами.

Помолчал.

— И вообще он чересчур много видел. Можно сказать, смертельно опасного для жизни. И последнюю «акцию» видел. Бредит, лопочет, а смысл какой-то есть. Я вот только не знаю, или он ее тоже наблюдал откуда-то, или был в колонне смертников. Я из отдельных слов этого его лопотания, его бляения нарисовал для себя такую картину, может, и неверную.

— Какую? — спросил я.

— Видел он все это, но не до конца. Пленные волокли ящики до взгорка (там озеро с одной стороны, а речушка, ров и замок — с другой). Потом смертникам глаза завязали, повели туда, а через пару часов, снова с завязанными глазами, отвели обратно. И в лесу — залпы. Живые сносили мертвых в кучи. И тут или Лопотуха испугался (он, видимо, уже и тогда был — того...) и оставил наблюдательный пункт, или ему удалось чудом убежать. А остальных положили там, на горке. Где похоронены — знаешь.

— А кто знал и знает, где они то спрятали?

— Ну, наших туда не пустили. Вартенбург под бомбы угодил в Дрездене, а «искусствоведа» Керна наши в Белостоке потом публично повесили.

— Вот оно что, — вздохнул я. — Получается, никто не знает, что прятали, где и как.

— Косвенно догадаться можно: архив, награбленное и еще личное имущество Ольшанских. То-то замок пустовато выглядел, когда мы вошли. А кто знает? Лопотуха знает. Да это все равно, как если бы собака знала. Не

говорит... И никогда не скажет.

— А может так случиться, что наступит просветление?..

— Вряд ли, — сказал Змогитель. — Что могут дать беспорядочные бормотания вроде: «И вы... Убьете меня... Убийцы... Завещание их там». Если и есть где-то там завещание Ольшанского и княжеские грамоты да подтверждения магнатного достоинства, то кому они сейчас нужны? Последний, последний Ольшанский волей божьей «умре».

Да, веселого было мало. Мы сидели уже почти впотьмах, и такая же тьма была в наших мозгах. Я вспомнил про свое обещание Хилинскому и первый нарушил молчание.

— Хлопцы, а что оно такое — Бовбель? Это я для одного там человека. Он и сам немного знает, но ему интересно, что знают, как смотрят на это тут, на месте?

— Кгм... — Змогитель бросил в рот ягоду. — Это, брате, знаменитый бандит. Терроризировал с бандой всю округу в 45-47-м годах. Два их тут таких было. Он да Кулеш. В оккупацию «партизанили». А по правде их «партизанство» в основном сводилось к тому, чтобы разжиться харчами да коня или кожух у кого забрать. Ну, врать не буду, нападали иногда и на немцев. Посты снимут, комендатуру подожгут, мост однажды спалили, два эшелона под откос раком поставили. Еще пока такое было — терпели. Но перед освобождением бывали у них уже стычки и с нами. Почти как анархисты в гражданскую: «Бей справа — белого, слева — красного».

— Да, — сказал Шаблыка, — по сорок восьмой год у нас был ад. Из-за них. Возвращаюсь однажды ночью с собрания — гляжу, кто-то сигарку курит за кустами. Ясно, засада. Ну, я «вальтер» из кармана, крадусь, думаю: «Это еще кто кого». Подошел ближе — тьфу ты, мать-перемать... Светлячок! Обычный светлячок!

Посмеялись. И снова Шаблыка:

— А бывали и в самом деле засады. Очень охотились. За всеми, а за мной почему-то особенно.

— Может, боялись?

— Сам так думаю. Возможно, в банде был кто-то из коллаборационистов. А я мог его случайно знать, потому что какое-то ведь время «немцам служил». Мог опознать. Вполне возможно, что по этой причине и охотились... Ну, не добыли, и хорошо. А потом милиция, да «ястребки», да обычные люди, которым он хуже гнилой редьки осточертел, начали его гонять, прижали к болоту и — каюк. Сам Бовбель, кажется, убит.

— Почему «кажется»?

— Никто из наших его в лицо не знал, а «евонные» все полегли.

— Так никто и не знал?

— Впотьмах его видел только какой-то Щука. Кажется, в чинах теперь. В Минске живет. И еще — Гончаренок.

— Гончаренок?!

— Да. Бовбель послал одного своего хлопца провожать Гончаренка «в последнюю дорогу», да, видать, малоопытного. А у Тодора в кармане махра была... И вторая ошибка — рук ему не связали... Он после этого в болоте два дня сидел, а потом ночью в Ольшаны пришел и от жены узнал, что Бовбеля накануне разбили вдребезги.

— Никогда бы не подумал, что он настоящий мужик, — покачал я головой. — Экий ведь пьянчуга, вечно от него перегаром разит.

— Он, говорят, и пить начал с того времени. А вообще-то, мужественный не мужественный, а гаденыш он, этот Тодор Игнатович, — заключил разговор Шаблыка.

Я понял, что он не может простить бухгалтеру, который спровоцировал Ольшанского устроить покушение на замок.

Я поднялся.

— Давай проводим его, — предложил Змогитель Шаблыке. — А то столько страшного наговорили, что наше дитятко, прежде чем бай-бай в люлю, еще дорогой согрешит в штанишки.

Мы посмеялись и втроем двинулись со двора. Луна, которая только-только начала истаивать, заливала неверным светом пыль улицы, утопанные пешеходами «тротуары», темные садики. Шлось и дышалось легко.

— Н-да, — сказал я, — земляца у вас с фокусами, страшноватая. И на каждом шагу фордыбачит, как необъезженная кобыла.

— А это потому, — сказал Шаблыка, — что мы на себе ездить никому не позволяли.

— Наоборот, сами старались кому-то на спину влезть, — усмехнулся Ковбой. — Только не всегда это удавалось... Свела меня однажды в Литве сразу после войны судьба с одним таким сверхпатриотом. Я сам Беларуси на мозоль наступить никому не дал бы, но тут уж даже меня малость тошнить начало. «Наш Витовт мечом в ворота Москвы стучал» (будто я москвич). Ну, я ему спокойно: «Стучал, да не достучался». Потому что, и правда ведь, не открыли. Да и вообще, малопочтенное это занятие — в чужие двери стучать. У нас только однажды подобный случай был со вдовой да пьяным Высоцким.

— Вот-вот! — спохватился я. — Про вдову потом. А вот... вы ведь все

время тут... Может, знаете, за что расстрелян немцами в Кладно Владак Высоцкий, троюродный брат вашего ездового?

— Очень темное, совершенно запутанное дело, — сказал Шаблыка. — Никто не знает. Я уже и сам искал для школьного музея. Может, какой-то новый герой неизвестный? Нет, полный мрак. Архив немцы, видимо, сожгли или спрятали. Может, какие остатки-отписки в столичном сохранились, надо бы поискать...

— А что это за история со смертным приговором Крыштофу Высоцкому, который поляки привели в исполнение? В 39-м?

— Эта история тоже темная. Говорят, убил провокатора. Но тогда до этого мало кому было дела. Войной попахивало. Может, в Минске поискать? Или в Вильно. Потому что в Кладно судебные архивы дымом изошли... Послушай, что мне пришло в голову. Надо таки распутать это дело. Найти свидетелей. Может, помогут разобраться и в нашей Ольшанской головоломке.

— Почему?

— А ты не знаешь, кому было поручено выполнить приговор над Крыштофом и еще десятью?.. Оберштурмфюреру Штофхену с подчиненным шарфюрером Линцем.

— Ну и что?

— А то, что эти два быдла участвовали и в акции уничтожения наших в Ольшанке. Штофхен — один из тех, кто руководил расстрелом на гребле, а Линц возглавлял охрану операции. Эх, память твоя кошачья.

Я был абсолютно согласен с ним и решил сегодня же вечером все записать по горячим следам. Мы как раз проходили мимо хаты Гончаренка и в раскрытом окне между двумя вазонами с «Аленкиными слезами» [\[115\]](#) увидели его иссеченную мелкими морщинками рожу.

— Крапива в цветах, — прокомментировал неисправимый Змогитель.

— Эй, друзья, — позвал бухгалтер, — уж если идете мимо, то почему не заглянуть?

И я, сам не зная почему, свернул к крыльцу. Остальные, без особого желания, нога за ногу, потащились за мной.

Хата была как хата. Большая комната, одновременно «гостиная» и «столовая», если придут гости. Тахта, над ней коврик с оленями и замками, буфет, стол и стулья. Несколько дверей. В одну такую дверь Гончаренок нас и повел. Оказалось — кухня.

От обычных кухонь она отличалась полкой, на которой стояли вещи, совершенно неожиданные и неупотребимые в домашнем хозяйстве. Так сказать, «полка украшений». Был там старый чайник-самовар для варки

меда с травами, очевидно, давно нелуженый, а потому непригодный, старинные пивные кружки (одна с ручкой в виде фигуры черта), разные кувшинчики, очень старые спарыши^[116], горшки и крынки. И совсем уж странная вещь: очень старый пестик для ступки. Может, аптекарский, потому что на нем были не только медные «лепешки» на обоих концах, но и утолщения посредине (чтобы удобнее было размешивать отвар из густо засыпанных в кипяток трав). Пестик, как пить дать, тянул лет на триста с большим гаком.

— Старинная какая вещь, — сказал я.

Гончаренок тем временем налил из одной большой бутылки (их стояло множество вдоль стены) в кувшин какой-то жидкости и наполнил ею стаканы.

— Присаживайтесь. Свой мед, питьевой.

Я глотнул и чуть не задохнулся. Мед варили, видимо, не только с гвоздикой, корицей, перцем и мускатным орехом, но и на чистом спирте.

— Ну, Тодор Игнатович!.. — едва отдышался Шаблыка. — Если вы каждый день пьете такое...

— Что, мочимордой прозвали? — усмехнулся бухгалтер. — А вы меньше верьте. Прополощу рот для дезинфекции, все уже и говорят: пьет.

«Брешет», — подумал я.

А Гончаренок со всегдашним своим язвительным добродушием (а человек инстинктивно не верит в такие сочетания) добавил:

— Водки не пил, пива не любил, потому и карьеры не сотворил.

— А что, — сказал Змогитель, — похоже на правду. Я однажды в Новогрудке зашел в ресторан. Через какое-то время и он заходит. Меня не заметил. Сел за столик, дает официантке заказ, а потом говорит: «И десять граммов водки». У той глаза на лоб полезли: «Почему?» А он: «Да мне только для запаха, а дури у меня и своей хватает».

Все захохотали. А Гончаренок, как мне показалось, вынужденно, не совсем естественно.

Почувствовав, что тема разговора ему почему-то неприятна, я снова перевел беседу на пестик:

— В музей бы его.

И вдруг он совершенно неожиданно взбеленился, хотя очень быстро взял себя в руки:

— Что вы ко мне с этим пестиком?! Оди-ин, второ-ой. Если и отдам, то действительно в музей, а не вам и не ему.

— Кому — ему? — Мне почему-то захотелось взять его нашармака, блефануть. — Ольшанскому? Высоцкому?

Показалось мне или нет, но, по-моему, он слегка смутился.

— Да, Высоцкий пристал, как банный лист...

«Опять Высоцкий, — подумал я. — Всюду Высоцкий».

Но Гончаренок только рукой махнул:

— Высоцкий... Отдай да отдай, все равно ступки у тебя нет, а у меня есть.

— Что за ступка?

— Да совсем молодая, лет ей, может, восемьдесят. А я ему пестик отдай. Почему ты, говорю, мне свою ступку для полного комплекта не отдашь? Моя, говорит, новехонькая, а твой пестик давно ярь-медянка поела. А мне пригодится. Может, отполирую — как новый будет.

Я взглянул на пестик — он был сплошь в малахитовом налете. Местами ярь даже выела на нем небольшие оспины.

— Отдай, отдай, — ворчал Гончаренок, — всем нужен, только не мне. Одному отдашь — второй обидится. Нет, пускай пока у меня полежит.

— Как хотите.

— Высоцкий... Высоцкий... Ясно, дел мало, вот и сует нос, где другим немило. Только какой-нибудь старик станет рассказывать, как оно бывало, — этот уже тут, самый благодарный слушатель. Когда органист «дзыгар»-часы ремонтировал, механизм да циферблат, так он все время возле него торчал. Однажды и меня затащил. Любопытство, видите ли, его одолело. Присматривался: «Может, и самому когда доведется». Делать нечего, вот и лезет.

Через несколько минут мы распрощались и ушли, отказавшись от второй чарки «меда».

...Но пускай меня гром поразит на божье рождество, если наши приключения на этом кончились. Мы подошли к замковым воротам, и тут мне стукнуло в голову:

— Хлопцы, давайте заглянем. Может, они, эти «пани с монахом», и сегодня появятся.

Немного подогретые «медом», они согласились. И вот мы довольно шумно ввалились в загаженный двор. Луна освещала его наполовину, лежала на башнях костела, на стенах.

...И вдруг я, взглянув на галерею немного правее, чем в прошлый раз, заметил их.

— Хлопцы, вон они!

— Где? Ничего не вижу, — сказал Шаблыка. — Ой, нет, действительно «они».

По галерее, видимо, уже заканчивая свое ночное шествие, двигалась

темная длинная тень и тень светлая.

Секунда... третья... — исчезли.

— Ну, сами видели. Что бы это могло быть? — спросил я.

— А дьявол меня вражий возьми, если я знаю, что это, — проворчал Змогитель. — Мистика какая-то, так оно и так, чек твою дрек.

— Ну, — вздохнул Шаблыка, — за судьбу молодого поколения можно не беспокоиться. Учитель белорусской изящной словесности болен мистицизмом и ругается, как босяк.

Оставив замок, мы пожали друг другу руки и разошлись. Я пошел домой напрямик вдоль замковой стены. Здесь было темно, лунный свет падал только на Ольшанку и на парк за нею. И пересекали этот оливковый свет только черные тени башен.

И тут, словно мне мало было на сегодня странностей, я услышал справа, как будто из самого нутра стены, поначалу какое-то невнятное «бу-бу-бу», а потом не менее бессвязные слова.

Я поднял голову — в бойнице нижнего боя тускло вырисовывалось белое пятно. Лицо. И на этом нечетком пятне дергалось нечто темное. Рот. И все же, прислушавшись, я разобрал.

— Отойди. Отойди... Мой дом, мой замок, моя крепость. И что над нею — мое... И под нею... Я вам дам, душегубам, я вам дам циклон... Людоеды... Фашистюги клятые... Жить хочу!.. Жить!.. Детки глядят, просятся... Стерегу, стерегу их!.. И тайну стерегу... Изыди!..

Я невольно ускорил шаг, лишь бы не слышать этого полоумного бормотания, и пока не вышел на озаренный луной берег пруда, вдогонку мне неслось:

— Бу-бу-бу-бу...

Подходя уже к племени, я подумал, что да, возможно, это и безумие, но какое-то уж очень осмысленное. Удобное для человека безумие. Лопотуху пока нельзя было вычеркивать из списка. На него пока еще тоже падало подозрение.

ГЛАВА II, в которой я слишком много болтаю и, вопреки логике, жалею провокатора

Едва я успел переступить порог своей квартиры (я приехал на пару дней к родным пенатам), едва снял рюкзак, как в нежилом моем помещении забренчал звонок и я увидел в дверях лицо «Мистера Смита с Бобкин-стрита».

— Я на минутку к тебе... На вот, здесь копии с твоих полос и с тех букв, которые не расшифровал. Думай. Только хорошо припрядь. А книга пусть пока останется в Щукином ведомстве. Так надежнее... Э, брат, да ты что-то совсем исхудал на деревенских харчах... Так вот, приходи в восемь чай пить. Щука тоже будет.

— Спасибо. — Я едва успел это сказать, как он уже испарился.

Одну половину копии я засунул в тайник, вторую — в десятый том третьего издания произведений Ленина, стр. 492, где «Белорусская социалистическая громада». То же сделал и с другими полосами: в «Материалы по археологии», издание АН за 1960 г., в воспоминания А. фон Тирпица, в «Антологию белорусского рассказа», т. II, стр. 289.

Если во время моего отсутствия кто-то и сделает дотошный обыск, то черта с два перетрясет все книги.

При этом я вспомнил, как однажды с друзьями мы зашли к знакомому — талантливому бездельнику, и увидели, что вокруг книжный развал, а хозяин лихорадочно листает какой-то том.

— Ну, вот тебе. А мы хотели предложить сбегать за пивом... А ты... Да, видать, ты работать начал.

— Э-э, — с досадой отмахнулся он. — Какая тут работа... Спрятал вот от жены сто рублей в книгу и забыл, в какуюю.

Хохотали мы тогда все, как гиены.

Ровно в восемь я осчастливил соседа своим визитом. И чувствовал бы себя совсем хорошо, если бы не увидел на тахте рядом со Щукой еще и лейтенанта Клепчу, которого по известной причине я не уважал и уважать не собирался. Терпеть не могу «неуклонности», «проницательности» и откровенного любования собой. Да и вообще он тупарь.

Хилинский, поставив на стол стаканы, розетки, вазочки с тремя сортами варенья и все такое прочее, разливал горячий, почти черный, с бордовым отливом чай.

— Послушай, может, ты вначале поешь чего. Есть цыпленок, можно

подогреть. Оливки.

— Да нет. Сыт.

— Тогда пей чай. Рассказывай.

— Только слишком в психологию не лезь, — предупредил Щука. — Эта дама у нас редко ночует.

Я рассказал обо всем, что успел узнать. Боюсь, что болтал довольно долго и бессвязно, но они слушали внимательно.

— Кончил? — спросил наконец Щука. — Насчет тех, что расстреляны, — это интересно. Знали мы про расстрел, а про обстоятельства, которые ему сопутствовали, к сожалению, мало. О покарании смертью брата Высоцкого за подполье — тоже ничего не знаем. Только имя — Владак Высоцкий. А о том, кого поляки в тридцать девятом осудили на смерть, — ну, об этом также не намного больше знаем.

— Архив сгорел, — сказал Хилинский. — Но слухи, что убит был провокатор, — они были. Вот портрет того, Крыштофа.

— Немного похожи, — сказал я. — Вы не могли бы мне сделать копию?

— Бери, — сказал Щука. — Это и есть копия. Неважная. Но и фотография была плохая... А еще возьми вот... Едва отыскал.

Это было несколько газет, порыжевших от старости и потертых на сгибах. И сразу в глаза бросились слишком крупные заголовки (для полумещанского тогда Кладно это была, понятно, сенсация, взрыв бомбы). Заголовки кричали, обещая раскрытие преступления в вечерних или завтрашних номерах. Тех номеров, к сожалению, не было.

«Убийца пойман!»

«Двойник пойдет под суд!» (Это еще что? Какой, к черту, двойник?)

«Он убил осведомителя», — говорит помощник прокурора".

«Предположения или правда?»

«Читайте в следующем номере!»

Следующих номеров не было.

— Их и не могло быть, — понял Щука мой недоуменный взгляд. — Через две или три недели немцы состряпали провокацию на радиостанции Гляйвиц. Что это означало?

— Войну с Польшей.

— И не только. Это еще и бомбежка Кладно, и наш поход в Западную Белоруссию, и два, да нет, относительно Кладно — четыре огневых вала. Фронты. И город горел, и архив сгорел. Частично, может, забрали немцы. А остальное сожгли. Весь квартал вокруг архива сгорел.

— Откуда же тогда знают о казни Крыштофа?

— Две отклоненные апелляции о помиловании, — сказал Хилинский. — Говорят, больно уж жестоко убил, если даже и провокатора. Ну и потом в некоторых газетах и еженедельниках промелькнуло сообщение, что приговор исполнен. Не знаю уж, кто их на грани войны информировал. Я только помню заметки в журналах «Gazeta Polska», «Polska zbrojna» (ну, это санационные подтирки) да еще в «Czas'e»^[117] (это консерваторы краковские). В газетах сколько ни искал — не нашел.

— А в более поздних?

— Их не было. Белорусская пресса в Западной только создавалась, и руки не доходили, чтобы о старом балабонить. О новом нужно было говорить. А всю польскую прессу оккупанты ликвидировали. Только потом стала появляться «godzinowa». А подпольная пресса, хотя и начала существовать уже в октябре 39-го, но и ей на историю с Крыштофом Высоцким было... Вот ты этим займись.

И тут впервые подал голос Клепча:

— Поработайте. Историко-революционное прошлое — интересная штука. И весьма полезная. Воспитывает людей. Молодежь... В духе, так сказать...

Щука поморщился:

— Черт вас знает, как вы любую мысль, даже самую правильную, одним своим казенным стилем способны испаскудить и опошлить.

Клепча покосился с явной враждебностью почему-то на меня, а не на Щуку. Я думаю, причиной тому был графический анализ, который доказал, что записка, вызвавшая Марьяна из дома навстречу смерти, была написана не мной, а тем самым и гипотеза Клепчи была подрублена под корень и шлепнулась в навоз. Щука незаметно подмигнул мне...

К счастью, Клепча скоро ушел. Мы некоторое время довольно-таки угнетенно молчали. Наконец, Щука сказал:

— Ты, Адам, текст одной офицерской аттестации знаешь? Доподлинный, провалиться мне в Австралию... Хочешь повеселю?

— Ну. Валяй.

— Так вот: "За время службы проявил себя как грамотный, но недостаточно дисциплинированный офицер. Как летчик подготовлен хорошо. Летных происшествий и предпосылок к ним не имеет. В общественной жизни никакого участия не принимает. Уставы и наставления... знает хорошо, но в повседневной жизни ими не руководствуется, так как нарушает воинскую дисциплину. Имелись случаи самовольного ухода со службы. По характеру упрям. На замечания реагирует болезненно. В обращении с товарищами и старшими вежлив. В

быту опрятен, по внешнему виду аккуратен. В вопросах внутренней и внешней политики... разбирается правильно. Государственную и военную тайну хранить умеет.

Вывод: занимаемой должности соответствует".

Помолчал.

— Ну, так «соответствует ли Клепча занимаемой должности?..»

— Ну, повеселил ты нас, — сказал Хилинский.

— Учти, настоящий документ.

— Так вот, уважаемый Андрей Арсентьевич, — сказал Адам. — Характеристика малость хромает. Не совсем он такой. Не летчик. Достаточно дисциплинирован. В общественной жизни участие принимает (даже там, где не просят). В повседневной жизни уставами и наставлениями пользуется (их буквой, а не духом) слишком старательно, аж блевать хочется. Дисциплину не нарушает. В самоволку не ходит. Упрям, но старшим податлив. На разумные замечания никак не реагирует... «Занимаемой должности»... Ох, придется тебе, друг, взяться за него, иначе он таких дров наломает, что щепки полетят... А ты что скажешь, Космич?

Я не хотел, чтобы мое искреннее убеждение посчитали за личную неприязнь, и потому ответил уклончиво:

— Говорит газетными штампами, но на самом деле значительно умнее, хотя даже по внешнему виду не кажется, что по утрам распевает в нужнике разные там... хоралы.

Засмеялись. Потом я спросил:

— Так кто был тот, убитый? Ну, «provokator» тот? Или осведомитель, как его?

— Сын лесника откуда-то из-под Замшан, — ответил Щука.

— Это в пятнадцати километрах от Ольшан?

— Да.

— Мало надежды найти, — подумав, сказал я. — Сколько лесников в деревни переселили, на другие места перевели. А сколько немцы расстреляли. Вероятность встречи — нуль... Но попытаться нужно.

Я попытался. И случилось чудо. Бывший лесничий Андрон Сай по-прежнему жил, точнее, доживал век в том же самом лесничестве возле Замшан в урочище Темный Бор.

День уже клонился к вечеру, когда я слез с автобуса и углубился хорошо утоптанной, хотя и немного затравенелой стежкой в лес. Поначалу прозрачный, пробитый насквозь розовыми лучами солнца, он с каждым шагом становился все темнее и темнее. Кое-где даже переспелые сосны стояли так густо, что солнечные лучи, путаясь в них, с трудом высвечивали

то медный — не обхватить — ствол, то выворотень величиной с хату, темный и лохматый, как медведь (если вообразить такого, небывалого по величине, медведя).

В начале пути изредка попадались крестики заячьей капусты, пестрый копытень, плети завильца-дерезы, но затем они уступили место упругой иглице, что накапливалась здесь десятилетиями.

«По-видимому, заказник», — подумал я, и позже выяснилось, что был прав.

Темнее и темнее. Тропинка уже чуть видна. Зашелестело что-то в траве. Еж? Или мышкует куница?

Мне стало совсем неудобно, — и это всего в каком-то километре от дороги, — когда впереди вроде бы немножко прояснилось. В довольно густом сумраке я увидел то ли маленькую речушку, то ли большой ручей, который левее расширился не то в пруд, не то в естественный ставок, окруженный венком из темных в это время верб.

Немного правее ставка, чернее стены леса, виднелись какие-то строения. И вдруг на одном из них блеснул оранжевый тусклый прямоугольничек. Окно.

Я перешел ручей — два бревна с шаткими перилами — и напрямик направился в сторону огня. Редкими привидениями проплывали мимо меня белоствольные яблони и мрачные высокие груши.

У крыльца — хоть ты его в панский фольварк (широкое, с деревянными столбами-колоннами, поддерживающими навес), — откуда-то из темноты бесшумно выдвинулись две черные тени. И почти тотчас открылась дверь, а на пороге в пятне света появилась фигура человека с ружьем в руках.

— Это еще кого нечистик ночами носит? — раздался хриловатый голос. — Вар^[118]! Ветер! Лечь. Так что вам надо?

— Я — Антон Космич. Из города. Мне нужен лесник.

— Ну, я лесник. Сальвесь Тетерич.

— А Андрон Сай?

— Это мой тесть.

— Женились на его дочери? — спросил я, как будто человек может нажать себе тестя каким-то иным способом.

— Угм. На Ганне.

— А тесть где?

— Так он на покое теперь. Только какой там покой? Каждый день «вечерний обход» делает. Совсем как ребяенок. Да иногда на могилке сына посидит.

— Слышал я эту историю.

— Бывают просветления, но не часто. — Он говорил по-прежнему сухо. Не осмыслил подтекста моих слов. — Дочь тоже была свидетелем, но теперь на Нарочи в санатории. А я что знаю? Я примак, человек посторонний.

— А мне и нужно попытаться распутать эту паутину.

— Было такое, — опять сухо и спокойно заговорил он. — Был у нее брат... И что был провокатором, ходили такие слухи. Но это я мог бы такое говорить, — голос его все повышался и вдруг сорвался чуть не на крик. — Сам про свою семью я волен говорить все. Тут я себе пан. А всякого другого, кто вздумает нагло повторять гнусное вранье, я смогу оборвать в секунду. Чем околачиваться под чужими заборами — занимались бы делом. Отваливай, пока не попробовал, что такое заряд крупной соли в ж... Целуй пробой и шагай домой.

Псы, услышав гневную интонацию, встали. Уставились на меня. Слева здоровенный гончак, черно-рябой, в подпалинах, с широкой головой и тупой мордой, мощного сложения, а роста — минимум восемнадцать вершков. Справа — тоже здоровый, но немного меньше, чем собрат, всего сантиметров восемьдесят, кобель, серо-рябой, поратый^[119]. Мне стало не по себе.

— Не дрейфь, — с оттенком презрения сказал хозяин, — не дрожи. Пока не скажу — не кинутся.

— А я и не дрожу. — Хозяин, по-видимому, был удивлен моим нахальством, потому что я достал сигарету, протянул пачку ему (он не взял), сел на крыльцо и сказал: — Здесь вот этого, серо-рябого, нужно бояться. Кому-то, конечно, другому, но не мне.

— Почему? — насмешливо спросил Тетерич. — Он ведь меньше.

— Порода злая.

Довелось мне когда-то в одной из работ писать про собаководство в древней Белоруссии. И, кажись, это был один из немногих случаев, когда такая отвлеченная материя пригодилась мне в конкретной жизни. Отсюда вывод: абстрактных, ненужных знаний нет. В жизни может случиться, что только знание того, какой чешский король разбил монголов, спасет твою голову, и тогда ты от радости и Кузьму батькой назовешь.

— Это какая же такая порода?

— Это вандейский грифон, — сказал я. — Порода от «брака», так сказать, вандейских гончих с бретонскими грифонами (видишь, от них рыжей масти и у этого подпалины есть). Страшно злые. Для охоты на диких кабанов лучше не найдешь. Ну и на волка почти всегда первые...

Сальвесь вдруг сел рядом со мной и вытащил сигарету.

— Ну, а этот, эти — добрые к людям. И удивляюсь я, где это вы, лесник, и, по-видимому, хороший егерь, две такие редкие породы добыли? В Минске мне встречать не доводилось.

— Удалось чудом, — хозяин явно подобрел.

— И в самом деле чудеса на колесах. Таких брудастых^[120], как ваш Ветер, мне не доводилось видеть. А Вар! Это же стэг-хоунд, или оленья гончая. В прошлом столетии даже Сабанеев Леонид Павлович (а он охоту и собак знал, как никто, и я скорее богу или себе самому не поверю, нежели ему) насчитывал в Англии — и только в Англии — всего двадцать стай, или свор, потому что каждая с одной сворки, с одного смычка спускается.

— Ну, может, с тех пор развелись.

— И то правда. Только вот слишком он рослый для стэг-хоунда. Не повязали ли какого-то там из его предков с гончей святого Губерта. Он злобный, а голос низкий, сильный?

— Все это есть. А рост? — хозяин уже совсем оттаял. — Может, акселерация не только среди людей идет.

— А где все же старик? — забеспокоился я.

— Придет. С ним на этот «вечерний обход» всегда мой Горд ходит, ньюфаундленд. Даже притащит в случае чего.

— Да у вас тут чистопородная псарня.

— Да еще Джальма, легавая, выгла по-нашему. — И вдруг взгляделся в меня. — А вы, случайно, не из легавых?

— Случайно не из легавых... Мне правду об убийстве вашего Юльяна установить нужно. Уже слишком тесно связано оно с некоторыми темными делами. И в войну, и теперь.

— А какая польза? Убийцу ведь повесили. Не помогли ему ни апелляции, ни кассации. Не на ком уже месть вымещать... Да и дед мало чего сможет вам рассказать. Совсем как малое дитя стал. И говорит — мало чего понять можно. А в войну ведь проводником у партизан был, хотя ему уже было под семьдесят. И дочь его, жена моя, партизанила. А дед уже и тогда был горем согнут да бедой бит. Теперь и того хуже... Да вот и он идет... Сами увидите.

Садом в сопровождении двух собак к нам приближался очень высокий, хотя и немного сгорбленный, сильно худой и очень старый человек. Шел, волоча ноги, и глядел в никуда.

Сел рядом с Сальвесем на ступеньку, не поздоровался, может, даже совсем не заметил чужого. Глядел в ночь выцветшими глазами. А совсем седые, вилообразные усы (ни дать ни взять перевернутая вверх ногами

«ижица») оттеняли выпяченную, как от извечной обиды, нижнюю губу и небритый подбородок и спускались почти до середины груди.

— Тут, батя, к тебе... насчет Юльяна... Человек хотел бы знать подробности.

Старик сидел с каменным лицом.

— Надо бы хоть что-нибудь вспомнить, отец.

— Все... все люди хорошие, — словно в трансе или в бреду тихо начал старик, — и вот такое. Юльян... сынок... Про жизнь твою думал... на смерть послал... Очень уж ласковый, года на четыре старше... И щербатый, как Юльян... двух передних... Лесничим аж в Цешин, под самые... чехи... Документы... Школа повсэхна... Триста злотых... В лесу... Застрелен... Револьвера нету... И старшая моя после этого чахла-чахла да и умерла.

И вдруг лицо его скривилось, словно от плача, хотя глаза оставались сухими.

— Неправда, что сыпал, неправда, что выдавал... Не мог сынок... Убит сынок.

И тут я понял, что мне все равно, виновен или невиновен был Юльян Сай. Мне стало даже немного жаль его. Жаль опосредствованно, через этого деда, который плакал с сухими глазами.

Немая, безграничная обида вопила в этом земляном уже теле, в этом существе, которое когда-то было человеком и перестало им быть всего за ту секунду, которая понадобилась для чьего-то выстрела. Уже не было силы, разума, даже воспоминаний. А обида жила. Обида была сильнее всего.

Я заскрежетал зубами. Еще раз — и в этот раз уже навсегда — я понял: ничем в мире, никакими даже высшими соображениями нельзя оправдывать обиду, которую наносят живому человеку.

Отказавшись от ночлега (я не мог больше оставаться здесь, а дед ведь был здесь со своими мыслями свыше четверти столетия), я направился к тропинке. Тетерич вызвался проводить меня.

— Видите, — сказал он, когда мы подходили к дороге, — немного же мы узнали... Но ничего, приедет жена — она, может, больше расскажет. Я дам знать.

Оставшись один и глядя на огоньки, наверное, последнего пригородного автобуса, я все еще как будто видел дом лесника и тень человека на крыльце. Человека, глядящего в ночь.

Мне снова повезло. Когда я вылез из автобуса, который, не заходя в Ольшаны, напрямик направлялся в Кладно, то увидел, что мое место занимает какой-то человек, показавшийся мне вроде бы знакомым, а от

остановки собирается отъезжать на некой странной таратайке, помнившей, наверное, отца последнего Ольшанского, пан фольварковец из-под Ольшан Игнась Яковлевич Высоцкий собственной персоной.

— Стой, волк тебя режь, — прикрикнул он на коня и улыбнулся мне. — Вот и вам повезло. Не надо пешком эти километры домой топать.

— Что, подвозили кого-то?

— Да так, контролер-ревизор один был в Семериках. Дотопал до Ольшанки да Гончаренка встретил. Знакомые. Бухгалтер к председателю: «Пускай его Высоцкий подвезет. Зачем человеку ноги бить? Ну и, глядишь, пригодится когда-нибудь». Ольшанский ему: «Нужно так хозяйство и твои сальдо-бульдо вести, чтобы контролеров-ревизоров только из деликатности на остановку подвозить. Чтобы знал, что это мы не из страха, а уважение ему оказываем. Ладно, пускай Высоцкий отвезет». А мне что? Я и повез. Служба такая.

— И что за человек?

— Да странный какой-то, молчун. Только и крутит ус, а когда возле замка ехали, спросил, он ли это и есть.

— Что-то он мне показался знакомым. Вроде на кого-то похож.

— Да и мне поначалу так показалось. Вроде бы где-то видел. Потом присмотрелся — нет, совсем незнакомая рожа.

Темные купы деревьев временами почти смыкались над дорогой, образуя тоннель. И в конце его мигала низкая колючая звезда. Крикнул, заплакал, захохотал в зарослях филин. Поздновато. Их «песни» отошли вместе с весной. Хотя бывают среди них отдельные такие типы, что плачут и хохочут летом, даже осенью.

— Ну, а вы откуда, так сказать? — спросил Высоцкий.

Врать было не с руки. Много людей видело меня в Замшанах, некоторые (видимо, собирали поздние сморчки для аптеки) — на тропинке, ведущей к урочищу. Да и не люблю я этого занятия, кроме тех случаев, когда иначе — никак невозможно. И, самое главное, чему учила меня покойная мать и что я запомнил на всю жизнь: «Лгун должен иметь хорошую память». Действительно, должен, чтобы о каких-то событиях не соврать одному и тому же человеку по-разному. Или просто проговориться ненароком, что не в Могилев ты ездил, а, наоборот, в Гомель, где живет бывшая возлюбленная, о существовании которой жена или, еще хуже, невеста очень хорошо знала, но считала это «грехом молодости, когда он еще не был знаком со мной».

— Из Замшан еду.

— И в Темном Бору были? — Мне показалось, что он на миг как бы

напрягся, но это он просто погладил коня по репице. И снова та же ленивая грация.

— И там был.

— Ну и что вы там выкопали? Ведь это ж, наверное, дело того самого Юльяна Сая?

— Того самого.

— О, господи, как же оно мне обрыдло. Столько лет минуло, а все равно, как начнет вспоминать кто-нибудь «дела давно минувших дней» да что было «за польским часом» и стоит то дело вспомнить — непременно какая-нибудь зараза на меня косится. Хоть ты от людских глаз в самбук [\[121\]](#) или в коноплю прячься.

— Так почему бы вам не съехать отсюда?

— Я не чувствую себя виноватым. Не хочу, чтобы кто-то думал: «Ага, допекло... Наверное, знала о чем-то кошка». Ну и потом, что я в другом месте? А здесь моя земля, испокон веку моя.

— Родной уголок, где резан пупок?

— Да нет, просто здесь впервые себя ощутил. Что можешь делать то и это, думать о том и этом, идти туда и сюда. Действовать. Пупок могли где-то и в Риме резать, а если, скажем, младенцу и месяца не было, как его оттуда вывезли, так что ему Рим? Вот и мне так. Мое все здесь.

Помолчал. Где-то в кронах деревьев кричала квакша.

— Ну и что? В чем убедились? — спросил он.

— Ни в чем. Провокатор или нет — тайна сия велика есть.

— Не лезу я в эти дела, — минуту помолчав, сказал Высоцкий. — Да и дело темное, провокатор или нет. Кто доказал? А кто обратное, ядри их в корень, доказал?.. То-то же... Может, провокатор, а может, просто жертва. Кто может судить? Ткнул кто-то из вышестоящих пальцем, и — хорошо там разобрались или ошиблись — уже на тебе, человек, сколько-то там золотников свинцовых бобов.

— Да, — сказал я, — доказательств никаких. Пустое дело. Чем быстрее о нем забудем — тем лучше.

Промозглой сыростью повеяло из темных недр пуци (видимо, неподалеку от дороги был сырой овраг). И снова прорезал ночь крик филина.

— Поговорим? — спросил вдруг Высоцкий с озорной улыбкой.

— Как поговорим?

— А вот так.

Он приложил ко рту ладони челноком, и вдруг в двадцати сантиметрах от меня прозвучал зловещий, жуткий клич-призыв:

— Ку-га. Ку-га-а-а... Гха-га-га-га-га.

Обманутый филин ответил из леса. И снова ответил ему Высоцкий. И еще. Затем наступила тишина. Филин, видимо, все же почувствовал какую-то ненатуральность в ответе-вызове. А может, ему просто надоело.

— Знай наших, — засмеялся Высоцкий. — Все же мы его обманули.

— Совы — символ мудрости.

— Значит, и мудрость обманули.

— Не всегда это кончается добром.

— В жизни очень многое не кончается добром. — Он пожал плечами. — И вот, скажите вы, все эту темную историю не забывают. А я его только раз и видел на дне рождения брата (Крыштоф заскочил на часок), а вот брата этого, Владка, которого немцы за подполье расстреляли, никто и не вспомнит.

— Человеческая благодарность.

— Ну, человеческую благодарность и мы знаем: «как едят да пьют, так нас не зовут, а как с...т и д...т, так нас ищут».

— Э-э, брат, плюнь. Со временем все, все всплывает.

Высоцкий покосился на меня, но ничего не сказал.

ГЛАВА III. Пред очами любви, пред очами безумья и смерти

В следующие дни ко мне, во мою плебанию, зачастили гости. Чаще всех Шаблыка со Змогителем, иногда археологи в полном или частичном составе. Бывало, что на культурную беседу являлся Мультиан (один или со Стасиком и Васильком). Раза два или три наведывался ксендз.

В тот вечер компания собралась в полном составе. На бревне, что вместо завалинки лежало у «нашей» двери, разместились худенький Волот («Наша толстуха Валентина»), «беляночка и замазурочка», Таня Салей с Терезой Гайдучик, сама Сташка Речиц да Шаблыка со Змогителем. Деду Мультиану и ксендзу я вынес стулья, а мы с Генкой Седуном не без удобства разместились прямо на траве. Я успел уже рассказать им кое-что о результатах поисков, обойдя, конечно, самое важное. В частности, умолчал почему-то про Лопотуху, про братьев Высоцкого и, конечно же, про подозрение, падавшее на отца Леонарда Жиховича, присутствующего здесь.

Галдеж стоял, как на базаре. Получилось что-то наподобие средневекового диспута: каждый выдвигал свой тезис, а все набрасывались на него со своими антитезами, каждый был как бы «адвокатом дьявола», лицом, необходимым на каждом средневековом диспуте (не исключая и Белоруссии), лицом, которое должно было опровергать кандидата, скажем, в бакалавры, разными коварными и даже недозволенными, еретическими вопросами. Допустим, кандидат выдвигал тезис о том, что зачатие Марией Христа было непорочным и что в день успения (15-го, значит, а по-новому 28 августа) ее она отошла целомудренной. На это «адвокат дьявола» ставил ему недозволенную подножку, за которую, — если бы это не на диспуте, — гореть бы «адвокату» на костре или сидеть в каменном мешке год и шесть недель^[122] (конечно, если там, где происходит суд, был каменный мешок, а то ушел бы безнаказанным). Диалог между ними мог произойти такой:

Диспутант. «...и во успении была невинной».

Адвокат дьявола. Нет, были у нее потом братья Христа. «Мать и братья его стояли снаружи у дома, желая говорить с ним...» (Матфея, 12, 46)

Диспутант. Здесь имеются в виду единомышленники, братья по идее.

Адвокат. Нет, иллюстриссиме. Немного дальше "И указав рукою... на учеников своих, сказал: «вот мать Моя и братья Мои». (Матфея, 12, 49)

Кандидат: Возможно, и те были «братьями по идее» (начинает

запинаться), но менее посвященными, второго сорта по сравнению с учениками".

Адвокат (полный триумфа). А как тогда понять немного дальше у того же Матфея (13, 54-57), что когда Христос проповедовал в синагоге в Вифлееме Иудейском, все удивлялись и говорили: «...откуда у него такая премудрость и сила. Не плотника ли он сын? Не его ли мать зовется Мария и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли среди нас? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем». И в наказание за их безверие Он не сотворил там многих чудес. «Не бывает пророка в своем отечестве».

Кандидат (припертый к стене, но грозно). Так ты в догмат непорочности Девы Марии не веришь?

Адвокат дьявола (испуганно). Нет, нет. Считаю, что достоин степени бакалавра, а вопрос пускай решают на высшем уровне.

Гул одобрения.

Нечто подобное происходило и у нас, только что без подножек. А когда все в досталь наорались, вдруг вмешался Шаблыка:

— Ни под какой башней, ни в каких катакомбах сокровищ украденных искать не надо. Обстоятельства сами знаете. Подскарбий, державный казначей, не занес этих сокровищ в роспись. Значит, шестьсот тысяч золотых и на шесть миллионов камней, взятые Петром Ольшанским от заговорщиков, Михала Слуцкого и других, да под шумок с королевских земель, в казну не вернулись ни тогда, ни при Витовте Ольшанском, который ограбил всех сподвижников Валюжинича, выдав их, да еще и должен был те деньги отдать королю. Убежали, видимо, с деньгами Гремислав Валюжинич да Ганна-Гордислава Ольшанская.

— Их догнали, — сказал ксендз.

— Но их и отпустили, — сказал Шаблыка. — Потому что к погоне присоединился судья Станкевич. И потребовал, чтобы отпустили.

— Могли встретить и перехватить другие люди князя, — сказала Валя Волот.

— Откуда это известно? — спросил Шаблыка.

— Боже, — вмешался вдруг Змогитель, — почему вы такие сухари, такие рационалисты? Почему не верите домыслам, слухам, преданиям? Бывает же и в них зерно правды. А что говорит здесь легенда? А говорит то, что беглецы загнали коней. В непроходимых дебрях. А там в то время какой-то князь умер в десяти — на наши деньги — километрах от города, потому что не могли привезти лекаря. И что гнались за ними, и что настигли где-то возле Замшан, а направлялись они в урочище Темный Бор,

чтобы потом Ольшанкой и «иными реки» сплыть в Неман, а оттуда бог-батька знает, куда направляться. Или на запад, потому что на востоке времена были смутные, или куда-то под Кладно, где еще блуждали разгромленные, рассеянные единомышленники. И их догнали и уже собирались вязать, но Станкевич, который отстал и как раз в это время выбрался на поляну, приказал их отпустить. И с грузом. И не послушался Витовт Федорович верховного судьи.

— Так почему он с ворованным отпустил? — живо спросила Таня Салей.

— Что же, он признался бы при судье, что они то ворованное увозят, которое князь украл у бунтовщиков и казне не вернул? — строго кинула свой вопрос-ответ Тереза. — Был вынужден молчать.

Змогитель вел свое дальше:

— Поехали все обратно... И вот тут молва людская гласит, что их перевстрели во в торой раз, что те гнали рекой быстрее, конечно, чем дегрями, и обогнали и беглецов и погоню, а засаду устроили у Березины. И взяли обоих. И будто бы (здесь уже каждый кончает по своему вкусу) или, отняв сокровища, отпустили на все четыре стороны, или убили.

— Да была ли вторая засада? — спросила скептическая Таня. — Может, те деньги и все другое уже давно по миру рассеялось.

— Не знаю, — сказал Змогитель, — но байку тоже надо принимать во внимание. И если деньги отняли, то почему позднее, когда ревизия королевская приехала, танкевич на евангелии клялся, что приказал отпустить беглецов. И Ольшанский на евангелии клялся, что Валюжинич с Ганной деньги увезли, а он того не знал и отпустил их, сам же из тех денег ни денария в руках не держал, ни двойного литовского билона под ноготь не зажал.

— И уже недели две минуло, — произнес ксендз, — когда он, и тоже на евангелии, клялся, что беглецы живы. Не мог человек того времени пойти на заведомо лживое свидетельство на святой книге. И свидетели клялись, что живы.

— Ну вот, — снова сказал Змогитель, — и ревизия была, и во время той ревизии князь Ольшанский Витовт Федорович «нечаянно и скоротечно умре». Если было, если что-то и знал...

— ...то концы в воду, — окончил Шаблыка, — и напрасно искать.

— Почему напрасно? — взорвался Змогитель. — А тайная надпись? Может, она о чем-то ином говорит. А ящики немецкие? А немецкая акция перед отступлением? Что-то же, видать, прятали?

Мне не нравился этот разговор при ксендзе. Лучше было бы ему

меньше знать обо всех событиях. И тех, в конце пятнадцатого — начале семнадцатого столетий, и тех, в сорок четвертом. Пока я не выясню, что он такое: исчадие ада или чист как стеклышко.

А Сташка Речиц, по-видимому, взволнованная рассказом и тоном Змогителя, вдруг наклонилась (волосы цвета темно-красного дерева тяжело упали вниз) и щепкой, зажатой в тонкой руке, нарисовала на стежке план замка.

— Вот так, — сказала она. — Мы тут в ваше отсутствие сделали разведку, прощупали землю правее задней башни (это справа, как от ворот идти).

— И что? — спросил я.

— Обнаружили фундамент и остатки стен еще одной башни. На самом берегу Ольшанки. Так что если учитывать ее, то ваша «веди», т.е. третья, это как раз и будет вторая от края, где были когда-то Слуцкие ворота, которые потом замуровали. А никак не следующая от нее, что левее.

— Не думаю, — после недолгого размышления сказал я. — Та башня стояла отдельно. К ней вел подземный ход, потому что не нашли ведь стен, объединяющих ту, Надречную, с замком. Та, Надречная, была, видимо, водовоздной, охраняла колодец и защищала его, а может, и примитивный водопровод, что вел от Ольшанки в замок. И именно поэтому не могла она быть «кутней». Кутняя, угловая — она и есть угловая, в углу крайняя. А значит, третья — это никак не Слуцкая, а та, что левее ее.

— Это еще как сказать. — Ее большие зелено-голубые глаза с тенью легкой иронии смотрели на меня.

— Слуцкую когда замуровали?

— Месяца за четыре до смерти Витовта Ольшанского.

— Тем более. Что можно спрятать в проходной и проезжей башне?

Это, кажется, подействовало.

— И что могли спрятать в давно замурованной башне люди Гиммлера и Розенберга, а также сам последний Ольшанский? Как они могли спрятать — вот что самое главное.

— Да, наверное, в этом есть большой резон, — сказал ксендз.

Вскоре они разошлись, девушки с Генкой куда-то смылись (видимо, на танцы в Ольшанку), и мне пришлось провожать Сташку на ее раскоп, на Белую Гору.

Молчали. Она шла легкой походкой. Наверное, вот так будет идти и прошагав пятьдесят километров. Настоящая, летучая походка бродяги. Точные — не налюбуеться — движения.

— Что это ваш друг Змогитель так странно меряет расстояния:

«Десять километров на наши деньги»? Что, своих мер не было?

— Были. И вы это прекрасно знаете. Поначалу пеший и конный переход, потом, с одиннадцатого столетия и до восемнадцатого года, самая распространенная — верста. Что у нас, что в Польше, что в Московии. Только ведь повсюду название одно, а длина — разная. От полутысячи до тысячи сажений. А с конца XVIII столетия что-то около тысячи шестидесяти метров. А у нас, в Белоруссии, до раздела вовсе две версты: малая — 789 сажений и большая — 1000 сажений.

— А разве трудно перевести?

— Ну вот, скажем, назначаю я вам встречу на границе первой и второй версты от Ольшан. А вы, бедняжка, и не знаете, или вам тысячу шестьдесят метров идти, или тысячу девятьсот сорок восемь.

— А столбы верстовые?

— «А извозчики тогда зачем?» — процитировал я.

Мы рассмеялись. Потом она покосилась на меня своими «морскими» глазами и спросила:

— А вы действительно назначили бы мне встречу? И где, в конце малой или в конце большой версты?

— Назначил бы, если бы вам очень захотелось стать бедолагой.

— Разве уж такой бедолагой?

— Да вы присмотритесь ко мне лучше.

И тут я прикусил язык. Неандертальский пращур варяга рядом с этой ясной, как день, красотой, с этими черными бровями на уже загоревшем лице, с этими тяжелыми каштановыми, с глубинным золотистым отблеском волосами. Нет, это было фундаментальной глупостью. Больше не брякну ни слова. Не надо было и начинать.

К счастью, нас догнали Ольшанский с Гончаренком. Какое-то время нам было по пути.

— Ну, как дела? — спросил председатель.

— Да вот постепенно распутывается клубок, — неизвестно зачем пустил я пробный шар. — Но до конца все еще далеко.

— Да, постепенно распутывается. Вот только спорим, во второй или в третьей от угла, — непонятно по какой причине второй раз за вечер «заложила» меня глупенькая Сташка.

— А может, и не в них, — постарался я исправить положение.

И тут неожиданное событие приостановило опасный разговор.

Кто-то неясный, неразличимый в темноте, бросился с дороги в кусты. Зашелестел олешиник.

— Кто бы это мог быть? — тихо спросил я.

— А лукавый его знает, — ответил Гончаренок. — Может, парочка какая... А может... Лопотуха. Один нечистый всегда знает, откуда и куда его несет. Почему бы его не отправить куда надо? И присмотр, и режим, и еда.

— И травма, — сказал Ольшанский.

— Да ведь он хуже всякой травмы себе вредит. То ночует у бабки Настули — она его из жалости пускает. А то в какой-нибудь башне замка. И не только, когда тепло. Околеет, а нам — отвечай.

— Травма. — Сташка сдвинула свои черные брови.

— Да он безвреден. Нам жаль его, — сказал Ольшанский.

— Ерунда какая, — проворчал Гончаренок. — Безвредный сумасшедший... Вот молчит-молчит, а потом — накинется. Что тогда? Ведь все может быть. Берегитесь.

— На его глазах людей стреляли. Допускаю, что и родственников.

— Эх, хлопцы, побаиваюсь я его, — вздохнул бухгалтер. — Если нападет, то я... собаку ударить не могу, а как же человека?.. Ну, ладно, нам сюда.

— А нам сюда, — сказал я и повел Стасю к мостику через Ольшанку.

Мостик этот скорее можно было назвать кладкой, поэтому мне пришлось взять спутницу под локоть. Я ощутил его остроту и тепло, ощутил, как рука выше сгиба покрылась гусиной кожей, то ли от волнения, то ли от холода. И понял, что назначил бы ей встречу хоть на краю света. Мне очень захотелось поцеловать ее и поплыть, поплыть куда-то под этим звездным небом, над этой неширокой рекой, и сказать ей что-то такое, чего ни разу не говорил ни один мужчина ни одной женщине. Мне показалось, что и она словно бы неувовимо льнет ко мне.

Но я прикусил язык. Я не имел права. Я был на десять лет с гаком старше ее. По сравнению со мной, человеком, который много, — не слишком ли много? — пожил и так много видел, она была ребенком.

«Девчина, что тебе во мне», — подумалось мне словами какого-то старого предания.

И потому я только постоял на краю городища; с грустью проследил глазами, как она, тонюсенькая тростинка, идет к костру, и поплелся обратно.

Вот так оно в тот вечер и случилось: заглянул мимоходом в глаза любви, может, той, которую ждал всю жизнь, и сам себе сказал: «Не надо. Не смей. Не порти жизни прекрасному человеку, который стоит лучшего».

И сидел я потом на своем бревне-завалинке, остервенело курил, смотрел в ночь и думал о Сташке, о том, такой ли она была, любовь, в старые времена. А может, она была более расчетливой? Или это у нас она такая, а у них была куда более мужественной и беззаветной?

Наконец, кажется, задремал. Плыл синей-синей, очень теплой рекой, что струилась меж золотых берегов. Кто-то манил меня на этих берегах и исчезал, чтобы возникнуть снова, в другом месте. Я знал и не знал, кто это, потому что не видел лица.

А потом повсюду была уже ярко-синяя вода, а над головой такое же синее небо. Я лежал на спине, ощущая небо глазами, а воду спиной.

И я был центром вселенной. А затем в этой вселенной снова возникло чье-то лицо. И я, нисколько не удивившись, почему-то сказал вслух:

Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!

— Спите? — Как сквозь туман, увидел я лицо Леонарда Жиховича.

— Нет.

Глаза ксендза словно навевали что-то.

— Это хорошо, — зловецим, как мне сквозь полусон показалось, голосом сказал он. — Думайте о людях, думайте о себе.

И исчез. А мне вдруг так захотелось спать, что я едва добрался до кровати, и, словно в яму какую-то, провалился в сон.

Это снова был тот сон. Тот и не тот, продолжение того и как будто что-то новое.

Удар и падение, стремительное, с лесов, что вокруг шпиля костела. Ближе и ближе к земле. Красно-зеленый, фосфорический, свет бьет в глаза, а потом — взрыв его. И тьма.

Нет, это просто тьма ночи. Это ожили слова Змогителя о слухах про тот побег.

И вот ночь, исполинские стволы деревьев, редкие звезды в редких просветах листвы, и кони, хрипя, рвут грудью воздух. Нет, ветер, почти ураган. Но кони устали, а за спиной все ближе и ближе лязг чужих, вражьих подков.

И вот поляна, скупо освещенная бледно-зеленым лунным светом. На ней, в дальнем ее конце, трех— или четырехгранные пирамиды из дикого, поросшего серо-зеленым мхом камня.

Где я их видел? Ага, у Бездонного озера под Слонимом и еще... и еще у тропинки, которой шел из Замшан в Темный Бор.

Да, мы пробились, мы вырвались из вражеского кольца, но какой в этом толк, если они гонятся, наступая на пятки, а наши кони измучены, и уже вот-вот погоня будет здесь. Конь Ганны, теперь уже навсегда моей Гордиславы, измучен меньше. Дальше она должна бежать одна, потому что теперь спасает уже две жизни. А я останусь прикрывать ее отход. На кого она похожа лицом под этим капюшоном? На Станиславу? На Сташку. На какую такую Сташку?

— Скачи, Гануся. Ты легкая, твой конь не так изнемог... Лети!

— Глупый... «И ложе, и мор, и радость, и хворь, и смерть одна на двоих».

— Лети!

Поздно. С трех сторон поляны выезжают из пущи всадники, обкладывают нас двоих. Человек сорок. Некоторые в цельнокованных латах, некоторые в колонтаря — железных, пластинами и кольцами, кое-кто просто в кольчуге, двое или трое в ребристых, кованных полосами панцирях (из цельных шлемов сквозь щели виден только беспощадный блеск глаз). А вон трое в чешуйчатых восточных доспехах. Несколько воинов в карацановом снаряжении — тоже кольчужном, но каждое кольцо прикрыто сверху стальной чешуйкой. У некоторых тигровые шкуры на плечах (гусаров, что ли, одолжил князь в каком-то ближайшем войсковом отделе, или, может, друзья-гусары сами вызвались принять участие в поимке). Копья, сабли, чеканы^[123]. Словно на большую битву выехали, а не на ловлю двух обессиленных людей.

В середине полумесяца — сам. Едет на вороном коне, укрытом карацановой попоной. Из-под черного в золотые узоры кунтуша выглядывает шелковый узорчатый жупан. На голове шапочка меховая с голубым пером. Подпоясан радужной турецкой шалью. И никаких тебе лат.

«Врешь, высокочтимый. Я знаю, под жупаном почти всегда у тебя кольчуга. Да и под шалью — поручусь — для верности металлический пояс».

А лицо?! Упаси бог даже во сне увидеть такое подобие сатанинского. Лицо словно из меди литое, черные усы, черные, но уже с сединой волнистые волосы, рот твердый, глаза цвета стали, пронзительные. Губы кривятся, как две змейки.

— Ну что, верная женушка? Что, невестник^[124]? Удалась ли тебе твоя намова^[125]? Хорошо ли тебе шло мое добро плюндровать^[126]?

— Краденое оно, твое добро, — я откидываю монашеский капюшон. — А что не краденое, так это Иудины деньги, цена проданных

тобой друзей.

Он приближается. Вороной топчет вереск, косит глазом и скалится, как дьявол.

— Ну что же, — улыбается всадник. — Осмелился ты на жену, на добро мое куситися^[127], так не обижайся теперь и на мой приговор. Что выберешь? Абешанне^[128] или недели две в усняном квасе^[129] побудешь, чтобы шкура покрепче стала, а может, слепыми вас в паток^[130] отправить?

— Помет ты, грязь, — отвечаю я.

Он машет аршаку^[131] перчаткой.

— Спешиться всем. — И вскидывает голову. — Ах, черт! Вот нюх у холеры. И откуда узнал, куда поскакали? Хитер, чертов лис.

Только в следующее мгновение до меня донеслось далекое пение рогов. Затем между черными стволами-исполинами кое-где замелькали подвижные огненные блики. Приближались, наливались багрянцем, становились все ярче.

А потом на поляну в сопровождении четырех латников с факелами в левой руке (правая у всех лежала или на шейке гаковницы^[132] или на рукояти сабли) выехал плотно сбитый, невысокий человек в простой, но очень, видимо, дорогой местной чуге, желтых кабтях и файновой, суконной, шапочке, окаймленной тонкой полоской меха. В руке короткий жезл, знак судьбы.

Подъехав ближе, шапочку снял, рассыпались волосы, постриженные по-крестьянски — «под горшок». Лицо простое, худощавое, хотя и широкое в скулах, на щеках твердые мускулы, глаза пронзительные и слегка ироничные.

«Копный. Сам Станкевич. Один из немногих неподкупных, один из тех, кто каждое дело к заслуженному и справедливому концу приводит».

— Что же это ты, княже? Ведь ты мне обещал беглецов не догоняти и не ловити. А тут говорят: на охоту поехал. Вижу я теперь, какая это охота. То-то правдиво твое обещание, если у твоих людей на седлах ужи^[133]. Так что мне, текачов^[134] к самому Жигимонту^[135] Третьему посылать? Кровь шведская да кровь Ягеллонов — ой как они к себе другую кровь тянут. Просто как магнитом железа.

— Да мы и в самом деле на ловы собрались, — не отводя глаз, говорит князь. — На охоту, да вот случайно на них выскочил. Видать, заблудились. Так хоть к шляху довели бы их. А с утра и на охоту.

— Сами на шлях-дорогу выедут. А вы вот лучше нас сейчас выведите на то место, где табор разбивать хотели, чтобы ночевать, а утром с богом на

лов. Звери в яре, зубры в яре. А из табора мы уже сами дорогу к замку найдем и подождем вас, когда с охоты вернетесь.

— Зачем же так, найяснейший? Если вы намерены заглянуть в мой скромный замок, то оставайтесь с нами в таборе, а утром вместе на лов...

— Устал я, ваша ясновельможность. Отдохнуть хотел бы...

— Тогда мы вместе поедем в замок сейчас...

— Да зачем же я буду портить вам забаву? Вы нас только до табора, до ночлега проводите. Ведь это, наверное, недалеко. Каких-то верст шесть литовских?

— Польских это считай двенадцать, — буркнул ловчий.

— Ничего, — сказал Станкевич, — пора привыкнуть. И помнить слова Вердума: «Mile podolskie, czyli ukrainskie sa dwa razy tak wielkie, jak polskie, a im blizej Turcj'i, tym wicksza mila»^[136]. Ну, а там вы станете биваком, а мы поедем к замку... Вам надо развеяться, потому что на будущей неделе нам с вами предстоит нечто весьма непривычное. И вас и меня ожидают не очень благопристойные и приятные дни, — взглянул на нас, потом — на князя. — А эти пускай едут, выбирают сами. Я полагаю, незачем беречь хрустальный кубок, если он дал сильную трещину в дне. Да и не до хрусталя, не до сосуда вам будет.

— А я и не собираюсь его склеивать. Пускай едут.

— Князь, — тихонько шепчет ловчий. — А заводные кони, сменные, с грузом. Неужели отдадим? Их бы...

— Пускай забирают свои онучи, — говорит слышащий все Станкевич.

— Так ведь там...

— Цыц, — шипит князь и молча ударяет колючей шпорой ловчего по ноге. Теперь шипит тот. От боли.

— По коням, черти, — ворчит князь Витовт.

Погоня взвивается в седла, рассеивается между деревьями. Меркнут огни факелов. Исчезают.

Голова женщины падает мне на грудь.

— Господи, вечной буди слава твоя. — Женщина плачет. — Из печи огненной, из зева львиного вырвал ты нас.

— Ну, Ганна... Ну, Сташка... Ну, Гордислава... — Я глажу ее волосы. — Теперь все, теперь все будет хорошо...

Но мысли мои не здесь. Я думаю. Станкевич отпустил сбежавшую жену князя. Понятно: не те времена, когда за прелюбодеяние карали смертью, хотя и такое кое-где еще случается. И всем известна его «симпатия» к князю Ольшанскому. Ну и еще: не знал, что под плащом я, Валюжинич. А может, знал? Много рассказывали и про «любовь»

Станкевича к королю и его политике^[137], хотя судья и помалкивал... Знал. Наверняка знал. Потому и отпустил. Не знал только, что во вьюках на спинах запасных коней. Если бы знал — мы не вышли бы из воды сухими.

А теперь что? Теперь мы уже спасены наверняка. До табора князя шесть наших миль, двенадцать польских. По ночному лесу часа четыре, да проводить Станкевича на дорогу к замку — на это еще уйдет время. Первые три часа мы можем запутывать следы, еще пять часов что есть духу скакать прочь из его земель. А потом понесет нас река в извечно вольный наш Неман. Мы спасены.

Но тогда откуда это мучительное, это тревожное предчувствие какой-то неминуемой, неопределенной угрозы, какой-то неотвратимой беды? Может, стоило бы вернуться и отдаться под защиту судьи, под щит его имени? Нет? Возможно, тогда мы и остались бы в живых, но денег, что принадлежали восставшим, оружия, обещанного за эти деньги, — ничего этого не было бы. Так умри, но отдай сокровища тем, кому они и меч, и жизнь, и возможность драться.

— Скачем! Что есть духу, Гордислава!

Кони немного отдохнули, и теперь не нужно загонять их до смерти. Ветви хлещут по лицам, лес все гуще. И в этом одна из надежд на спасение, хотя страшное, хотя подсознательно-неведомое — оно не исчезло, ждет.

Тело мое — во весь безграничный мир, накрыло и вобрало его. Идут по гульбищу-галерее дама с черным монахом...

Ясно... Ясно... Я схожу с ума, схожу с ума... И не трепещу, как сказал кто-то:

Пред ликом любви,
Пред ликом безумья,
Пред ликом смерти самой.

...Ох, как болит голова. Дверь в моей комнате открыта и в сторожке Мульгана открыта, а в проеме — серое туманное утро, мириады почти невидимых капелек воды, которые временами сталкиваются с неслышным звоном и оседают на жердях забора, на ветвях, на траве, запутываются в паутине, чтобы сделать ее радужной, когда взойдет несмелое солнце.

— И что это такое? — ворчит из сторожки Мульган. — Стонал всю ночь, разговаривал во сне, даже зубами скрипел. Находятся вот так по солнцу целый день без шапки, голову напечет, едят не вовремя, накурятся, насосутся этой соски, дербалызнут еще гадости какой-нибудь.

— Я не пил.

— Да я не против, чтобы пил. Я против, когда без меня. Иди ополоснись в реке да возвращайся побыстрее бульбу жареную есть. А потом и иди по своим делам.

...На реке, слегка оторвавшись от воды, стлался легкий туман. Он заползал прядями в лозняк и там исчезал. Я бухнулся в холодноватую воду, вынырнул и увидел на противоположном берегу Сташку. Она, видимо, уже искупалась и стояла с полотенцем на плече грустная, усталая и как будто заспанная. И боль моя сразу стала легче, да и болела у меня теперь не голова. И чувствовал я самое банальное, чуть не до слез умиление. И еще самое банальное чувство в мире: любовь.

И я понял, что, конечно, буду молчать. И понял одновременно, что ничто в мире уже не сумеет вырвать это, огромное, из моей груди. Никто не может — никто не избавит меня ни от него, ни от безнадежности.

Что мне оставалось делать? Переброситься с ней парой каких-то пустых слов, а потом ляпнуть ни с Дону, ни с моря:

— Давайте сегодня сходим в клуб. Картина, говорят, новая.

— Давайте, — согласилась она.

И это обычное согласие, которое ни к чему не обязывало, поселило во мне такую беспричинную радость, что я на обратном пути домой не заметил Ольшанского, говорившего о чем-то с Лопотухой (ему пришлось окликнуть меня), и не сразу заметил Высоцкого, который встретил меня у самого дома и протянул сложенную вчетверо телеграмму.

— Вот, на почте был. Зачем, думаю, человеку напрасно в Ольшаны переться?

— Спасибо вам, Игнась Яковлевич.

Он ушел. А я несколько раз перечитал текст, с трудом улавливая смысл. Телеграмма была от Щуки.

«Выезжай. Нашел много интересного, нашел человека, который многое знает о том деле в тридцать девятом. Андрей».

Бог ты мой! Какая это все была чепуха по сравнению с тем, что переполняло меня!

...Клуб, куда мы пошли вечером, был из тех клубов, какие есть и до сего времени в бывших отдельных колхозах, а нынешних «бригадах», «пригородах» центральной усадьбы. Там, чуть не на каждой центральной усадьбе, понастроены новые двух-, а то и трехэтажные здания со зрительными залами, библиотеками-читальнями, комнатами для репетиций и черт знает еще с чем, а в таких вот «поселках» в ожидании лучших времен и лишних денег клубы так и остались в обычных, разве что более

просторных хатах.

В Ольшанке таким клубом был старый дом священника, стоявший немного в стороне от деревни, на пригорке, рядом с руинами церкви, разрушенной в войну прямым попаданием бомбы. Довольно большой зал с будкой киномеханика и несколькими мини-комнатушками для гримирования и разного реквизита за сценой, на которой во время киносеанса вешали экран. И еще одна комната, поменьше, служившая зимой и в дождь фойе и танцевальным залом. Под старыми поповыми липами была летняя танцплощадка, а рядом с ней отживали свой век корявые и замшелые, давно уже не плодоносящие от старости яблони.

Сюда даже электричества не удосужились провести то ли в ожидании нового здания, то ли еще по какой причине, и когда на пригорке под вечер начинал тахкать движок, — всем без всяких объявлений было ясно, что в клубе кино, спектакль или танцы. В вечернем затихшем воздухе это тахканье было слышно далеко, в самых окраинных хатах.

Честно говоря, я не запомнил ни содержания фильма, ни того, кто из знакомых там был. Почему-то отметил глаз только Генку Седуна да «сиамских близнецов» — Шаблыку и Змогителя.

Кто-то бегал по экрану, звучали выстрелы, а в промежутках между ними — поцелуи и слезы. Признаться, я не смотрел труда. Мои глаза неотрывно следили за тонким в полумраке профилем Сташки, и я благодарил бога, что впереди сидел какой-то верзила и я «вынужден» был, «чтобы что-то видеть», наклоняться в ее сторону, касаясь рукой ее руки, а иногда плечом ее плеча, хотя, конечно, с таким же успехом мог бы наклоняться к соседке слева.

Боже, сколько счастья было в обычном, как бы случайном прикосновении! И как я, опытный и бывалый человек, напоминал сейчас себе самому того восторженного, робкого и увлеченного щенка, каким был давным-давно, когда эта, что сидит рядом, была еще ребенком.

И потому я и не мог быть иным, этаким разудалым душа-человеком. Потому мудрая природа так и распорядилась.

...Окончилось кино. Молодежь осталась на танцы, взрослые, немного посмотрев их, пошли утоптанной дорожкой домой.

— Останемся? — спросил я Сташку.

Она отрицательно покачала головой и повернула на тропинку. Тропинка эта шла через молодые заросли липы, дубняка и берез, ныряла среди верб, перевитых лианами ежевики, спускалась в низинку-вымочину, дышащее на ладан болотце, а перевалив через невысокую гряду, приводила к замку, к Белой Горе и костелу.

Мы шли молча. Я был уверен, что она тоже думает о том, что возникает между нами и чему нельзя давать воли.

В зарослях защелкал соловей, поначалу «п-шок» сало, а потом аж захлебнулся от блаженства, так было вкусно: «тць'а», «тць'а» — причмокивал он.

Стася нарушила молчание первая:

— Какие у вас смешные случаи связаны с кино?

— Дайте вспомнить... Ага, один пришел в голову. Как я открыл итальянский неореализм. Отношение к итальянским фильмам у меня после войны было... ну, как ко всем, взятым «в качестве трофеев после победы...». Может, они и не итальянские были (я говорил это с облегчением, потому что вот, наконец, нашли о чем беседовать), но обязательно толстый Джильи пел что-то лакричным голосом, или графья с графинями из-за чего-то там страдали. Словом, я перестал на них ходить. И вот однажды у меня была назначена очень важная встреча как раз на время двух последних лекций. А раз так, то я и двумя первыми решил манкировать. Домой идти — далеко и неудобно. Пошел бродить по улицам. Дай, думаю, в кино схожу. Афиша висит: «Устин Малабази». Ну, думаю, грузинское что-то, вроде «Георгия Саакадзе». Ну, на грузинский фильм можно сходить. Да еще если исторический: о-го! Пошел! И тут на экране появляется надпись: «Италия». Чуть было не плюнул и вон не ушел, да название задержало: «У стен Малапаги». Один из первых неореалистических фильмов, которых я потом, и насмеявшись, и наплакавшись, слова даже этого, «неореализм», еще не зная, никогда не пропускал.

Она засмеялась тихим и ласковым смехом.

— Так я и открыл... Стой! Стой, ни шагу!

Мы были как раз в самой низинке. Луна то ли уже совсем сошла на нет, то ли ее краешек, на последнем дыхании, всходил позже, но в мокрой низине было почти совсем темно. Разве что от слабых весенних звезд доходило какое-то подобие света. И в этой тьме я скорее почувствовал, чем увидел, как от ствола черной ольхи отделилась не менее черная фигура и двинулась к нам.

— Кто здесь? — как можно спокойнее спросил я.

Человек по-прежнему двигался молча. Мало того, справа от темной стены зарослей отделился второй. Идти дальше было нельзя. Я покосился назад: еще две тени отрезали нам обратную дорогу к клубу.

Бросаться в сторону тоже было нельзя: по болоту, пускай себе и неглубокому, — по колено или по пояс, — далеко не убежишь, голыми

руками возьмут. Если только эти — а вряд ли — собирались обойтись голыми руками.

Какой же я дурак! Как я мог забыть об осторожности! Не пойти с людьми, пойти здесь, да еще с девушкой, да еще зная про весь клубок тайн, который свился в этом гадючьем гнезде.

Они приближались в тяжком свинцовом молчании. Сейчас набросятся сразу вчетвером, и тогда уже ничто не поможет.

«Все. Это конец».

И тут один из них, тот, что подходил сзади и слева, допустил незначительную ошибку: бросился на несколько мгновений раньше. Я сделал небольшой прыжок в сторону и ребром ладони рубанул его по тому месту, где должно находиться адамово яблоко.

— Хлыв! — послышалось в темноте, и я понял, что попал.

И одновременно, словно сила какая-то водила мной, я упал как можно ближе к ногам того, второго, правого, который отрезал тропинку к клубу, и, стремительно перекатившись несколько раз с боку на бок, лежа еще спиной к врагу, который нагибался надо мною, согнул ноги и с силой выпрямил их, словно выстрелил, прямо ему в «неудобь сказуемое», как говорят русские, место. Тот выдохнул вместе с воздухом придушенный стон, а я уже был на ногах. Тот сложился вдвое, а я уже схватил Сташку за руку и толкнул на свободную в этот миг тропинку.

— Сташка! Беги! Беги, прошу!

Она отбежала несколько шагов:

— Нет! Нет!

— Беги, так твою!

Это ее промедление стоило того, что третий из нападающих успел отрезать мне дорогу к бегству вслед за Сташкой. А я воспользовался бы этой дорогой без ложного стыда. При таких неравных силах это был единственный выход.

Двое корчились от боли, только пробуя — один вдохнуть, а второй выпрямиться, но оставались еще двое, они приближались, и я увидел, как в руке у того, кто отрезал мне путь, выскользнул из рукава и серебряной рыбкой блеснул в руке нож.

— Бе-ги!

Но она не убегала, а я даже не мог повернуться, хотя слышал за спиной, уже близко, сиплое дыхание второго.

И тут Сташка вдруг размахнулась, и какой-то темный предмет пролетел в воздухе и трахнул того, второго, в затылок.

Человек с ножом от неожиданности повернулся в сторону Сташки, и

тогда я одним прыжком преодолел расстояние между нами и со всей силы ударил его в переносицу, послав одновременно правый кулак прямо ему под ложечку.

Я перепрыгнул через него — почудилось мне или нет, что кепка у него была надета козырьком назад, — схватил девчину за руку и выдал такой класс бега, что олимпийский чемпион, посмотревши на это, запил бы, по меньшей мере, на месяц от огорчения.

Только тут она закричала неожиданно сильным, отчаянным голосом. Да и я, слыша за собой шаги четвертого, вдруг заорал во все горло. И на поляне кто-то закричал истошно, диким матом, исступленно и остервенело.

И неожиданно с той стороны, куда мы бежали, нашим крикам ответил многоголосый крик и топот ног. В следующую минуту мы уже мчались обратно в окружении самое меньшее десяти человек.

Свист долетел с поляны, и когда мы вырвались на нее, то услышали, уже где-то далеко, только треск плетей ежевики и валежника под ногами убежавших.

Гнаться за ними было глупо. Они, видимо, знали какие-то проходимые стежки в этом болоте.

Тех двоих, выведенных мной из строя, они, очевидно, с грехом пополам все же уволокли с собой. И это было понятно: узнав одного, можно было узнать всю шайку.

— Кто такие? — спросил Шаблыка. — Кого-нибудь узнал?

— Нет. — Я почему-то не сказал про лопотухинскую манеру носить кепку. Мало ли кто мог употреблять ее. Зачем из-за одного только подозрения бросать тень на человека. — Не узнал.

И вдруг я взорвался:

— С ножом! Хотел жизнь мою взять, сволочь? А ты ее мне дал?.. Чем ты его стукнула по затылку, Сташка?

— Туф... туфлей... Ни-ничего больше не было...

Тишина внезапно взорвалась таким хохотом, что я даже слегка испугался. А она вдруг заплакала, да так, что у меня словно оборвалось что-то внутри. И... уронила голову мне на грудь. И это — я понял — было что-то большее, чем просто слезы облегчения.

— Как же... Как же они могли?

Что мне оставалось делать? Я просто гладил ее по голове и говорил что-то бессвязное, от чего она всхлипывала еще горестнее.

— Ну, бедняга... Ну, бездоляная, хорошая моя... Ну, перестань, перестань.

— Ту-флей, — захлебывался от смеха Змогитель. — Ну, сволочи, —

перестав смеяться, произнес он сурово. — Доберемся мы до вас, зальем вам горячего сала с дерьмом за шкуру.

— Змогитель-урвитель, — пробубнил Шаблыка. — Хорошо, что все хорошо кончилось.

Прибежал сильно запыхавшийся Гончаренок, и девчата с Белой Горы аж с визгом и без всякого ладу начали рассказывать о случившемся и ему.

— Что? Удрали? — бессвязно спрашивал он. — С ножами? Вот быдло. Не может быть! Ах, сквер-рнавцы.

— Во всяком случае, хотя и не знаю... — мычал невразумительно Ольшанский. — Во всяком случае, разберемся...

— И это у нас, — ахал Гончаренок.

Генка Седун пригладил свои темные волнистые волосы и неожиданно резко сказал:

— У вас, у вас. Как мог бы сказать один мой знакомый актер (вечно он леших играет, ведьм, словом, зовут его «заслуженная баба-яга республики»), так он, услышав про здешние события, сказал бы: «А что касается морали, то на нее в лесу начхали...»

Я подумал о всех этих чудовищных тайнах, о разных странностях, которых здесь многовато, о бумагах, переворошенных на моем столе, и ничего ему не сказал.

ГЛАВА IV. Загадки и отгадки. Полковник, лейб-медикус и прокуратор ^[138]

Словом, все пошло вверх ногами в этом лучшем из миров. Да и был ли он вообще лучшим? За последнее время я начал сильно сомневаться в этом. Чертовы тайны, чертовы катакомбы, дьявольские ночные кошмары, пропади они пропадом!

Уже вечерело, когда я подходил к своей пятиэтажной хате. Старый друг Герард Пахольчик доброжелательно заулыбался мне из табачного киоска.

— Давненько не бывали! — Его наивные глаза рассматривали меня. — А вы все еще в поездке? Все еще для новой книги материалы собираете? И как?

— Все они, все их. А насчет того, как, то постепенно продвигаемся вперед, человеке.

— И дались вам эти средние века! Зачем?

— Я отвечу вам чужими словами: «Кто не помнит прошлого, кто забывает прошлое — осужден снова пережить его. Множество раз».

— И самое страшное?

— И его.

— Бр-р.

— Дайте мне два блока «БТ». Э-э, да у вас, наверное, нет, на витрине что-то не вижу.

— А вы их часто у меня на витрине видите? — Он достал из-под прилавка два блока, которые я и положил в свой портфель. — На витрине нет, — для вас всегда найдется.

— За какие это заслуги мне такое исключение?

— Оптовый покупатель... И свой.

— А вот взгреют тебя, Герард, — неожиданно прозвучал за спиной мягкий голос. — Взгреют и за «своих», и за подприлавочную торговлю.

За мной, скрытый витриной с сигаретами от продавца, стоял Витовт-Инезилья-Хосе-Мария Лыгановский и копался в своем бумажнике.

Пахольчик на миг вроде бы смутился. Что-то промелькнуло в его глазках. Но он махнул рукой. Прищурился:

— Вот вам, Антон, еще одну «бэтэшку». Завалялась. На сегодня последнюю.

И подал мне пачку.

- А мне не найдется? — спросил психиатр.
— К сожалению, сегодня все. Но завтра будет.
— Смотри, чтобы были. А пока «Вечерку» и две пачки «Кладно».
— «Кладно»? Угм. Где же это «Кладно»? Ага, есть.

Мы пошли к дому, и тут я неожиданно сказал:

— Напрасно я зарекался. Пришла и моя очередь как-нибудь зайти к вам.

— Что, нервы?

— А с чем же еще к вам ходят?

— Что же... Заходите хоть сейчас. Зачем терять время зря?

Послушаем, посмотрим.

...Я не бывал прежде в его квартире и был действительно ошарашен. Здесь, кажется, все было рассчитано не на то, чтобы успокоить человека, а наоборот, взвинтить его нервы до предела. Спокойный тут начал бы дергаться в пляске святого Витта или выть, как волк в зимней стае, а нервный вышел бы законченным психом. Не смягчала впечатления даже обычная мебель, все эти тахты и столы, кресла и серванты, гравюры и телевизор.

Потому что безобидными игрушками выглядели масайское копье и щит по сравнению с остальными реликвиями. Потому что стены почти сплошь укрывали чукотские и тунгусские шаманские маски, монгольские маски для «цама», от одного взгляда на которые можно поседеть, тибетские ритуальные маски, настолько страшные, что, неожиданно встретив в темном коридоре человека с таким лицом, — онемел бы до самой смерти. Стояли тут чудовищные бенинские божки и китайские боги с выражением безумной жестокости и злости на лицах. Висели щиты из Квинсленда и острова Сандей, австралийские травяные браслеты, фетиши африканских жрецов, злоеющие убранства участников мужских союзов Новой Гвинеи.

Омерзительные ритуальные маски с Соломоновых островов (черный ящер, надевший древнегреческий шлем), калebasы для извести, злобные божки с островов Адмиралтейства, кинжалы из раковин и костей казуара, циновки и полотнища тапы, индийские анки и яванские крысы.

И повсюду морды, оскаленные, пучеглазые, клыкастые. Филиал карцера в аду.

— Не страшно вам тут?

— На работе иногда бывает страшнее, — немного желчно сказал он, обводя умными глазами свою коллекцию. — А это? Это все мои скитания. За каждой вещью — история, случай, страх или смех. И потому они мне — не вещи. Они — куски жизни.

Мы прошли в маленький кабинетик, выкрашенный в серо-голубой цвет и, конечно же, без всяких масок.

— Ну, рассказывайте.

И я начал рассказывать. Вообще про весь Ольшанский уголок, словно еще с самой войны зараженный каким-то вирусом неведомого бешенства, про странности многих его жителей, про неестественное, ледяное дыхание давно минувшей войны, про безумие Лопотухи и свои ночные кошмары.

Он становился все серьезнее, на глазах мрачнел:

— Не могу понять ваших симптомов. Напоминает средневековую белорусскую пану, бред наяву. Но не совсем то. И еще нечто подобное мне довелось видеть в тридцать пятом году в северо-западной Индии. Вы, конечно, слышали про полюсы земли: и географические, и магнитные, полюсы холода и тепла. А вот про полюс биологической недоступности, видимо, не слышали?

— Нет.

— И мало кто из цивилизованных людей знает об этом. Считанные единицы. Кроме жителей той местности.

— А что это такое?

— А это огромный кусок земли, покрытый скалами да непроходимым тропическим лесом по берегам реки Нарбада. Джунгли — стриженный английский газон по сравнению с тем зеленым адом. С начала истории там ни разу не ступила нога человека. Представляете, со времен австралопитека!

— Как это? Почему?

— Там, как говорится, с начала дней на многих десятках километров пространства живет самая большая на земле колония диких пчел. Пчелиный мегалополис, почти как, скажем, тот мегалополис, что от Нью-Йорка до Вашингтона. И пчелы там какой-то особенной породы. Тучи, несметные полчища, легионы. Укус одной пчелы очень болезнен, рана иногда не заживает неделями, а если укусит пяток — наступает паралич, иногда временный, а чаще — до конца дней. А если уж укусит большее количество — смерть неминуема.

— Это бывает, — сказал я. — Мы так мало знаем про яды. Вот ученые изобрели универсальную противозмеиную сыворотку. Хоть кобра кусай, хоть гюрза — не страшно.

— Вот-вот. А почему не применяют? Кажется, панацея, спасение для всех людей. Ан нет. Потому что такой человек, застрахованный от всех змеиных ядов, неминуемо умирает от первого же укуса обычной пчелы. Вот и разберись, что лучше. Как ни странно, эти пчелы совершенно не

трогают животных. А их там великое множество. Малоизученных, а то и вовсе не известных науке. Некоторых видели. Они иногда появляются на окрестных полях и в джунглях. Но долго не задерживаются, уходят обратно. Видимо, знают, где они в полной безопасности. Но выносят иногда оттуда вода и ветер семена никем не виданных растений. И вот за одним из них, если только раз за многие годы прорастет оно за пределами пчелиного региона, охотятся все жители. Сушат его, делают отвар и пьют, и тогда у них тоже разные... грезы да видения. Но где Нарбада и где Ольшанка? Я не понимаю, что у вас такое. И потому особенно беспокоюсь... Не подлечиться ли вам? У меня. Я за вами лично присматривал бы. И друг у меня там, в клинике, молодой, талантливый. Он вас за пару месяцев поставил бы на ноги.

— Нет, не могу.

— Тогда хоть отдохните. («Боже, на кого же из кондотьеров он похож?») Месяца два на море. Вода, солнце, воздух. И никаких мыслей. Вы просто переутомились с этими вашими историческими поисками. И вот что скажу я вам: вы, конечно, думаете, что это чепуха...

Взгляд у него был пронзительный:

— Предупреждаю, это очень страшно. И, чтобы вы знали это и не манкировали своим здоровьем, чтобы лечились, — поедemте завтра со мной. Посмотрите, что это такое. Ну и обследования некоторые проведем. Это слишком важная штука, здоровье, а разум — единственно стоящая вещь. Однако мы этого не ценим.

— Хорошо, — скорее чтобы отделаться, сказал я.

Немного отдохнув, я решил зайти к Хилинскому и почти не удивился, что эти два взрослых человека (он и Щука) сидят в полутьме и рассматривают с помощью эпидиаскопа слайды.

— Садись, сейчас кончим, — сказал Адам.

Слайды были из «моих» мест. Кладно. Дорога на Ольшаны. Замок. Костел.

— Где это вы их настрогали? — спросил я, когда зажгли свет.

— Да уже года два, как снял, — сказал Хилинский, и я не поверил ему, потому что на слайде у ворот замка не было охранной доски.

«Ой, крутишь ты что-то, Адам Петрович», — только и подумал я.

Когда на столе появился кофе и то, что к кофе, часом питательное, а часом и не очень, и мы употребили и тэго и другого (или овэго?), как говорят братья-поляки, Щука попросил рассказать новости.

Я рассказал. На этот раз ничего не скрывая: и о моих ночных кошмарах, и о разговоре возле дома лесника, и о вчерашнем нападении на

болотине. Видимо, раздражение прорывалось в моем голосе, потому что Щука вдруг сказал:

— Ты что, считаешь, что мы тут «Гав, гав!» ловим? Ладно, ладно, не сердись... Та-ак, начинает припекать. А единой концепции пока нет. Уехал бы ты оттуда, парень.

— Еще чего?! — возмутился я. — Кто-то виноват, а уезжать должен я. У вас нет концепции, а я отвечай.

— Концепции нет. Зато, как я понимаю, подозрительных много.

— Вот и попытались бы наиболее подозрительных ограничить в действии. А то дойдет до этих ваших, как их — пистолетов, револьверов, тогда поздно будет.

— Бывает, доходит и до пистолетов.

Щука раздражал меня. Раздражало и это двойное его хобби: читать детективы и издеваться над ними, и еще знать назубок все, какое есть и было на земле, огнестрельное личное оружие. Аж до шестиствольного (вертелись дула, а не барабан) револьвера бельгийской системы «Мариетт» производства 1837 г. И потому я был несправедлив:

— Револьверы... А вы умеете с ними обращаться?

Он покосился на меня:

— Не сомневайтесь.

— Тогда ничего, а то, бывает, пальнет, сам не думая.

— Зато вы много думаете. И плачете: «Ох, курицу убили», — неожиданно сухо процедил Хилинский. — А я не плачу. Но зато я знаю другое. Курице, может, пока и нужно быть зажаренной, а вот относительно твоего «ограничения в действиях», так я знаю и скажу, что ограничивать не нужно, что человеку ни в коем случае не нужно сидеть в тюрьме, пускай себе даже несколько дней.

— И таким?

— А если уж сел — это несчастье. И наш общий позор.

— Ну ладно, хватит вам, — сказал Щука. — Я, собственно, ожидал тебя вот зачем.

Он вырвал из блокнота небольшой листок бумаги:

— Это тебе адрес и телефон Ярослава Мирошевского. Бывший прокуратор в Кладно. Но я не помню уже, то ли он, окружной прокуратор, занимал в 1939 году, на процессе Крыштофа Высоцкого, кресло обвинителя, то ли уступил это место своему вице-прокуратору... Так что он и без архива все равно должен кое-что помнить.

— Хорошо.

— Когда поедешь?

— Н-ну-у... завтра у меня еще тут кое-какие... дела... — Я вспомнил о предложении Лыгановского и, совершенно для себя неожиданно, решил, что поеду с ним. — Послезавтра — наверняка.

— Ну и прекрасно: послезавтра и мы собираемся в те края. Подкинем тебя до Кладно, а если долго не удержишься и очень попросишь, то подбросим и до Ольшан. Почти до Ольшан: перед самым местечком у нас поворот.

— Я, Клепча, — видимо, он заметил гримасу на моем лице и потому добавил: — Ну, и Адам вот собирался, кажется, к тебе рыбу ловить.

— Рыбы много.

— Ну вот, — сказал Адам, — подкинете меня до Кладно, оставите Антона, а я на следующий день приеду. Так будет лучше. Что-то и меня, старого коня на покое с двойной мерою овса, эти ножички да дамы с монахами заинтересовали. Может, свежим глазом что-то и угляжу.

— А может, так действительно лучше, — согласился Щука. — Ты ведь не при деле. Просто можешь побеседовать вечерком, с удочкой посидеть. Чтобы лишних разговоров не было!

Мы сварили свежего кофе, но решили, что если к «этому» не добавить немножко коньяку, то бессонница нам обеспечена. И мы сидели вокруг низенького столика, как три пенсионера, которые достойной работой заслужили себе достойную пенсию и теперь кейфуют, но все никак не могут забыть «дела давно минувших дней» и «битвы, где вместе рубились они», хотя никто уже на новые битвы их не зовет.

— Да, — сказал Хилинский, — чего только не было. Вспоминается мне случай с немецким летчиком, которого мы однажды умыкнули как «языка» и на радостях, что дал исчерпывающие показания, влили в него полтора стакана ошмянского самогона.

— Ну и что он? — спросил Щука.

— А он напился и, узнав, что его не расстреляют, а через фронт будут перебрасывать, от радости совсем свихнулся, раскис и решил, что он «штукас». Космич, что такое «штукас»?

— «Юнкерс-88», — машинально ответил я. — Такой пикировщик-бомбардировщик с крыльями, как у чайки.

— Знаешь, — похвалил Щука.

— Просто не забыл, — сказал Адам. — Так немец этот, расставив руки, все выл «в-ву-у, в-ву-у» и все хотел пикировать головой на мостовую.

— На какую мостовую?

— Это же в самих Ошмянах и было. Мы его переодетые вели. И, пьяный, он был нам лучше всякого аусвайса.

— вспомнил веселенькое. Только ты и мастер на такие штуки. Авантюрист паршивый.

— А что все же с тем Крыштофом Высоцким?

— Портишь ты нам отдых, — вздохнул Щука. — Говорили же тебе, что убийство. Архив сгорел или частично разграблен. Повесили человека — и все.

— Не везет роду, — сказал я. — Ну, а Владак этот?

— Тоже непонятная история, — ответил Хилинский. — В этом случае архивов вообще не могло быть. В подполье какой там архив? А Владак то исчезал из Кладно, то снова появлялся. Жители говорят, на черном рынке промышлял.

— Ну, за это не очень-то стреляли, — сказал Щука, — особенно вместе с патриотами, почти что на улице, на глазах у народа. Да еще такого «лояльного». Он ведь тогда еще и в паспортном бюро служил.

— И черный рынок? — удивился я.

— А ты попробовал бы на немецкую подачку без рынка прожить.

— Откуда знаешь?

— Я... жил. Был такой момент. И что держало в городе Владака? Мог бы к брату, в деревню, на хозяйство уехать. Может, действительно с подпольем тайно был связан, с партизанами. Случайно раскрыли немцы перед самым окружением...

— Что же, никто не помнит его настоящего лица? — хмыкнул я.

— А кто будет помнить? Может, их кости давно в земле лежат, свидетелей этих, которые знали о нем. Знало, скажем, два человека (больше и нельзя было, конспирация). И вот — один бой, налет, блокада — и готово, не разведчик, а предатель. Разве мало таких, честных людей, после освобождения и у нас сидело? А свидетелей их работы в подполье не осталось.

— А бывало, — буркнул Адам, — что из-за каких-то расчетов и живые свидетели не подтверждали.

— Как это так?

— Ну, парень, ты на луне жил, что ли? — И продолжал после мрачной паузы: — Там тоже не только герои были. Там разные люди были. Была и случайная сволочь, накипь. Залили такому сала за шкуру — то ли свои, то ли немцы. Чувствует: останется на месте — каюк, а в лесу, может, и спасется. Дав-вай в партизаны!

Выпустил сигаретный дым, не затягиваясь.

— И вот посылают кого-то на самое страшное, на службу у немцев «верой и правдой». «Иди, — говорят, — милый-дорогой, — туда-то и туда-

то: бургомистром, в управу, переводчиком, чертом, дьяволом...» И вот представим, остался единственным свидетелем один вот такой, медузоподобный. Единственным свидетелем, единственной надеждой того, кто «у немцев» работал, в «СБМ»^[139] «управлял», и кого сейчас за мягкое место берут.

— Ну и что? — зло спросил я.

— А то. Бывает, что и открестится эта «единственная надежда». «Не слышал, не видал, может, забыл, но, кажется, нет, не знаю». Отречется. Чтобы тень на него не легла, чтобы, не дай бог, карьеры себе не испортить, чтобы вылезть наверх, как поганка... Боится, дрожит: а вдруг не разберутся, да и его как соучастника загребут. А может, тот, коллаборационист, что-то о нем знал? Думаете, он в пользу другого, оболганного, станет свидетельствовать? А тем более в пользу доброго имени мертвого? Зачем? Это ему, он так считает, жить и жить, лезть вверх и лезть. А мертвому что? Мертвым все равно, им не больно.

— Могло быть и так, — сказал Щука. — Чего не бывало?

Опять раздорожье. И по какой, наконец, дороге ехать, чтобы добраться до правды?

Мы ехали с Лыгановским в город в его голубом «Москвиче». Возвращались из психоневрологической клиники.

Ему вроде бы все было нипочем. Красивые сильные руки твердо лежали на баранке, и мне казалось, что он не смотрит на дорогу, не чувствует машины, а просто слился с ней, как всякий ас автомобилевожждения.

А меня трясло от этого визита в дом умалишенных, от поворота с шоссе в длинную и темноватую аллею из высоченных туй и можжевельника, от двора, по которому ходили, словно во сне, какие-то бесцветные фигуры, даже в своих пижамах и халатах похожие на ту молчаливую фигуру в саване, что, стоя, подплывает в ладье к «Острову мертвых» Бёклина^[140].

Я был благодарен Лыгановскому, что он не повел меня по палатам, а попросил санитаров приводить тех больных, каких он назовет, и каждому из них представлял меня не как постороннего человека (возможно, — я страшился такого, — будущего их соседа), а как врача, который пока их посмотрит, потом обязательно поможет.

Я только урывками ловил его комментарии, когда уводили очередного

больного. Передо мной все еще стояли лицо, глаза, поза несчастного, его речь, временами, кажется, и складная, имеющая смысл, а временами напоминавшая сопревшую на две трети ткань из кургана, по остаткам которой лишь с трудом можно представить изначальный узор.

— Говорил... одного... не потому, что ракета взорваться... Космосу не больно... приказ правительства... могло там... Аэлита.

Одна из десятков возможных разгадок этой головоломки могла быть такой:

— Говорил же я, чтобы послали меня одного. И не потому, что ракета взорваться может, если в экипаже лишний. На земле не взорвется. Космосу не больно. И это был приказ правительства, а на месте не послушались. Самое худшее, что взорваться могло там, а там Аэлита.

Его сменял второй, который был уверен, что жена рвется к нему (когда-то она не только изменила ему, но и продала его), уже десять лет ожидает за углом дома, но ее к нему не пускают.

— Она вышла во второй раз замуж девять лет назад, — буркнул Лыгановский, когда человека, который захлебывался рыданиями, увели.

И еще. И еще. А тут голос человека, который привык ко всему этому, хотя где-то внутри ему, может, и больно, комментирует:

— Психоз Корсакова — особая форма психических расстройств на почве алкогольной интоксикации. Характеризуется изменениями памяти и множественными поражениями нервов. Или: разность полей зрения. Но проведена проверка с помощью измерения мозговых волн, и разницы в их форме я не вижу.

Или еще:

— Ни сумасшедшим, ни эпилептиком, судя по всему, его считать нельзя. Нет никаких оснований говорить об органических мозговых изменениях. Нужно думать, что причиной его болезни скорее всего являются психические, душевные свойства.

Он пристально посмотрел на меня:

— Как у этого вашего типа из Ольшанки. Хотел бы я как-нибудь побеседовать с ним.

— А кто запрещает? Соберитесь и приезжайте на день-два. Понаблюдайте.

— Может, и приеду. И не только за ним наблюдаю, — добавил он со значением. — Может, и у вас некоторые «симптомы» начали проявляться.

— Воля ваша. Но что это даст?

— Опытному врачу даст. Хотя, конечно, лучше было бы провести тесты на запоминание, элементарные умственные способности и... сделать

проверку реакции на наркоз.

— Запоминаю — отлично, способности — ну, обычные. Наркотиков не употребляю. Да и мало кто, наверное, у нас употребляет. Это не Гонконг.

— И надо бы провести, — гнул он свое, — всестороннюю проверку умственных способностей и анализ характера по методу Роршаха^[141].

А перед нами проходили новые и новые тени. Один больной, дегустатор с винзавода, прочитал нам целую лекцию:

— До 1878 года — профиллоксера. После нее вина уже не те... Пробку меняли, а то надо было отбить горлышко... Под горлышком держали свечу, чтобы быть уверенным, не попала ли в вино соринка. И ни горчичной ложечки осадка. Вы уже таких вин пить не будете.

— Ни о чем другом говорить не может...

За ним актер, громящий кого-то отрывками из пьесы, которой никто не видел и видеть не будет. Он жестикулировал, как оратор на форуме.

— И роль в ней мне не дали... Английская... Язык Шекспира — это ясно. А то, что вы называете просто английским — это ряд мычаний и вариаций одной-единственной гласной, с помощью которой общаются девять десятых жителей этого острова. — И бросился к окну, как бы распахивая его. — Слушайте! Перезвон! Звон о нас! Слушайте все, все. Да поможет бог этому старому дому.

Я больше не мог этого выносить.

— Что, чувствуете faux pas^[142]? — спросил психиатр.

— Felix opportunitate moris^[143]. Мне стыдно.

— Что поделаешь. Многих из них не вылечишь. И стыдиться нечего. Придет время, на этих, безнадежных, мы накопим материал надежды для других. И тогда единственным неизлечимым отклонением в психике будет то, о котором и теперь говорят: «Болван, каких мало».

— Лишь бы не за штурвалом.

— Ну, это уже не дело психиатров.

— Идемте, идемте отсюда.

Он говорил все время с грустной улыбкой. А на меня катились волны человеческого горя. Огромные валы черной воды. И это были наши неудачи и бедствия, наши невзгоды и злоключения. Все грани нашего несчастья: атомного, милитаристского, сексуального. Грозного. Чем мог помочь против этих нескончаемых бедствий какой-то там старый, добрый бром? Старый экипаж Флинта теперь даже свою известную песню пел бы совсем иначе: «Йо-хо-хо и бутылка брома».

Я не мог больше смотреть в глаза этим людям и взмолился о пощаде.

И вот мы мчались обратно, постепенно въезжая в поздние весенние сумерки.

— Ну, — сказал лекарь, — теперь вы сами видели это отчаяние. И чтобы не дойти самому до такого, оставьте все свои занятия, перестаньте думать обо всем и уезжайте куда-нибудь на море, в горы, в степь. Остерегайтесь иллюзий.

— Хорошая иллюзия, если я сам видел тени на галерее и все другое... Это что, необъективное впечатление?

Он улыбнулся красивым ртом:

— Средневековые колдуньи, чтобы «летать», натирались мазью. В ее состав входил аконит. Он создавал вполне «объективное» ощущение полета. Однако же вы не будете опровергать, что это была чисто субъективная иллюзия.

— А это что, тоже субъективная иллюзия, когда мои бумаги пару раз были перевероршены?

— А вы не могли сделать этого сами... гм... в возбужденном состоянии?

— Клянусь вам, что во время этих «иллюзий» я с места не мог сдвинуться. Был словно прикованный. Все мускулы одеревенели... Чем рассуждать, вы бы мне что-нибудь дельное посоветовали.

Я сказал это, пожалуй, слишком пылко. И не удивительно: меня-таки испугали те круги Дантова ада, через которые он меня сегодня провел.

— Советы? Ну, не пить. Вы много пьете?

— Немного и довольно редко.

— Курить... Лучше всего... Обязательно бросьте курить.

— Ну, вы уж слишком многого требуете.

— Может быть. К тому же курение в вашем случае, может, и не очень вредит. Лучше, конечно, бросить, если хватит воли. Просто было бы замечательно, если бы бросили. Но я тут плохой советчик, да и требовать не имею права. Сам дымлю, как паровоз. С войны. С фронта. Ну, может, немного меньше курите. Наконец, это не самая большая беда. Главное — оставить дела, чтобы вокруг были только солнце, зелень, свежий воздух, покой. Тогда и дымить можно. Немного.

Поставив машину, мы шли домой.

— Что, Герард, — спросил Пахольчика врач, — как наше условие?

— Вынужден повиниться. Не достал, и какое-то время, наверное, не будет. Перебои.

— А, ладно, — махнул рукой Лыгановский. — Покурим что-нибудь другое.

...Мы подымались к себе. На площадке, где была квартира врача, встретили Хилинского, который спускался вниз.

— День добрый панству. А где это вы, Космич, пропадали целый день? Компания? Женщины?

— Компания у меня была *nie wielka, ale bardzo porzadna*^[144], — ответил я словами не очень пристойного польского анекдота.

— Ксендз? Органист?

— Нет, те в Ольшанке...

— Неужели остальные из этого анекдота?

— Да нет...

Я готов был брякнуть что-то правдивое про события этого дня. Но тут, дай бог ему здоровья, меня выручил Лыгановский. И в самом деле, если клиент не желает беречь врачебную тайну, то это — хочешь не хочешь — должен делать за него сам врач. Даже наступая дураку на язык.

— Он не скажет, — встрял Лыгановский. — Бывают случаи, когда надо держать язык за зубами. На мой взгляд, он сегодня целовался с чужой женой.

— Боже мой! — вздохнул Хилинский. — И все это происходит в правовом государстве.

Помолчали.

— Хотя теперь пошли мужчины сплошь, как из анекдота: «Ваша цель что? Поцеловать мою жену? Ну, так окончив свое дело, вы можете уйти...» Словом, Антон, если ты говоришь, что рыба там хорошо ловится, то я, может, на днях заеду к тебе. Остановиться есть где?

— Этого добра хватает.

— А знаете, — сказал Лыгановский, — может, и я подскочу на денек-другой. Скопилось несколько отгулов. И так опротивел город. Жара. Ноги в асфальте вязнут. А там ведь — конец мая.

— И вдобавок, — сказал я, — благодаря поздней весне кое-где в зарослях да в борových оврагах еще есть сморчки. Ну, много не обещаю, а пожарить насобираете.

— И сморчки? — охнул психиатр. — Все! На коленях приползу. А может, вместе подведем? Вы когда собираетесь, Адам Петрович?

— В том-то и дело, что точно не знаю. Надо бы съездить на денек к родне под Кладно... Может быть, там, в Ольшанке, встретимся. Встреча будет еще приятнее.

— Да. Запланированность всегда пасует перед сюрпризом.

Мы расстались.

Больше всего я люблю вот такие неожиданные, как головой с обрыва,

поездки. Когда собираешься наспех, когда не зависишь ни от автобуса, ни от билетных касс, а только от мастерства водителя да исправности машины, когда где захочешь, там и остановишься на берегу реки или на опушке леса, если придет желание полежать в сочном клевере или в дурманящей — под осень — конопле.

Выходишь в пять утра, зевая от сонного холода, постепенно разогреваешься, закуливаешь первую сигарету, и она особенно вкусна на утреннем, совсем еще чистом воздухе.

Идешь загодя условленным маршрутом, и тебя где-то дорогой подхватывает Щукин «козел» — одна из любимых мной машин, особенно, когда лето, и брезентовые «стены» подобраны вверх, и ветер как хочет играет волосами, одеждой и все такое прочее. Да еще если, кроме водителя, тут же на заднем сиденье с тобой Щука и Хилинский.

Портит, правда, немного в этот раз настроение присутствие рядом с шофером сердечного друга, «непреклонного» Якуба Клепчи. Но что поделаешь, никогда на земле не бывает стопроцентного счастья. Примиримся и с восьмидесятипроцентным.

Мелькают речки, крестьянские возы возле шлагбаумов, леса, поляны посреди ржи, на которых — огромные, как священные дубы предков, дикие груши. Пролетают пустоши, поросшие вереском. На них белорусскими кипарисами возвышается мрачный можжевельник.

А там промелькнули на холме руины замка или старинного оборонительного костела. Хатки прилепились над оранжевым речным обрывом, а немного поодаль, в заводи, шевелятся от течения плети водокраса и цветет водяная гречиха.

Край мой! Родная земля моя! Как же мне жить без тебя? Как мне быть, когда я умру и, может, бытие мое еще некоторое время не закончится — и это и есть обещанный мне ад? Без тебя.

Кого спросить об этом? Ясно же, не Клепчу, который говорит штампами и чересчур возвышенно. И ему было бы все равно где родиться, потому что повсюду он бы «сполнял дело». Никогда не пришли бы ему в голову слова словацкой песни, которые придумал когда-то какой-то неизвестный чабан, горный «бача»:

Кто тя буде, винко, пити,
Кед я будем в хробе гнити?

Ясно же, что спрошу у двух остальных, которые платили за то «винко», за можжевельник на пустошах, за этот белорусский воздух самой

жизнью. Но нет, и у них не спрошу. Просто буду смотреть на них и временами безотчетно делать выводы.

И вот уже слева стремительная прозрачная река, а на горизонте дома, шпили звонниц.

Это Кладно, едва не самый любимый мной город на любимой мной земле. Кварталы свежеиспеченные сменяются потом старыми, с кривыми улочками, с домами, окна которых едва проглядывают сквозь стену буйного зеленого дикого винограда. И глухой комплекс католического монастыря визиток, а подальше возносится к небу уже триста лет фарный костел. Город мой, город, со своим лицом, запахами, полифонией звуков, со своим безгранично прекрасным обликом!

«Козел» остановился возле скверика на площади. Я вылез.

— Мы тут на Аптечную завернем, а ты, хлопче, валяй по Замковой и потом направо. Провожать тебя к крыльцу незачем. Да тут и недалеко. Даем тебе максимум пять часов и ожидаем возле Бернардинов. Если решишь остаться — предупреди. Нет — подбросим до Ольшан.

— Ну, а я тут в гостях у родни задержусь, — сказал Адам. — Приеду завтра или послезавтра.

...Дом по нужному мне адресу стоял на одной из тех зеленых то ли улочек, то ли переулков, которые спускались в приречный овраг. Внизу текла одна из многочисленных речушек (не Кладничанка ли), и каждый переулок заканчивался мостиком через нее, а на другом берегу опять карабкался по склону оврага на этот раз вверх.

Дом, который я искал, был типичным фольварково-шляхетским домом, какие тысячами были когда-то разбросаны по Белоруссии, а теперь встречаются все реже и реже, и какие так любил и умел изображать Генрих Вейсенгоф^[145]. Длинный, одноэтажный, с высокой крышей и побеленными колоннами на крыльце, с голубыми ставнями и радужными от старости стеклами, глядящими в запущенный сад, в заросли старой древообразной сирени.

Такие, казалось бы, неброские, скромные, милые, даже вроде бы неказистые, они, однако, сердце нашего края. Ибо это в таких вот домиках родились, оперились и возмужали не только наши, белорусские, но и польские Честь и Слава. Из таких домиков вылетели в свет Богушевич^[146] и Чечот^[147], Купала и Калиновский. В таких домиках засияла первая искра жизни Мицкевича, Монюшко и Костюшко.

Я, конечно, не ожидал, что меня встретит в дверях одна из вышеупомянутых личностей. Толкнул скрипящую калитку, прошел

аллейкой под сиренями, перемешанными с бересклетом, жимолостью и махровым шиповником, дернул за язык медного змея (где-то в доме забренчал звоночек) и через минуту услышал довольно уверенные шаги. Дверь открылась, чья-то рука сделала приглашающий жест, закрыла за мной дверь (на пол легли разноцветные пятна от двух окон, что были по обе стороны двери) и только тогда нажала на выключатель.

Старик в тренировочных брюках и полотняной рубашке с короткими рукавами рассматривал меня вовсе не старческими, не выцветшими серыми глазами.

— Антон Космич, — сказал я.

— Мне звонили, я ожидал вас. — Голос был баритонально-басистый, слегка надтреснутый, но тоже еще довольно молодой. — Ярослав Мирошевский, бывший окружной прокуратор, а ныне... гм... пенсионер. Проходите.

Дом был обставлен, наверное, модно во времена сецессионного ^[148] символизма, стиля, который на нашем белорусском востоке и в Москве на рубеже столетий назывался «купеческим модерном». Это не очень вязалось бы с внешним видом дома, если бы не то, что «модерну» в те времена всегда сопутствовала так называемая «хлопомания». Поэтому рядом с витражами в нескольких окнах, с двумя-тремя картинами, которые были бы как раз к месту на стене в «Яме Михаликовой» ^[149], рядом со всем иным таким, вычурным, на стенах висели дубовые полки с затейливой резьбой и ложечники, висели и лежали на полу и тахте народные ковры. Висели грубо нарисованные на стекле «Бегство в Египет» и белостокские, с оленями, ткани, стояло несколько старинных предметов домашней мебели. И все это вместе создавало некое подобие гармонии.

Он провел меня в кабинет, вся обстановка которого состояла из грубо обструганных полок с книгами, письменного стола величиной с поле боя под Оршей, деревянной кушетки и деревянного, самодельной работы, кресла с вышитой подушкой на нем.

— Жена уехала к внукам. Я один. Потом, стало быть, сходим в ресторан. А пока будем пить чай. С земляничным вареньем. Прошлогоднее. Ну, теперь и до нового недалеко... Любите с земляничным?

— Еще бы.

— И я люблю.

Когда появился фарфоровый пузатый чайник-самовар, серебряные, хотя и немного помятые, чайничек с заваркой, сахарница и кувшинчик со сливками, а также тарелка (да, обычная тарелка) с земляничным вареньем и

две розетки, он усадил меня на старинную деревянную кушетку, налил чая, положил варенья и стал меня рассматривать.

А я рассматривал его.

Высокий и, несмотря на старость, худой, не обрюзгший. Худой не от «злой жизни» — подтянут по-спортивному. Желтое, сухое, строго классическое лицо, и на нем синевы небесной глаза. Не хотел бы я, чтобы человек с этими глазами судил меня.

Нет, по виду не старик. Нос не отвисший, седые, глубокого серебра, волосы лишь слегка поредели со лба, рот твердый, губы хотя и утратили цвет, но сохранили хорошую форму. Движения хотя и немного замедленные, но точные и выразительные. Сразу видно былую статью и породу.

А в глазах рядом с юморком пристальное, пронзительное внимание, широкий ум.

Нет, не хотел бы я быть подсудимым при таком прокураторе. Справедлив-то справедлив, но если ты виновен — милости не жди.

— Значит, вы интересуетесь процессом «Родственники Юльяна Сая против Крыштофа Высоцкого»? Июль-август тридцать девятого? Ну, поскольку уже понадобились живые архивы, то я к вашим услугам. Конечно, настолько, насколько могу надеяться на свою память. Тем более что я тот процесс не вел, а передал его моему энергичному помощнику, вице-прокуратору Рышарду Мысловскому.

— Почему?

— Ну, он был молодой человек. Полный молодого стремления к почету и славе. А мне тогда было уже почти сорок. Нужно было дать ему возможность выдвинуться. Я его уважал...

— А кроме этого?..

— Смотрите в корень? Это хорошо, что сразу заметили и «кроме»... Я почти никогда не связывался с процессами, от которых хотя бы самую малость пахло политикой. А если связывался, то прокуратор из меня в этом случае был никуда не годный. Как только я убеждался, что человек честно шел на свое дело, адвокат почти всегда выигрывал процесс.

— И такое было возможно?

— Так, чтобы никто не мог прицепиться, — трудно, но можно... Не верите, думаете, виляю языком? Если бы вилял, если бы был прокуратор-инсинуатор, прокуратор-колонизатор, то не пенсия мне была бы от новой власти, а вилял бы языком где-нибудь на Вилюе.

— А разве то убийство было политическое? Вы как думаете?

— Поначалу выходило на все сто, что политическое. Только слишком

уж какое-то... мерзкое, грязное, с паскудинкой. Будто не «политик» делал, а этакая мелкая гадючка. Хотя в политике и таких хватало и хватает. Ходили слухи, что этот парень будто бы входил в какую-то подпольную студенческую группировку. С его именем связывали дело с листовками в Кладненском театре, «Экс»^[150] банковской машины. Но два свидетеля были связаны с полицией. И эти дела, в которых Крыштоф участвовал, повредили ему больше, чем убийство. Ну, а потом началось такое, что я за голову схватился, и единственным утешением было то, что покарания смертью и Рышард Мысловский добьется.

Так вот как это было.

РАССКАЗ БЫВШЕГО ОКРУЖНОГО ПРОКУРАТОРА ЯРОСЛАВА МИРОШЕВСКОГО О ПРОЦЕССЕ 1939 ГОДА, НА КОТОРОМ ОБВИНЯЛСЯ В УБИЙСТВЕ МЕЩАНИН КРЫШТОФ ВЫСОЦКИЙ

— Снова предупреждаю: говорю только то, что помню. И поручиться за каждую деталь, за каждую мелочь, за каждый валёр, оттенок, — не могу.

Это было, если не ошибаюсь, весной 1939 года. В тот день я как раз подписывал так называемые «уможенювки». Одна из самых неприятных обязанностей прокуратора. Это значит, «морил» кратким решением дела, подготовленные вице-прокуратором: «нет состава преступления», «самоубийство», «виновник не найден», «несчастный случай». Разобраться в этом толком времени не было, и если твой вице — лентяй, то вполне может быть, что уморит кто-то, да хотя бы и ты сам, за какой-то там день и полный короб улик, и убийство, и самого преступника, который в это время в сквере на противоположной стороне улицы сигаретку покуривает.

Настроение у меня по этой причине — хоть вешайся. А тут папка, а в папке бумажки. И я те бумажки должен «уморить» по той причине, что нет состава преступления и не наше земное дело его судить, а судить его будет бог, потому что самоубийство — это нарушение божьего закона и преступление против бога и своей бессмертной души.

Что в папке? Рапорт полицейского, показания свидетеля, какого-то Язепа Шевца, который, собирая клюкву, наткнулся на мертвое тело, протокол судебного врача, писанный, видимо, левой ногой, одна гильзочка от патрона для пистолета калибра 7,65 и грязноватый листок бумаги, на

котором черным по белому написано:

«Прощайте, люди. Прощайте и вы, мои родственники, которые не поверили моему тяжелому положению и тянули с тем, чтобы помочь мне. Имя мое Крыштоф сын Леона Высоцкий. Благодаря неизбежному, фатальному стечению обстоятельств, совершил в Кладно мошенничество и растрату. Боюсь не того, что за мной по пятам идет полиция. От нее я скрылся бы. Но куда убежать от собственной совести? Не хочу жить запятнанным и потому лишаю себя жизни».

И подпись с вензелями. И никаких, до ясной холеры, документов.

Собрался я уже и это дело подмахнуть, но что-то царапнуло у меня в душе. «Нет, — думаю почему-то, — „морить“ это дело еще рановато».

Почему? А потому, что раны две (в ямку на границе шеи и груди, ту, где «душа живет», и в левый висок). Первое место смертельным считают крестьяне, а мещане, да еще с претензиями на «культуру», — реже. А левый висок? Левша был, что ли? Или, может, по старой, «царской» еще памяти. Тогда левшей (кажись), людей с плоской стопой да еще импотентов в армию не брали. И столько их тогда у нас развелось — Нарочь запрудить было можно. А потом этот «бракованный», со «стопой», так от лесника, глядишь, дает стрекача, что только валежник трещит. А у импотента полна хата детей. И проваливается с треском дело с поставкой государству только полноценных жеребцов.

Притом гильза одна, а в деле нигде ни слова про пистолет.

Ну, через дежурного ассессора приказываю выяснить все относительно оружия, произвести вскрытие трупа. Звоню в полицию, справляюсь, не объявили ли они розыск такого-то мошенника и растратчика.

Не успел чашечку кофе выпить, из комиссариата отвечают: оружия при тленных останках не нашли (сам мертвый занести никуда, конечно же, не мог, значит, кто-то подобрал, и теперь жди новых эксцессов, если оно, оружие, в плохие руки попадет).

Медлить тут было нечего. Заказал машину (как сейчас помню, немецкий «мерседес-бенц») и еду в уездную коменду (управление) в милой компании судьи-следователя, старшего руководителя следственной бригады и пары полицейских.

Едем на место происшествия.

Остановились, помнится, на опушке и направились к месту происшествия. Полицейский тыкает пальцем на то место, где, «кажется», нашел останки тот мужик.

— Как лежал труп?

— Головой вот сюда, к тому обрывчику. И кисть одной руки

свешивалась с обрыва.

Я глянул вниз — внизу трясина. Да не такая, на которой сивец^[151] (или он белоус?) растет, когда, соблюдая осторожность, еще можно пройти, а этакий зелененький коврик, в редких разрывах которого нечто вроде свежезамешанного жидкого цемента. Если самоубийца откинул руку после выстрела, то до страшного суда никто того пистолета не найдет. Как раз такой разрыв на этом месте.

Спрашиваю:

— Левая рука была откинута?

— Гм... дайте подумать... Нет, правая. Да, правая.

«Что же он, — думаю, — через голову стрелял? Или, прострелив висок, аккуратно переложил пистолет в правую, будучи практически уже мертвым, и только тогда руку откинул? Что-то не клеится».

Ну и на месте поторопились. Чересчур поверили записке. Это не то, что теперь (хотя и теперь изредка случается), когда в подобном случае такой тарарам поднимут, что не только весь уголовный розыск, но и всех чертей в аду шатун шатает.

А тут, помимо всего прочего, столько следов натоптали, словно на этом месте всем добрым людям округи бесплатно голую Мери Пикфорд показывали в компании с Дугласом Фербенксом (потому что и женские следы были). И еще показывали какую-то свинячью кинозвезду, потому что лесничий указал нам на следы: прошло большое стадо диких свиней. Они тоже могли затоптать чей-то нужный нам след.

Словом, ни следов, ни пистолета, ни второй гильзы (такую мелочь, конечно, легко и потерять в прошлогодней листве, а тут еще как раз начали опадать листья с зимнего дуба).

Так вот, поцеловали мы пробой и вернулись домой.

К этому времени были готовы результаты вскрытия: две огнестрельные раны — грудной клетки (слегка сверху вниз, справа налево — ничего себе, левша!) и головы (от левого виска вверх, пуля осталась в черепе). После первой раны он мог еще минут двадцать жить, после второй — сразу потерял бы сознание. И — вот что такое эта проклятая магия общей предвзятости, общей мысли, общего убеждения, общего ошибочного взгляда, холера бы ихней матери, — врач делает вывод, что «не исключает самоубийства».

Ну, первый выстрел даже типичен для самоубийц в смысле направления пули. Но чтобы еще умудрился пистолет переложить в левую руку да во второй раз выстрелить — это так же редко, как у самурая, когда тот делает харакири. Два или три случая за всю историю Японии, когда

вспорол живот не только слева направо (или как там), но и снизу вверх.

Нет, здесь что-то не так. А тут телеграмма, что служащий фирмы такой-то и такой-то смошенничал дважды на оптовых поставках товара (считай, пять тысяч злотых в кармане) и с начала июля прошлого года присвоил еще три тысячи. В то время — это огромные деньги. Если по-крестьянски считать, так это четыре тысячи пудов жита, или сто очень хороших и восемьдесят элитных, чистопородных коров, или сорок добрых коней. Ну, а кабанов пудов по десять — восемьдесят штук, а уж молочных телят месячного возраста — тех пятьсот с гаком. А если домов с мезонином в таком городке, как Слоним, — то штуки четыре-пять. А ежели быть модником, то четыреста пар самых лучших туфель, самых модных, самых дорогих, хотя бы и из крокодиловой кожи.

А если быть поизворотливее, то во время кризиса и после него, подпалив застрахованную хату (а страховка до кризиса сто злотых стоила), можно было на те страховые деньги два хороших дома построить, иногда даже кирпичных.

"Что же это ты, — думаю, — хлопец, не очень-то мучился совестью, когда мошенничал, тут тебе только бы жить, жареные гуси сами в рот падают, а ты вдруг каяться начал? И бояться не надо было, потому что родственники внесли всю сумму, о чем самоубийца, скрывшись, не знал (а почему тогда в записке на их черствость ссылается?).

Разослали фотокарточки. Тетка Высоцкого сказала, что точно идентифицировать племянника не может, давно видела (милая патриархальность семейных отношений!), но вполне может быть, потому как и тип на фото и племянничек — оба щербатые, нет двух передних зубов. Совсем как в мудрой нашей сказке, когда медведь оттяпал одному нашему соотечественнику голову, а соседи задумались, была у того голова или нет, и, наконец, решили обратиться к жене безголового. Та ответила точно так же, как и тетка: «Утром, когда щи хлебал, так бороденка болталась, а была ли голова, нет ли — не припомню». И еще признала эта мудрая дама куртку лесника, которую племянник из какого-то каприза иногда носил.

Вызвали ее лично — результат не лучше: «Пожалуй, что он, но очень изменился».

— Особые приметы были?

И снова пришлось объяснять, что это такое.

— Ну как же, — обрадовалась тетка, — след после удаления аппендикса.

Поглядели — есть шрам, целых двенадцать сантиметров в длину. Она

уже хотела идти, но тут мне пришло в голову:

— Когда ему удалили отросток?

— Ну, точно не знаю («была голова или нет»), но лет семь — восемь назад.

— А с какого времени этот шрам? — спрашиваю у врача.

— Ну, труп даже на льду начал понемногу... гм... трудно точно сказать. Но кажется, что этому шраму с год. И не больше двух.

— Да нет, это раньше было, — возразила тетушка. — Еще в лесной школе учился.

«Надо будет помышковать по лесничествам от Кладно до Ольшан», — подумал я, да на некоторое время забыл об этом.

А между тем графическая экспертиза дала заключение: записка написана рукой Крыштофа Высоцкого.

Никто из нас не подумал, что это, собственно говоря, не имеет никакого значения. Так вот, и невеста Высоцкого, некто Антосевич, опознала на фотографии жениха.

Словом, одновременно тупик и выход, смотря по тому, кто чего хотел от следствия.

И вот тут я передал дело в руки вице-прокуратора Рышарда Мысловского. Не потому, что боялся трудностей, а потому, что хотел его победы, хотел, чтобы он твердо встал на свой путь. Оба мы внутренне были убеждены, что это не метод Иуды, но метод Каина, не самоубийство, а убийство, и что убийца — сам Высоцкий. Назовите это интуицией, плодом большого опыта и наблюдений. Но я был уверен. Он — тоже. И нет, как говорится, причины объяснять почему. Оставались вопросы, на которые мы не могли ответить.

Кто был убитый? Почему переоделся в одежду Крыштофа? Как его заманили в эти дебри?

А тут еще поползли слухи, что убийство произошло на политической почве (язык без костей, а политику тогда — и, к сожалению, не только тогда — искали во всем). Надо было торопиться. Каждый последующий акт, совершенный в самом деле во имя политики, мог низринуть с места лавины. Мы не знали, что через каких-то полгода Польше будет не до политической охоты за ведьмаками^[152] и ведьмами, и то единственное, что ей будет важнее всего, — это ни меньше, ни больше, как право дышать и вообще жить.

Антосевич, правда, призналась, что поссорилась с женихом дня за два до его смерти (он рассказал ей про деньги, и она потребовала вернуть их фирме, а он не хотел) и больше с ним не виделась. А поскольку свято место

пусто не бывает, то она уже завела себе нового «рыцаря».

И вот что значит пересолить, нагромоздить больше, чем нужно, явных и косвенных доказательств. Больше, чем их могло быть.

Прибежала панна Антосевич в комиссариат и говорит: получила письмо от Крыштофа. А в письме слова: «...когда получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Мне не жаль оставить землю и тебя. Счастья тебе!» И фото.

А штемпель нашей почты... на пять дней позже самоубийства поставлен. А штемпель места отправления такой неясный, что неизвестно, откуда послано письмо: из Кракова, Гдыни, Новогрудка...

А снимок сделан на улице. И где-то я эту улицу видел. И кажется мне, что в Варшаве. И не Краковское ли это предместье? И не угол ли это костела свентэго Кшыжа (святого Креста)? И не поискать ли где-то в районе Свентокшыжской, где-нибудь на Новом Свете или на Крулевской фотомастерскую, где это фото отпечатано?

Запрос. И ответ: есть такой уличный фотограф, есть и фотомастерская в этом районе города. И находится она как раз на Крулевской. И фотокарточку вышеупомянутого пана отдали печатать через два дня после его «самоубийства», а на следующий день он сам зашел за нею. Как говорится, полон жизни.

Ясно, что жив, и яснее ясного, что это он сотворил тогда в лесу ту подлость.

И тут ход событий, поначалу такой медленный, вдруг сорвался на бешеный галоп. Галопом прибегает в Кладненский комиссариат панна Антосевич и рассказывает, что шла со своим «новым» кавалером по Замковой улице (вы шли по ней ко мне) и, кажется, видела Крыштофа, а он юркнул в толпу, и что теперь он ее ножом или еще чем-нибудь «залатвит» (прикончит), как в знаменитой песне «Четыре мили за Варшавой», той самой, что теперь входит в золотой фонд репертуара певца Яремы Стемпковского.

Ну, обложили ее дом, установили наблюдение за районом. И уже через два дня функционеры полиции устроили ему встречу в подъезде дома «на Кладнице», где жила бывшая любовь. Неизвестно, в самом ли деле она «не ржавеет», или должна была умолкнуть.

Спросили, не Высоцкий ли? Нет, я — Юльян Сай. И соответствующую метрику показывает. Однако не скандалил, когда его посадили в «кошелку для редиски» и отправили куда следует.

И вот тут я подумал, что метрикой пользуются преимущественно в деревне, что искать надо, между прочим, и в лесничествах. И уже в

седьмом из них была найдена семья по фамилии Сай. И ничего там про убийство не слышали, а сын их Юльян Сай уехал поступать в школу «на лесничего».

И тут завертелось колесо.

И показания Саев: отца и двух дочерей. И показания родственников Высоцкого. И позже очные ставки — все пошло в ход. Картина преступления стала такой ясной, как будто я его наблюдал от начала до самого конца.

Поначалу узнали биографию. Выслушали ее с судьей-следователем и вице-прокуратором и не удивились.

Байстрюк, отца не помнил, да и мать его, видимо, плохо знала. Поэтому фамилия у него — матери. Потом и мать уехала куда-то на работы в Баварию (тогда вербовали), а его, двухлетнего, оставила бабке, своей матери. Через десять лет та умерла, и подросток перешел на руки тетки, младшей материной сестры. Та была учительницей, муж ее — тоже. Она была старше парня только на десять лет и... словом, из тех, о ком говорят: «Пробы ставить негде...» Учился хлопец и даже ум и способности проявлял незаурядные, но учился неровно. А тут еще родная тетка «помогла». Открыла ему, пятнадцатилетнему, все, какие сама знала, «тайны Амура». Словом, подготовила из неустойчивой личности, да еще и не личности пока что, материал для законченного, закоренелого негодяя.

Дядюшка что-то подозревает. Дядюшка племянника и собрата спихивает в лесную школу в Бялэй-Подляске. Тот заканчивает ее, и даже успешно. Потом служит в государственных лесах. А потом начинается калейдоскоп. Женился на вдове, продал хозяйство, переехал в Варшаву. Обокрал молодую до нитки и скрылся. Поймали. Дали восемь месяцев. Добрые люди подчас годами ожидают амнистии, а негодяю, как всегда, амнистия тут же подвалила. Поговорка эта наша непристойная, но что верно, то верно: «богатому черт и в кашу кладет, а бедному и в похлебку льет». Словом, где и без того густо, надо, чтобы еще гуще было.

Освободившись, устроился практикантом у лесничего Хмелевича. И почти сразу же испарился вместе с деньгами, удостоверением личности и пистолетом (вот откуда начала виться нить замшанской трагедии).

Снова в Кладно. Здесь и познакомился с Антосевич. Что ж, парню двадцать восемь (ей девятнадцать), на вид приличный, конечно же, «неженатый». Коммивояжер, но ведь не так сложно и якорь бросить, скажем, в фирме «Ян Плицка и сын». Лесная фирма. И он — находка. Лес знает, знакомства в LP (lasu państwowe — государственные леса) имеются, чуть ли не до улицы Вавельской, 54, где главная дирекция (по крайней

мере, так говорит). Спец и по фанере, и по скипидарням, и по перегонке осмола и живицы. Он тебе и книги вести умеет, и инкассатор — находка, и только. Растет доверие — растет и размах мошенничества. Ну, здесь подробности не нужны. Тонкое было плутовство. Так и накрутил он себе восемь тысяч злотых. Ну, а почему-то открылся панне Антосевич. Та сказала, чтобы возвратил деньги. Он — ни в какую. Поссорились. И тогда он смылся один.

Присматривался, куда можно было бы вложить капитал, разъезжая на велосипеде в мундире лесника приблизительно в многоугольнике: Августов — Белосток — Новогрудок — Ольшаны — Лида. В Кладно, конечно, не заезжал.

И вот Замшаны и хата лесника в Темном Бору. В доме старый Андрон Сай, старшая дочь Агата, сын Юльян да младшая дочь Ганна. Зашел напиться и ночевать остался. Ну, а где ночлег, там у нас и ужин. Нашлась и бутылка. Нашлась под нее и добрая беседа... Доверчивость эта наша, простота — хуже любого криминального, любого государственного преступления.

Андрон был старой школы, когда от лесника только и требовалось, что знание леса на участке да честность. А новые времена требовали еще и кое-какого образования. И лесник «с образованием» показался им всем личностью приблизительно того самого сорта, как в нашем кругу доктор гонорис кауза Сорбонны или лауреат Нобелевской премии в области кибернетики.

Разговорились по душам. Андрон пожаловался, что его наследный принц не унаследует после него лесного королевства Замшанского, что единственный теперь способ вывести детей в люди, спасти их от нужды — это дать им образование или хотя бы нужную специальность. И хотел бы Юльян стать лесником, но где денег взять, у кого заручиться поддержкой?

Ясно, что приезжий из города всегда имеет преимущество перед деревенским, тем более перед лесным человеком. И понаслышке, и читал кое-что, и даже, пускай без охоты, видел многое. Хотя, может, и глупее деревенского, как почти каждый породистый пес глупее дворняги. И куда более неприспособлен к жизни.

— А может, и я помогу, — сказал Крыштоф. — Я окончил Высшую лесную школу в Цешине. Знакомства в лесничестве остались.

Не знаю, возможно, с этого хвастовства, которое не имело никакой цели — простая хлестаковщина! — все и началось.

Юльян явился. Лет на шесть моложе Крыштофа, но фигура, цвет волос, черты лица были у них немного похожи. Когда улыбается — двух

передних зубов недостает.

Гость начал расспрашивать Юльяна, где да что, да как с хлопцами дружит, да имеет ли он друзей, родных, знакомых на Краковщине, под Бельской-Бялэй, Цешином, Рыбником или Живцем. Тот не знал там никого, да и здесь у него было мало друзей.

— Там предпочтение отдают людям стопроцентно здоровым. Даже чтобы гланд и аппендикса не было.

— Аппендикс удалили.

— Там на здоровье не меньше смотрят, чем в армии. Отбор.

— Ясно, что отбор, — вставил и старик. — Ведь только и имеем право на триста шестьдесят тысяч войска.

— По Версальскому договору, — сказал Крыштоф, «просветил» темных. — Немного, поэтому нужны отборные.

Это уж позже, когда мы его, скурвысына, раскололи, он признался, что уже тогда задумал «подставку», потому что полиция его рано или поздно поймала бы.

Утром сказал, что скоро вернется, вот только в Цешине справки наведет и на кого надо нажмет. Ну, а поскольку паспорта тогда были необязательны и многие, особенно из деревни, их не имели, то достаточно метрики и удостоверения за четыре класса начальной школы. Ну и денег немного на одежду и на первое время.

И удостоверение лесничего Хмелевича — на стол. А где уж тем простым, простодушным и нехитрым людям, непривычным к обману, было заметить, что Хмелевич лет на пятнадцать старше и что «дистинкций», то есть знаков отличия лесничего, у Высоцкого на мундире нет.

Ни в какой Цешин он, конечно, не ездил. Вернулся через несколько дней, продиктовал заявление в дирекцию, заверил, что примут. Только надо триста злотых за интернат уплатить (с полным пансионом, хотя домашней копченой колбасы да окорок не мешает захватить). И надо еще десять злотых за марки в казну.

Условились встретиться через пару дней на ближайшей станции и ехать куда-то под Белосток, где намечен сбор кандидатов для поступления в школу.

Как вы думаете, что мне в этой истории было особенно мерзко? А то, что эта... ухитрилась еще потом со старшей дочерью целоваться за гумном. Уже зная все наперед.

Ну и вот. Перрон полустанка. Появление Юльяна. Тень легкого недовольства, когда тот сказал, что смогли собрать только двести пятьдесят злотых. Ехали несколько остановок поездом. Потом несколько километров

на такси. Когда машина отъехала, выяснилось, что вышли рано, что нужно еще метров двести пройти до нужной тропинки (таксиста потом разыскали; он указал поворот и сказал, что «лесник» дал ему сверх таксы три злотых, а остальные деньги и документы юноши спрятал в карман).

Наконец, повернули налево. Наступали сумерки. Уже и тропинку было плохо видно. И тут впервые что-то, видимо, стукнуло в голову Саю.

— Куда мы?

— Да вот, еще немного.

И тут, словно в плохой мелодраме, закричал филин (Крыштоф отметил эту деталь позже, когда молчать уже было бессмысленно). И это было зловеще.

— Не пойду дальше, — сказал Юльян.

И увидел, как сказал кто-то, «самое печальное зрелище на свете» — дыру чужого пистолета.

— Снимай одежду.

— Что же я сделал вам? — дрожа, начал просить бедняга.

Среди деревенских, из глухих мест хватает таких тихих, «воды не замутят», людей. И это, на мой взгляд, было единственным оправданием «идиотизма деревенской жизни», когда он еще не отходил в небытие.

— Вы меня не убивайте. Смилуйтесь. Деньги возьмите. Я молчать буду. Не вернусь в Замшаны. Уеду далеко-далеко.

— Брось канючить. Поменяемся одеждой, да и ступай себе.

Юльян даже не спросил, зачем меняться одеждой. Снял все и ожидал, пока Крыштоф с пистолетом медленно надевает его штаны, пиджак, а все свое бросает ему под ноги. Ему бы в тот миг прыгнуть в чащу и бежать: с одной надетой штаниной разве догонишь? Но он был запуган и он... поверил. Ему хотелось верить. Потому что кто же не поверит, когда хочется жить?

Когда он переоделся, то сразу получил пулю в висок. С правой руки, и потому в левый висок. Упал. Еще шевелился, и оттого получил, сверху, вторую пулю, в сердце.

А потом убийца подтянул Сая к небольшому обрыву, откинул одну его руку так, чтобы свисала над трясинной. В горячке не заметил, что откинул правую, упустил из вида, что рана была в левый висок.

Ну, а потом засунул убитому за борт пиджака заранее написанное письмо и ушел. А пистолет — еще одна ошибка — бросил в какой-то ручей.

Думаете, конец? Да нет. Двести сорок злотых навару, ведь из восьми тысяч сотню успел прожить. Когда уже сделан первый шаг по дороге, на

которой человек превращается в наглого и без всякой морали зверя, остальные шаги даются легче. Тут он еще не догадывался о своих ошибках, о нашем существовании и верил, что в шкуре Сая ему неопасно. И еще знал, что простые лесные люди не знают всей меры цинизма таких, как он.

Поэтому из Варшавы он пишет письмо и высылает фото панне Антосевич. А потом из Цешина, подделав почерк убитого (образцом было заявление Сая), пишет отцу, что благодаря пану Хмелевичу поступил, что все хорошо, только нужен новый костюм, часы и сто злотых на расходы.

Этот убийца так и остался в душе мелким кусочником, который помет готов из-под себя съесть.

И приехал в Замшаны. И рассказывал о планах Юльяна, о его друзьях. И получил все, что хотел. И от старшей дочери — тоже. Вот что самое страшное!

— Младшая теперь за Сальвесем Тетеричем, — сказал я.

— А старшая за матерью-землей. После суда хотела повеситься (и она, и старик давали показания, конечно же, при закрытых дверях, но представьте себе чувство: обнимать убийцу брата). Вынули из петли. Так потом ни одного хлопца к себе не подпускала, а после в партизанах как будто специально лезла в самые опасные дела. И смерть ее мучила-мучила, а потом и смилостивилась.

И знаете, что еще? Я не был ни в коей мере почитателем пана Мацьевского^[153], но после того, как узнал эту историю с Агатой, охотно некоторое время побыл бы с Крыштофом и паном Мацьевским в одной компании, выслушал эти слова. А потом даже с удовольствием пригласил бы его на чай и познакомил с семьей. Хотя мне очень не нравились эти его штучки с белыми перчатками. Как-то не был я от них в восторге.

Но до Мацьевского еще был окружной суд. Усиленный эскорт полиции, враждебность народа.

...Признался во всем, и ничем тут не мог помочь адвокат с его концепцией «конституционального психопата», лишённого в детстве ласки и тепла. (Психиатр признал Высоцкого ответственным за его поступки.)

Суд (совещались два часа) вынес смертный приговор.

Высоцкий, хотя и говорит, что «жить не хочет и не может», подал апелляцию.

Выводили его из суда черным ходом. Иначе линчевали бы: ненависть аж бурлила в народе, как кипяток в котле.

Апелляционный суд в середине августа утвердил приговор окружного суда. Да и что можно было добавить еще, какие обстоятельства могли изменить взгляд людей на вещи? Разве это было что-то достойное

снисхождения? Исключительная жестокость, бесчеловечность, ноль морали, никакого раскаяния. Опасный лютый зверь, выродок и палач.

Уважаемый пан Мацыевский выехал в очередную дорогу, прости ему господи парочку более мелких грехов за одну эту поездку.

Я не присутствовал на апелляционном суде, не был свидетелем исполнения приговора. Был за границей и остался там еще на год, потому что 1 сентября началась война.

Поляки будто бы напали на радиостанцию Гляйвиц.

— И все же, когда и как это произошло?

— Говорю, Мацыевский выехал. И хорошо, что покончил хотя бы с одним подонком перед тем, как Польше как никогда понадобились настоящие люди.

* * *

...Они все же были людьми слова, мои спутники. Сказано — сделано. Явился в назначенное время к костелу и монастырю бернардинов — условие осталось в силе. Точен — значит, подбросим из Кладно почти до Ольшан. Даже Хилинский был в наличии, хотел послушать по дороге о моем разговоре с бывшим прокуратором, потом вернуться в Кладно, а на завтра приехать вновь, уже автобусом.

В ту минуту, когда я влез в наш «козел», они как раз заканчивали какой-то спор.

— Бросаетесь вы разными терминами, что дали людям, — резко сказал Хилинский. — А по-моему, самое безобразное в каждой профессии, особенно, если ты наделен властью, — принуждать людей кротко, смиренно и покорно, без скандала терпеть несправедливость. Я это видел... В разных краях.

— Пережитки, — буркнул Клепча.

— Ну, конечно, — сказал Щука. — Спутал божий дар с яичницей. Видит пережитки капитализма во всем, что ему не по душе. А он того капитализма и не нюхал. А что, скажем, дед такого-то товарища был... ну... губернским казначеем, так давай обвиним в этой нашей истории внука первого попавшегося заведующего ОблФО. Так вот, твой «подозрительный» — хороший человек, он на своем месте — какого тебе еще рожна? И запомни, впредь себе таких штучек не позволяй. Невиновен — отпусти. Не бойся, самолет он не захватит. У него автомата нет. И другой

родины тоже.

— Абстрактный гуманизм!

Странные чувства вызывал во мне этот человек.

— Абстрактный гуманизм, — снова вмешался Хилинский, — это если бы я подлеца, который собрата своего в пятьдесят лет инфарктом доконал, — и не одного, — по головке гладил. Смотри, Клепча, все это не кончится добром. Не теперь, так в четверг... Лучше, Антось, расскажи, что там было.

Я рассказывал обо всем подробно, и потому когда закончил, мы были уже на подъезде к клубу в Ольшанке, сегодня закрытому на замок.

— Н-да, история. Как говорят, страшнее страшной выдумки, — сказал Щука. — Так это клуб?

— Ага.

— Пройдем до места, где на тебя напали.

Спустя пару минут все рассыпались по ложине, а я показывал им, что и как тут было.

— Молодец, — сказал вдруг Щука.

— А мне как раз это и подозрительно, — говорил, как будто резал, непреклонный Клепча. — Четверо не одолели одного. И завещание в вашу пользу. И эта записка. Кто знает, насколько безошибочна графическая экспертиза. — Он говорил довольно язвительно, но так учтиво, что, казалось, вот-вот начнет шаркать ножкой.

— Перестаньте быть таким нудно-учтивым, — сказал полковник негромко и сухо. Он, видимо, не стеснялся меня и был в состоянии тихого бешенства. — Здесь вам не Несвижский дворец, а группа милиционеров. Радзивиллам было плевать на условности. Им доказывать свою родовитость было незачем. А вы корчите из себя черт знает что.

Я простился с ними по дороге в деревню. Они пошли к машине, тихо беседуя между собой. И, наверное, молчали бы, если бы знали, какой у меня слух.

— И вообще, Клепча, — сказал Щука. — Ты знаешь, каких милиционеров в Польше «глинами» обзывают?

— Нет.

— На тебя похожих.

Обиженный Клепча ускорил шаг, пошел впереди.

— Так что, переведут его? — спросил Хилинский.

— Я его уволил бы, — негромко сказал Щука.

— Да-а, — неожиданно вмешался шофер. — Большая потеря. Такой хлопец — это ж украшение милиции.

Остальные промолчали.

...Машина тронулась с места и вскоре исчезла за поворотом дороги.

Я шел к себе, и меня трясло.

Все эти дни я был на грани нервного истощения.

ГЛАВА V, в которой я почти складываю лапки, подвожу итоги поражения, но своевременно вспоминаю про некую оптимистическую лягушку

Не подумайте, что все эти дни я только и занимался поездками домой, в Кладно, туда, сюда, что я увлекался исключительно анализом человеческих характеров и отношений (хотя это и отнимало определенное время), самоанализом, самокопанием и другими малопочтенными «само»...

Основное — это были все же поиски в третьей башне. И одному богу известно, сколько корзин мусора мы выволокли оттуда через пролом, сколько вынесли битого камня и всего прочего. Я заработал такие мозоли на ладонях, каких не было с юности. Два Ивановича тоже трудились самозабвенно, причем без всяких вознаграждений, кроме редких и (взаимных) угощений. И еще я отвоевал у археологов шестерых учеников старших классов (были, слава богу, каникулы), за что меня проклинали даже девушки, не говоря про Генку Седуна. Но и они сами иногда приходили помочь.

Земли за три с половиной столетия с гакомросло достаточно. Замок, как и каждое старое строение, «рос в землю», но со дня на день мы должны были уже добраться до «материка».

Ну, что еще? Перестали появляться «дама с монахом». Во всяком случае, как бы поздно я ни возвращался в свою сторожку, мне ни разу не довелось их видеть. Но я ни на шаг не продвинулся вперед. Точнее говоря, я продвинулся и даже узнал много нового, только не знал, что из этого нового действительно важное и приближает меня к цели и разгадке, а что нет. А между тем время шло, и молодой отметил конец мая, и вот должен был прийти и принести новое полнолуние июнь.

Одно было плохо: ночные кошмары начали повторяться с завидным постоянством, все чаще и чаще. И особенно сильный и явственный посетил меня в ночь моего возвращения из Кладно. Наверное, беседа с бывшим прокуратором, спор с Клепчей, неудачи последних дней взволновали меня так сильно, что мой организм в самом деле истощился и я балансировал на краю. По-видимому, я и в самом деле был готов занять почетное место в «загородном доме» Лыгановского или просто сорваться в бездну.

Дед Мульта, наверное, был в ночном обходе. Я выпил стакан холодного чая, выкурил перед сном сигарету и завалился спать. И почти сразу забылся в странном сне: не понять, во сне все это происходит или

наяву.

...У портретов и икон на стене и на полу вдруг ожили глаза и начали с каким-то недоумением посматривать по сторонам, вертеться, таращиться на меня. И губы у них кривились все сильнее.

Я, как и они, почувствовал бесшумное приближение чего-то недоброго.

Еще издали в дверном проеме неожиданно и тихо открывшейся двери я увидел, как кто-то неуловимой тенью, без единого шороха, приближается к сторожке.

Ближе, ближе. И вдруг портреты все скосили глаза в сторону двери. В их глазах был нечеловеческий ужас.

Нечто, которое приближалось, материализовалось на пороге и ступило в комнату. Это нечто имело вообще-то человеческое подобие. Только шея не было. Затылок полого переходил в аппрофигиальные концы ключиц, в плечи. И глаз не было, и рта. Просто на этих местах были небольшие углубления. Потому что существо от затылка до стоп было покрыто белой и толстой, как лишайник, длиной сантиметров в семь шерстью.

Существо приближалось в неподвижном воздухе, и портреты переводили полные страха глаза с него на меня.

...И тут я словно разорвал невидимые цепи на руках и ногах, вскочил, прыгнул и, каким-то чудом миновав его, бросился в дверь. Ноги не хотели бежать, и тогда я начал делать прыжки. Так, как это всегда бывает во сне, когда нет сил убежать от погони.

...Конь передо мною. Я взвился на него, не опершись ни ногой на стремя, ни руками на загривок.

Чудо произошло, что ли? Но уже не было замка, костела, плетения. Была та поляна, на которой вынужден был отпустить нас Витовт Ольшанский, и Сташка, да нет, Ганна, рядом, и запутывание следов, подсознательное предчувствие нами чего-то недоброго.

Такое больное, такое тревожное предчувствие какой-то неминуемой, неотвратимой, неясной беды.

Кони бешено мчат. Убиться насмерть, но не свернуть. Вот-вот уже будет река, и челны, и путь к Неману, а там — к свободе.

Вот и челны. Однако их что-то слишком много.

Не те челны.

И, отгораживая нас от челнов, от серебряной чешуи на воде, вытянулся ровной линией конный аршак. Второй конный аршак.

Посланный по воде пересечь нам путь. Сразу посланный по воде, без блуждания в чащобе и запутывания следов.

Тускло отсвечивают при лунном свете стальные и посеребренные латы. Подняты забрала и лица всех в тени, и потому кажутся слепыми или спящими. Свисают со шлемов султаны, волосяные, гривами, и из перьев.

Вырезные поводья отпущены. Ртутный блеск на наконечниках длинных копий, на саблях, на булавах и боевых молотах-клевцах.

Теперь уже не убежишь. Приближается цепь всадников.

— Ну вот. Судьба не была милостивой к нам.

...И тут же какое-то каменное строение, и в него бросают разного размера тюки, мешки, ящики. Они соскальзывают куда-то вниз, как киль по просаленному желобу, когда корабль или ладью спускают на воду. И ночь. Ночь потемневшая: потому что луна вот-вот скроется. А вокруг нас с Гордиславой десяток воинов и Витовт Ольшанский на вороном коне.

— Ну вот, паны радцы^[154], — обращается он к воинам, — вот паны-райцы. Обойдемся без раженья^[155], без судьи и подсудка^[156], без провста^[157], без подскарбия, чтобы тот возвращенные сокровища считал. Пусть вот полежит с ними, пока тут с проверкой этот крятун, вран этот, Станкевич, будет торчать.

Он указывает воинам на нас:

— Совлеките с них ризы^[158].

Одежда падает к нашим ногам, в траву.

— Что, умет? Встретились все же. Ничего, защитник ваш спит. Ой, крепко сонное вино. А вас? Вас я таким напою, что в свое время навеки уснете. Воры и крадла.

— Замолчи ты, воряга, воропрят, — отвечает Валюжинич моими устами. — Предал твой пращур Слуцкого, ограбил и князьев тех, и короля. И ты весь в него. Меня и друзей моих продал, обобрал короля. Так что не хайлал бы ты. Что-то ты ущипливый^[159] больно. Вот за тую ущипливость, за насмешку над нами, за вороватость так тебя будут щипать щипцами да клещами, что мясо с костей полетит. Злодейству твоему свидетелей много, а главный — бог.

Он усмехается страшноовато:

— Ты не надейся меня так раздражить, чтобы я тебя на быструю да легкую смерть отправил, да еще и столмаха^[160] позвал бы, чтобы он вам погребательную колесницу да гробы сразу смастерил. Не будет этого. Вспомните вы у меня еще прошлогодною мякину.

— Пиши строчне, — после паузы обращается он к всаднику со странным цилиндрическим предметом в руке, — ровненько в строку.

Вначале женщину, а потом и меня обхватывают под мышками петлей с

каким-то хитроумным узлом и опускают по наклонной плоскости, а потом с какого-то карниза — прямо вниз, в черное отверстие.

Камень у меня под ногами. И тут же дернулась веревка под мышками. Ага, это бортный узел. Дернув, снимаешь петлю с самого высокого сука. Какой-то миг я еще вижу, как двумя змеями мелькнули вверху, в пятне, откуда едва-едва просачивается свет, две веревки.

— Вот так, — долетает сверху голос, — тут вам и ложе, тут вам и жить, и кончиться. Вода там в углу, капает с потолка, там кадка стоит. Видите, я вас — свирепо да люто — не замордовал. И скарб вы в нижней кладовой получили в наследство. И хата роскошная, округле^[161] семь саженей. Ну вот, будете вы там сторожами, и живым вас не докликаться.

Вот уже светлое пятно над головами. Слышен глухой звон обожженной плинфы^[162] о другую, звон кельмы о камень.

И мрак. И ничего больше. Лишь густой и жирный, как сажа, мрак.

— Ты умрешь через год, — кричу я без надежды, что тот еще меня услышит. — Не позже!

...Я ничего не вижу. И одновременно почему-то вижу, как черный всадник во главе конного аршака выезжает лесной тропинкой на поляну (трое каменщиков тащатся сзади).

Черный вдруг пускает коня рысью, машет рукой.

И тут из дебрей отовсюду выезжают, выскакивают всадники. У них в руках нет пищалей. Удивляться этому нечего, вон, вдалеке, виднеется верхушка костельной звонницы. У них в руках длинные луки из беловежского тисса. Звучно щелкают отпущенные тетивы о кожаные перчатки на левой руке. И роем летят длинные-длинные стрелы с наконечниками, вываренными в отваре хвои, коры и древесины того же тисса. Смертоносные длинные стрелы — «спасения же от них нет».

Каменщики падают сразу. Воины еще вертятся, пытаются прорваться, но постепенно сползают с коней на траву. Они так утыканы стрелами, что скорее похожи на ежей, чем на трупы людей.

Вижу лицо хозяина. Губы его ядовито шевелятся. Он обводит глазами мертвых.

— Да, правду ты говорил. Злодейству моему свидетелей много. — Он возводит к небу глаза. — А главный — бог.

...И снова черная тьма. И вновь неожиданный свет. Замковый двор, залитый солнцем. Огромный, вначале общинный, а потом фамильный дуб. Кипит вокруг него пестрая толпа. Магнатская, шляхетская одежда, латы воинов, одежды вольных крестьян. Подальше, в воротах и за воротами,

белая туча совсем простых. Из общего гула вырываются отдельные фразы.

— А всех свидетелей из тех латных людей, — это говорит подсудок, — поставить пред очи высокого суда нельзя. Потому что той же ночью их какие-то лихие, побродяжные, гулящие люди до смерти выбили. И те лихие люди не из воинов, но из простых разбойников были, потому что не имели гаков ниц, а имели луки со стрелами отравленными.

Снова содом. Всплывает умное лицо Станкевича. Рука на евангелии:

— Клянусь, что если князь утеклцов догнал, то и отпустил сразу же по просьбе и совету моему. А что они деньги тех бунтовщиков везли и деньги его королевского величества — того я не знал.

И после паузы:

— Только деньги те доселе нигде не всплыли. И поиск наш ничего не дал. А всплыть должны были. Значит, спрятаны они, под завалой. И надо бы еще дознаться, не повстречали ли беглецов другие люди Князевы.

Снова шум голосов. И уже возле подставки с евангелием сам князь.

— Фортугалем^[163] предка моего Петра Ольшанского клянусь. — Рука его тащит из-за пазухи золотую цепочку.

— Предка-изменника, — неслышно шевелятся губы Станкевича.

— ...а понадобится, так поклянусь и на святом евангелии. Не под пыткой, как слуги, а по совести, что я тогда, отпустив их, с паном Станкевичем обратно к замку поехал. А вот второй раз я их не ловил. И главное, не убивал. А свидетели Язеп Горощук, купник^[164], да Протас Леванович, писарь, клянутся, что те двое — живы. И жить будут еще столько дней, сколько отпустит им бог. Я же ни оружием, ни плахой ускорять конец этот не буду, в чем и слово свое кладу.

И снова мрак. И далекий голос:

— Князь наш Витовт, не дождавшись конца разбора, нежданно, скорым чином умре.

Снова мрак. Уже на вечные времена. Два стража крещеные, а третий — не крещен.

...Собственный скрежет зубовный будит меня.

Состояние мое было в тот день никудышное. Даже встреча со Сташкой не принесла облегчения: все время я помнил отблески ночного звездного света на ее лице, когда «нас» опускали на арканах в яму. Последние отблески света.

Неизвестно почему мы пошли в направлении Ольшан (скорее всего потому, что и замок, и костел, и сама Ольшанка опостытели нам, как манная каша во времена золотого счастливого детства), и я, сам не зная

зачем, рассказал ей обо всем, не исключая и кошмаров.

— Бывает, — сказала она. — Просто человек столько думает об этом, что мысли не оставляют его и во сне.

— А почему во сне все так, будто все знаешь?

— Отсутствие логики. И присутствие какой-то высшей логики. Во сне все объяснимо, а восстанавливаешь наяву — черт знает, какая глупость снилась. И наяву это мешает, а во сне — все как бы раскованное. И воображение в том числе. Теорема из эвклидовой геометрии про пересекающиеся прямые (или линии — вот, черт, ненужная была наука, так я всю терминологию и позабыла).

— Правильно. Кто-то из знаменитых говорил, что знаний в его книжном шкафу больше, чем в нем самом. Однако он по этой причине не плачет. Потому что он не шкаф, он — физик... Я тоже забыл многое из школьной премудрости, но если уж свернули на забытую геометрию, то мои пересекающиеся линии пересекаются за границами воображаемой плоскости, за границами яви, во сне.

— Ну и что вы теперь думаете об этом?

— Ничего.

Все еще молодая, сочная зеленая листва сплеталась над дорожкой. И по этой дорожке шла та, которую я потерял навсегда не только в кошмарном сне.

— А знаете, — вдруг оживилась она, — оно, видимо, соответствует действительности, ваше сонное «решение». И вправду, не прикасался Ольшанский к вновь отбитым сокровищам, и вправду, сам пальцем не тронул пойманных. Он их и не убивал, просто дал им самим умереть. И клятва на евангелии была правдой, хотя и казуистической. С водой человек может прожить без еды... ну... сколько?

— Две недели, не больше.

— Почему? Одна моя знакомая на лечебном голодании тридцать дней выдержала.

— На лечебном. Под наблюдением врачей, а не в темнице. Необходим свежий воздух, движения, вода — простите, регулярные промывания. В противном случае организм отравляется продуктами своего же распада.

— Ну, по крайней мере, могли еще быть в живых, когда он клялся.

— Такая клятва да еще на евангелии не только для средневекового человека, она и для современного... это уж совсем надо совесть потерять. Даже и не зверем быть, а какой-то ископаемой безмозглой рептилией. Да о таких белорусские летописцы и говорили, пусть себе и непристойно, но точно: «Совсем бессовестный, за грош в божьем храме трахнет».

— Ого, распустили язык. Женщина все же рядом с вами.

— Извините. Но я сейчас меньше всего думал об этом. Я и живу-то в последнее время в каком-то ином измерении.

— Так что вы намерены делать? — спросила она.

— Не знаю. Наверное, откажусь. Потому что все это страшно, как будто приобщаешься к чему-то неизъяснимому, потустороннему... Не хочу. Психика дороже. Она у меня одна. Занюханная, да моя.

— Нет, — задумчиво сказала она, — я на пороге разгадки не оставила бы. Пускай бы меня хоть клещами рвали. Может, каких-то два кубометра грунта отделяет от разгадки, а он бросит. И, главное, я ведь наверняка знаю, вы даже не попытались систематизировать все, что вам известно. Бояливый вы человек и непоследовательный. Да гори она ясным огнем, эта психика! Для чего она дана человеку, если не для того, чтобы ее сжигать в случае нужды?

Мы уже дошли до автобусной остановки. Она шла надутая и очень недовольная. И вдруг сказала:

— Послушайте, ну еще пару дней. Вот вы сегодня попытайтесь подытожить, обобщить, систематизировать все, что знаете вы и люди. Даже то, о чем только догадываетесь. А завтра... ну и еще послезавтра, последний день, мы с вами вдвоем будем копать. Не найдем ничего — что же... Да нет, ищешь — найдешь. «Толцые и отверзнется».

Я все еще колебался, и тогда она сказала:

— Наконец, вы не должны забывать про Марьяна.

Этого она могла и не говорить. Воздержаться. Не люблю людей, которые бьют под дых. Но женщины... женщины, если они не просто болтушки или «котики» с глупыми гляделками и томной и пустой, незрелой и просто назойливой красотой, почти все такие. Из-за таких пропадают глупые мужчины и выбирают их, скажем, «мисс Испанией», «мисс Америкой» или даже «мисс Вселенной». А они вдруг посреди самой серьезной беседы с людьми, ни в малейшей степени не склонными к кокетству, вдруг возьмут да ляпнут: "Ваня, а мы пойдем с тобой на «Анжелику, маркизу ангелов»? — «Нет». — "А на «Ее последнее танго»? Или брякнет в разгар весны, да еще и агрессивно: «А я хурмы хочу». С возрастом это, правда, иногда проходит. А если не пройдет, то останется лишь удивляться, как вчерашняя «мисс Захлюпония», утратив последнее оправдание своей глупости — красоту, вдруг сморозит в компании эрудитов, указывая на «Муки Христа» в Кладненском костеле: «Вот тут, видите, Иисус стоит перед Понтием, а тут перед Пилатом».

Наконец, может, я это просто начинаю стареть. И Сташка не такая. Но

даже если бы и была такой, я ничего этого не сказал бы при ней. Нет больших двурушников и соглашателей, чем ослепленные чувством мужчины.

— Хорошо, — сказал я, — в конце концов, два-три дня ничего не изменят.

К остановке как раз подошел огромный «Икарус» из Кладно, и из него повалили «потомки», приехавшие в гости и за колбасами к «предкам», и дачники — довольно-таки несносная в своей массе порода людей. Особенно в день, окрашенный у тебя ипохондрией.

Шли свежее урбанизированные с чемоданами, иногда даже с фанерными, и давно урбанизированные с рюкзаками и сетками. Плелись на последнем дыхании, как верблюды, одолевшие Каракумы, дачные мужья. И важно шествовали за ними дачные жены с неизвестно для какого дьявола сооруженными прическами. Шел легкомысленный одиночка, украдкой бросая на них взгляды, и шла многодетная семья, изнемогавшая под тяжестью своих забот. Да и не только своих, но и чужих, потому что девочка лет семи настойчиво просилась по большой нужде, а мальчик лет четырех шел рядом и, что хуже всего, уже ни о чем не просил.

— Крестный ход в старом местечке Кладненской губернии, — прозвучал вдруг голос Хилинского. — Тьма зевак. — И тоном заботливой квочки: — «Ванечка, перестань пукать и смотри лучше, какие хоругви несут».

Увидев, что я не один, залился краской и — о чудо! — пустился в объяснения:

— Извините... Но я много лет был вынужден сдерживаться и дал себе слово, что когда будет можно, дам себе волю, рекорд поставлю по несдержанности на язык.

— Ничего. — Сташка, к моему удивлению, весело улыбалась, рассматривая моего «англичанина».

К нам приближался улыбчивый Адам с рюкзаком и удочками в чехле и — еще одно чудо! — рядом с ним Хосе-Инезилья Лыгановский, тоже с удочками и чемоданчиком.

— А я не верил, — сказал я. — Видимо, в самом деле какой-то большой зверь в лесу подох.

— Почему? — спросил психиатр. — Что я, не имею права побить баклуши день-другой? А вот вы почему здесь околачиваетесь?

— Околачиваться — это, собственно говоря, моя профессия, — ответил я. — А кроме того, что я не могу встретить пополнение таких же, как и я, деловых лодырей?

Когда все перезнакомились, мы пошли полным ходом обратно, в свою гавань. Шли по хорошему, затененному листвой солнцу начала июня, болтали о разных пустяках.

Устроил я Адама Хилинского на две недели да Лыгановского на день-другой к бездетным (или, может, съехали дети куда?) соседям Шаблыки, и пошли мы осматривать деревеньку и ее исторические памятники, не занесенные, к сожалению, ни в группу 0 (находятся под охраной ЮНЕСКО), ни даже в третью группу (что соответствует, по-видимому, нашим памятникам местного значения). А почему так — не знаю.

Тут меня удивил неожиданной активностью пан Витовт Лыгановский.

— Это пруд? Хорошо. А где рыба лучше клюет? Там? Очень хорошо. А это значит и есть костел и башня с «дзыгаром»? Чудесно. Гляди ты, а на этих часах циферблат двойной. Внутренний, где часы — неподвижен, а внешнее кольцо, лунное, движется. И, гляди-ка, показывает фазы или смену — неподвижная стрелка. Ой-ей! Какой старый механизм! Знаете, ведь самые старые кремлевские часы — на Спасской башне — тоже были с подвижным циферблатом... А вон там ваша плебания? Шикарно... А там замок? А вот по той галерее ваши тени ходят?

И глаза бегают от замка к костелу, от башен к городищу.

Когда он заскочил в костел поглядеть, как там, и потащил за собой Хилинского, Сташка вдруг сказала:

— Какой живой — просто ртуть! И что-то мне кажется, что я уже с ним знакома. Где-то мы встречались... Нет-нет, в его клинике я не лежала. И из знакомых никто не лежал... Ну, просто вроде когда-то по телевизору видела или во второстепенной роли в каком-то более чем второстепенном фильме.

— Вот и у меня такое чувство.

Мы отошли и сели на бревнах, а тут шли мимо и подсели к нам Ольшанский, Шаблыка и Змогитель, а потом Высоцкий с каким-то неизвестным. Затем подкатил, отдуваясь, вспотевший Гончаренок.

Лыгановский выбежал из костела что-то очень быстро и встрял в компанию просто и легко. А Хилинский вышел только минут через десять и, как нарочно, медленно поплелся к нам. Поэтому автохтонам пришлось знакомиться с вновь прибывшими дважды.

Незнакомый, как выяснилось, был тот самый кустарный часовой мастер и органист, который во время службы врезал «Левониху». Фамилия его была Сгонник.

— Как же это вам удалось отремонтировать?

— А черт его знает, — смущенно опустил он глаза. — Нюх у меня с

детства на разную механику. Да и испорчены они были не очень. Ну и, честно говоря, не на все там хватило моего нюха. Потому что часы должны были показывать еще пасху, католическую и греко-униатскую. А вон в той нише, что под циферблатом, праздники татарские и еврейские. Зачем им было это знать — дьявол их разберет. Но, должно быть, какие-то костельные вычисления. Ну так вот, здесь я оплошал, не сумел.

— Да вам-то это зачем?

— А так. Ради законченности. Хотя и без надобности, но приятно было бы знать, когда по-татарски байрам, а по-еврейски пост разрушения храма. Чтобы уж спокойным быть. Все сделал и сделал, как надо. И мы не глупее, чем вы были.

Я был приятно удивлен. Хорошо рассуждал человек.

А потом он и гости разговорились и условились на завтра идти вместе ловить рыбу и ради оной цели подняться в половине третьего, за час до восхода солнца.

— Вот черт, неудобно, — сказал Адам, — может, вы со Станиславой имеете какие-то виды на нас.

Я, честно говоря, обрадовался, что они не будут свидетелями последнего дня наших бесплодных потуг, нашего бесславного поражения. И потому соврал и за Сташку и за себя:

— Да нет. У нас на завтра свои, иные планы. Тут надо к одному дядьке сходить. У него сохранились газеты и журналы времен оккупации, так поглядеть охота.

— Очень интересно, — сказал Высоцкий.

— А потом... нужно один старый курганный могильник осмотреть. Не очень далеко отсюда.

— Тем лучше, — утешились три мушкетера от рыбной ловли.

И в это время нашу только что нарожденную идиллию нарушил человек, который все это время только и делал, что путался у меня под ногами.

Людвик Лопотуха приплелся из деревни, уселся на холмике метрах в двенадцати от нас и сразу начал свой концерт. Только на этот раз не такой полифонический, как всегда.

— Отойдите... Изыдите... Мой дом — моя крепость... Звери... Палачи... На всех вас клеймо... Все вы тычками ^[165] меченные. Клеймом изуверов, выроdkов рода человеческого. Ничего... Погибнете... Скоро, скоро и на вас время придет...

«Тот?» — взглядом спросил у меня Лыгановский.

Я молча склонил голову.

И тут психиатр удивил меня. Впервые в жизни я был свидетелем того, как по-настоящему надо разговаривать, как безошибочно надо поступать с душевнобольными людьми.

Лыгановский поднялся с крыльца, твердо, но поспешно подошел к Лопотухе, все время глядя ему в глаза, и сел немного ниже, так, чтобы эти глаза видеть. И заговорил о чем-то тихо, спокойно и рассудительно. И глядел, глядел, словно «навевая» гипноз, как знаменитые гипнотизеры или старухи-ворожеи, которые иногда владели этим гипнозом ненамного хуже Мессинга.

Странно, истерические нотки в голосе Лопотухи исчезли, он теперь говорил тоже тихо и почти спокойно. Иеремиада уступила место спокойной беседе, спокойным движениям рук врача и больного. А руки свои врач и больной поочередно клали друг другу то на колено, то на плечо.

На наших глазах творилось чародейство. Мы притихли, ошеломленные тем чудом, свидетелями которого были.

А минут через сорок Лопотуха встал, пожал врачу руку и произнес почти спокойным, почти нормальным голосом:

— С понятием вы человек. С понятием... Но здесь надо беречься и умным. Земля заражена. Я вот тоже был изрядно учен, а что я теперь?

Махнул рукой и пошел. Не обычной, слегка развинченной походкой, а довольно твердой, уверенной. На повороте обернулся, помахал рукой и исчез.

Лыгановский вздохнул, подошел и сел возле нас.

— Ну как? — спросил я.

Врач пожал плечами, помолчал и, обведя нас взглядом, стал говорить:

— Не попал он в мои руки с самого начала. Давно был бы здоров. Однако время свое возьмет. Вполне возможно, что через какой-то отрезок времени он станет почти нормальным человеком... Во всяком случае, он на пути к этому.

— Да что с ним такое? — спросил Гончаренок.

— Историю его вы знаете. Страшная история... Ну и он, говоря популярно, чтобы вы поняли, возвел вокруг памяти как бы защитную стену. Не желает вспоминать прошлое. Опасно. Многие люди в таких случаях начисто забывают прошлую жизнь. Наступает так называемая амнезия. Словом, если у таких больных не восстанавливается память — считай, все потеряно. Как правило, забывают даже свое имя. С самого начала было удивительно, что этот кое-что помнит... И это кое-что, видимо, восстановилось у него приблизительно через месяц после трагедии. Но он понял, осознал, что не все помнит, не все желает помнить. И в этом смысле

почувствовал себя слегка раскованным: попробуйте, возьмите меня, не совсем нормального, голыми руками.

— Однако же временами кое-что, да вспоминал, — сказал Хилинский.

— Да. Для него воспоминания — это отвращение и физическая боль. И, однако, в сознании сохранились островки и такой памяти. Innege Inseln^[166]. Внутренние и для внутреннего употребления. И, однако, это не симуляция безумства, придури, дезориентации в повседневном опыте... Этого подделать нельзя... Нельзя подделать, скажем, такое, что обувь снять не может. Это может быть только с действительно психически больными. А этот — нет, этот не совсем от мира сего, но ясно осознает, где он, и держит себя нормально. А со временем будет все нормальнее и нормальнее.

— Думаете, может вспомнить все? — спросил я.

— Многое, если не все, — серьезно ответил Лыгановский. — И это время, этот порог не за горами.

...Расстались мы довольно рано. «Гости» пошли со Стасей на Белую Гору, а я решил сесть и, на прощание с этим паршивым делом, подвести итоги. А подведя то, чего нет, бросить все к дьяволу, уехать домой, вручить это «нет» Щуке и закатиться на остальные полтора-два месяца куда-нибудь на хутор. И работать. А может, «дикарем» куда-то на Форос или в Перевозное, где поменьше людей, а лишь море да голые скалы.

Сел, положил перед собой блокнот. Начал записывать, стараясь соблюдать порядок.

Ну и что там получилось, в порядке очередности:

1. Визит встревоженного Марьяна. Его разговор с каким-то человеком на выставке. Предложение продать книгу. (Кто был этот человек? До сего времени неизвестно.)

2. Звонки о продаже. Ночные. Ночью кто-то ходит под окнами. (Звонки от того... Гутника. Обыкновенный книжный маньяк. Даже не спекулянт... Не он ходил под окнами. Кто — неизвестно. Кто-то из соседей Марьяна? Вряд ли. Милиция их наверняка проверяла. Но тут замкнутый круг. Это я не должен умалчивать перед Щукой свои тайны, а он... Кто-то из моих соседей? Глупость. Ни одной соответствующей кандидатуры.)

3. Ольшаны и род Ольшанских. Двойное предательство. Возможно, присвоенные и припрятанные сокровища. (Род вымер. Бесславно. Где могут быть сокровища? Неизвестно, если не считать неясных намеков в книге и фактов истории о переходе от несметного богатства к среднему достатку. Ну и моих «снов», которые никак не могут приниматься в расчет. Значит, никому не нужны ни документы, ни родовые грамоты, да такие ценности и реализовать в наше время — невозможно.)

4. Зоя. Ее странное поведение. То отходит, то приходит. (Ну, это ясно почему. Решила закончить, зная, что на «роман» я не пойду. Но жалела, но ее тянуло ко мне.)

5. Первая смерть — Марьяна. Никаких следов насилия. Слабое сердце (но предчувствия?). Но попытка неизвестного (кто?) взломать дверь. Но усыпление собак (кем?). Но завещание, заверенное у нотариуса (почему заботился о нем?).

6. Зашифрованное сообщение в книге. Единственный успех и тот пока безрезультатный. (Кому был нужен шифр и расшифровка? Опять же неизвестно. Потомкам — их нет. Тем, что прятали приблизительно там же архив, а потом уничтожали свидетелей этого? Вопрос: кто прятал? Непосредственные исполнители — кто перебит, кто умер. Поручили? А кому? Знал еще кто-то? Не знаю даже, был ли еще кто. Владел ли он этими медными предметами сложной конфигурации, на которые надо было наматывать I ленту, или эти предметы были в разных руках? Ничего, обошлись без них.)

7. Моя записка Марьяну. И хотя почерк мой подделан, но это написано на моей бумаге. (Кто мог добыть ее? Марьян? Хилинский? Бред сивой кобылы.)

8. Попытка взломать дверь моей квартиры. Бегство взломщика. (Ясно, искать хотели книгу и шифр. Но кто знал об этом? Покойник Марьян? Хилинский, который и книгу и шифр все равно и без этого видел? Чепуха!)

9. Самоубийство Зои. В чем-то она предала своего «настоящего». Это значит меня. (В чем предала? Кому предала? Неизвестно. Но этим, может, и объясняются ее последние визиты.)

10. Что запрято? Древние сокровища? Вещи, награбленные ведомством Розенберга? Архив? Вот тут могла быть разгадка. Могла, но ее не было. Этим могли интересоваться три человека или группы людей или один человек (группа) в трех ипостасях. Ценности? Это ясно. Документы? Они представляют интерес только для несуществующих наследников или музеев. Какие-то компрометирующие материалы из архива? Возможно. Но для чего? Предохранить себя от опасности? Или, наоборот, шантажировать ими кого-то?

11. Почему такая ненормальная обстановка в Ольшанах и Ольшанке? Попытка разрушать кусок стены, ссора? Безумие (далеко не полное и излечимое) Лопотухи? Был ли он свидетелем уничтожения поляков и всех других? Или сам был в колонне и убежал?

12. Что такое тени женщины и монаха? Какой-то разлад в психике? Если это так, то почему не один я их видел, а многие? Если какое-то

природное явление, то какое?

13. Почему все время происходят какие-то странные встречи? С Гончаренком, с Лопотухой? Следят? Слова пьяного Вечерки о каких-то страшных каменных яйцах. Что означали они?

14. Почему Лопотуха кричал об убийцах? Почему вопил из бойницы, что замок — его крепость? Что он там сторожит? А может, это действительно его убежище, когда ищет одиночества?

15. Огонек горел во второй башне. Шифрованная надпись указывала на третью. (Существует ли здесь какая-то связь или хотя бы просто микроскопический смысл?)

16. Местные люди, присутствующие во время немецкой акции с архивом и расстрелом. Кто они?

17. Банды Бовбеля и Кулеша, уничтоженные нашими. (Возможно ли, чтобы кто-то из свидетелей акции был из местных, был в банде и все же остался в живых? Тогда он вроде бы единственный «наследник». Но вряд ли. Сомневаюсь. Уничтожили тех бандитов подчистую.)

18. Мои кошмары. Может, действительно сам воздух Ольшанки отравлен преступлением, подлостью, неистовством, бешенством и безумием войны?

19. Кто ночью пробивал в башне (моей, третьей) стену и вел со мной дуэль фонарем и камнями? Лопотуха? Вряд ли. А может?

20. Кто выдал подполье, в котором был нынешний ксендз? И жив ли он, тот? И не макал ли во все это дело пальцев ксендз с его неестественным фантастическим способом жизни, с его катакомбами? С тем неожиданным толчком мне в спину? Хотел помочь перепрыгнуть? Или, может, столкнуть?

21. Остался ли в живых кто-нибудь из тех, кто организовывал «санитарную акцию»? И где они, если живы? За рубежом и имеют руки здесь? Или присутствуют собственной персоной?

22. Мог ли узнать кого-нибудь из бандитов Гончаренок, прежде чем убежал из-под расстрела? Нет, спрашивать не надо. Возможно, и узнал, но боится за жизнь? Хотя с его поведением в войну это как-то не вяжется.

23. Родственники Высоцкого ни при чем. Один погиб как подлец и бестия. Второй — как герой. Один род — и какие разные люди. Поездки в Темный Бор и в Кладно к прокуратору, таким образом, имели своим результатом лишь окончательное шельмование одного и реабилитацию памяти второго, а к делу не относились.

Ну вот, двадцать три вопроса. Некоторые разделяются на два-три. И ни на один нет ответа.

Полное поражение, полный разгром моей логики, моего разума и

моего умения разбираться в людях. Разгром, результаты которого я только что подвел. Если бы не слово, данное Станиславе, можно было бы завтра же уезжать отсюда. Не с твоим, брат, умом разбираться во всем этом, в чем, может, и смысла нет, а имеется лишь стечение обстоятельств. С твоим умом, друг, только на печке сидеть. Что ж, покончим с этим, хотя и жаль. Но что поделаешь, если здесь невозможно собрать в одно ничем не связанные нити, если из этих нитей никакого покрывала не соткешь. А если и соткешь, то по рисунку и подбору цветов это будет покрывало, сотканное подслеповатым сумасшедшим.

Я вышел на крыльцо, сел на ступеньки и безнадежно закурил. «Крахом окончилась ваша поездочка, друг Космич».

На улице остановилась тень. Видимо, всматривалась в мой силуэт на светлом прямоугольнике двери.

— Космич, вы? — Это был голос Ольшанского.

— Ну, я.

— Лопотухи здесь не было?

— Нет. Я что, сторож при нем?

— Да не в этом дело. Я велел ему ехать с мукой на нашу пекарню. И вот, черт побери, конь обратно к мельнице один пришел.

— Не знаю, где он, Ничипор Сергеевич.

— Гм. Черт... чтобы его бог любил. Снова какой-то заскок, что ли?

Махнул рукой и ушел.

Над Ольшанкой уже катилась ночь. Ночь моего поражения. А деревенское небо — не то, что в городе, — словно празднуя это поражение, высыпало тысячи, десятки тысяч звезд, то ласковых, мигающих, а то и колючих, ледяных. Сияло оно вот так и четыреста, и триста лет назад, и сегодня сияет, и также безучастно будет сиять и потом, когда обо мне и думать забудут.

...Кто-то бесшумно опустился рядом со мной на ступеньку. Я и не заметил, как он подошел. Просто уже когда был совсем близко — что-то промелькнуло перед глазами, будто сама ночь взмахнула черным крылом.

Хилинский сидел рядом и разминал сигарету. Н-ну и ну! Теперь понятно, почему ты, Адам, с такими талантами до сих пор не пропал и в будущем, даст бог, не пропадешь.

— Вот... еще парой слов с тобой перекинуться надо.

— Думаешь, я не замечаю? С самого утра вокруг меня, как кот возле сковороды со шкварками, ходишь. Все хочешь что-то сказать и не решаешься. Словно по листочку с кочана капусты сдираешь, вместо того чтобы сразу за кочерыжку взяться.

Хотите верьте, хотите нет, а я был ужасно зол. Может, за неотомщенную память Марьяна, может, злила меня моя неудача, может, эта манера Щуки никогда не говорить о главном. Только меня просто душил гнев на эту политику умалчивания, хождения вокруг да около, разговоров недомолвками, экивоками, намеками. Гнев. И, странно, не на кого иного, как на Хилинского. Наверное, потому, что первым попал под руку.

— Чертова, холерная, так ее и разэтак, хамская манера. Что-то вроде шуточки невоспитанного и глупого приятеля... Посылка... Распаковываешь. Одна бумага... вторая... Одна коробка... вторая... третья... куча коробок. И в последней... какашка. Или что-то еще похуже... Вершина их юмора. А в старые «добрые» времена это мог быть бриллиантовый перстень... вместе с пальцем замученной крепостной актрисы. С пальцем, потому как добром такое редко кончается.

Хилинский только головой покачал. А я закипал все больше: от злости на нескладеху, самого себя.

— А среди нынешних актрис мало у кого есть очень уж ценные бриллиантовые перстни. Если они, конечно, не за лауреатами, директорами крупных заводов или за... администраторами по снабжению.

— Сердишься? Ну-ну, — только и сказал он.

Но меня уже начало заносить. Я говорил все это Хилинскому! Одному из тех, кого уважал на сто процентов и на сто пятьдесят любил.

— У меня был приятель. Нессельроде. Потомок того ^[167] или нет — не знаю. Но бабуся его была «из бывших». — Я источал яд и от злости на самого себя был готов разорвать соседа по лестничной клетке на куски. — Одно время он был профоргом и — хотите верьте, хотите нет, — профсоюзные взносы ему платил рабочий Пушкин... Ну, это к делу не относится. Так вот, эта бабуся говорила про нынешних: «Боже, это же не актрисы, это же гражданки». И правильно. Какие там содержанки, какие оргии у «Яра»? Моей годовой зарплаты не хватит, чтобы побить все стекла и переломать всю мебель хотя бы в «Журавинке» (не говоря о кратчайшем пути отсюда в милицию), а тем более не хватит, чтобы преподнести, скажем, актрисе НН бриллиантовое кольцо.

— Ворчишь? Ну-ну.

— Да она и не возьмет. У нее муж, дети, она сосисками в буфете перекусывает. И это хорошо. Свинства, по крайней мере, нет. Так что перстня не будет. А будет в этой вашей последней коробке непременно какая-нибудь гадость... Ну, я — другое дело. Но Щука?! Щука такого пустяка разгадать не может?! Ходят вокруг да около. А кто-то действует... Пустословие и безделье... Погубленное время.

— Напрасно ты так, — сказал Хилинский, — я думаю, он не тратит времени зря. Беда в том, что пока тому или тем удастся опережать его.

— Ладно, — мрачно сказал я, — ну, а где ваша кочерыжка?

— Кочерыжку передаст тебе Щука, — неожиданно сухо сказал он, — и нет в том моей вины, что весь день со мной таскались люди, что до этой минуты нам не удалось побыть одним. Что ж, грызи кочан теперь: Герард твой приказал долго жить.

— Какой Герард?

— Ну, твой. Пахольчик из табачного.

— Как?

— Нашли в закрытом киоске. Отравился.

— Третий? Одинаковая смерть. Чем отравился?

— Каким-то очень сильным растительным ядом.

— Каким?

— При экспертизе... Словом, некоторые чисто растительные яды нельзя распознать. И противоядия от них нет.

— Еще что?

— Дворник ваш, Кухарчик, в тот самый день...

— Что?

— Ему проломили череп каким-то тупым орудием. Сделали операцию. В сознание не приходит. Врачи не обещают, что будет жить... Ну, чем ты будешь заниматься?

— Я тебе уже говорил. А ты?

— Пойду с органистом и Лыгановским на рыбную ловлю. Он хочет ехать завтра вечером обратно. Что-то загрустил.

Хилинский поднялся.

— Вот так, брат. Все более сложно, чем мы думали.

— Я вот думал...

— Прекрасное занятие. Постарайся не бросать его до самой смерти.

И ушел.

А я снова направился в свою комнату, к своему столу, раскрыл блокнот и дописал:

24. Смерть Герарда Пахольчика. (Кому он мешал, этот чудак со своей киоскерной философией? Разве что был свидетелем чего-то? Чего?)

25. Возможно, повреждения черепа у Кухарчика смертельные. (Кто? За что?)

На этом блокнот с результатами моего разгрома можно было захлопнуть с треском.

Разгрома? Ну нет. Слишком жирно будет! Слишком это подлая штука

— безнаказанность! Слишком тугой клубок сплелся из всего этого: седой старины и недавней (для меня) войны с ее «санитарными акциями» над сотнями безвинно убитых, с давними убийствами и убийствами совсем недавними, со смертью женщины, которая хотя и обманывала, но все же по-своему любила меня.

И со смертью моего друга. Лучшего из наилучших друзей на земле, большого и в поступках, и в страданиях человека.

Я должен не только сделать все возможное, чтобы помочь распутать клубок гнилых, гноем и кровью, обманом и изменой залитых деяний.

Я обязан, если это только возможно, отомстить. Да, отомстить, хотя никогда не был мстительным. Отомстить не только полной мерой, но и стократ.

Чтобы он или она содрогнулись от ужаса, прежде чем снизойдет на них последняя Неизвестность, последнее Ничто.

Потому что то, что произошло и происходит, — это уж слишком.

Мы еще поборемся. Мы еще схватимся.

Мы еще попрыгаем, как одна из двух лягушек, которые попали в кувшин с молоком. Одна сложила лапки — все равно конец — и пошла ко дну.

Но вторая была — смешно сказать — более мужественной, чем некоторые люди. Потому что она боролась даже в безнадежности. И сбила лапками островок из масла, маленький плацдарм жизни.

ГЛАВА VI. «Где их следы, где твои следы? Кто их найдет, кто найдет тебя?»

Тихое, слегка заспанное, все в сером свете вставало над Ольшанкой утро. Трава была в росе — словно кто густо сыпанул студеной дробью. Я, как в детстве, нарочно шаркал ногами, чтобы за мной тянулся непрерывный темно-зеленый след. Хотя бы он сохранился одну минутку, пока не взойдет солнце. А оно должно было вот-вот взойти и своим ласковым и теплым, еще не жгучим, как в июле, дыханием за несколько мгновений подобрать росу, словно стереть недолговечный мой след с лица земли.

А ведь действительно, что от меня останется через несколько лет? Статьи, которые мало кто будет читать? Пара книг, которые помусолят в руках немного дольше? Круговорот вещества в природе? Ну, разве что. Однако никто не узнает меня ни в травинке, на сглаженном холмике, ни в багровой ладошке кленового листа, падающего на склон горы.

Но долго думать об этом не хотелось. Снова приходили ночи при молодой луне, которая выросла и толстела и вот-вот должна была превратиться в полную луну, чтобы щедро отдать земле весь свой свет. Солнце отдавало земле благотворную ласку. Утром будил это солнце жаворонок, вечером усыплял соловей.

Все ученые — дуралеи, а зоологи, тем паче орнитологи — вообще вислоухие олухи, потому что они (орнитологи) относят соловьев к отряду воробьиных (правда, подотряда певчих), куда входят, по их милости, и вороны, сороки, сорокопуть и другие подобные субъекты. Довольно странно! Я никогда не сажал бы в клетку соловья, а что касается вороны — то и подавно.

...Вот так рассуждая, и шел я под этим небом, которое все больше голубело, обещая погожий теплый день.

Было еще так рано, что по дороге от плebании до Белой Горы я не встретил ни одной живой души. Никто еще даже не копался во дворах, никто не отдернул занавеску, провожая меня любопытным взглядом.

Я думал, что понадобится подниматься на городище, чтобы разбудить Сташку, однако, подойдя к подножию поросшей травой махины, — к своему удивлению, — увидел, что она уже там. Сидит на каком-то бревне, неудобно вытянув длинные ноги. В легком пестром платье, в тонкой кофточке, накинутой на плечи. Ожидает.

Глаза слегка запали, видимо, от усталости, губы слегка улыбаются. Никогда еще не была она мне столь дорогой, как в этот момент, никогда не была такой желанной.

— Доброе утро! Как твои?

— Дрыхнут еще все. А у тебя?

— Десятый сон дохрапывает Мультиан. И Вечерка с ним. Нет, надо мотать отсюда. И в сторожку добираются.

— Так ведь все равно завтра уедешь.

— Эт-то я еще погляжу. Как некоторые будут себя вести.

— А Вечерка?

— Вечерку отошью. Это же вчера сидят, а тут жена Вечерки приплелась. «Ну, выпили. Хряпнули», — говорит дед. «Слишком частое твое хряпанье, — говорит жена Вечерки, — как бы не вылезло боком». Тогда Вечерка рукой махнул: "Слушай ты рапуху^[168] эту, мало ли что она верещит".

— Ну, а вы что на это?

— А я сижу и думаю: «Вот это действительно мужское отношение к женщине. Не кто-нибудь, а пан и властелин».

— Д-да, мужики здесь серьезные. Чудо-богатыри.

Мы спустились на дно моего раскопа в третьей башне. Шесть плоскостей, шесть углов. Потолок — он же пол второго яруса — частично обвалился, как и часть внутренней облицовки стен.

Башни шестиугольные,
Снаружи — шестигранные.

Я промурлыкал это себе под нос, но она услышала, покосилась на меня.

— «Поэзия есть бог в святых мечтах земли», — процитировала она кого-то.

— Это еще что, — в тон ей сказал я. — Тут иногда люди с Олимпа, мэтры с устойчивой репутацией, такие бессмертные шедевры выдают, что начинающим поэтам и не снилось. К примеру, один тип, из-под Воложина, что ли...

Он взрастил рекордный лен
И за это награжден.

— Не верите? Сам читал. А размер вирша такой, будто рекордный лен

взрастить, все равно что «Калинку» отбацать. Дают братцы.

— Ну, довольно зубоскалить. Начнем.

Под башни был засыпан, по всему было видать, нетолстым слоем щебенки, обвалившейся штукатурки и разного мусора, и посреди всего этого стояли на попа (одна немного наискосок) три гранитные плиты. Одна, очевидно, с облицовки, две — с потолка.

— Мы их не сдвинем, — сказала Сташка.

Действительно, плиты были приблизительно полтора метра на метр с четвертью каждая. И толщиной сантиметров шестьдесят.

— Не сдвинем, — повторила она. — Сбегать за ребятами, что ли?

— А приоритет? — неудачно попытался пошутить я. — Нет, мы просто их не будем трогать. Выгребем мусор, даже просто отгребем его к стенам, потому что люк в подземелье, видимо, где-то посредине. Если плиты на нем — ничего не поделаешь, придется звать помощников. А нет — они нам не помешают, эти плиты.

Часа полтора мы упорно трудились. Она насыпала лопатой в дырявые ведра мусор и щебенку, а я относил все это и высыпал под стены. Потом мне показалось, что лопата движется очень медленно. Тогда я взял вторую лопату и начал отбрасывать к стенам из центра площадки штукатурку, куски кирпичин и все такое.

Но вот в конце второго часа моя лопата заскрежетала обо что-то. Раз, и второй, и третий.

Люк. Ну, не открытый люк. Просто квадратное отверстие, и на нем, почти полностью его прикрывая, толстая плита из гладкого, с виду чуть ли не отшлифованного песчаника. На плите крест с четырьмя закругленными лопастями, а в лопастях по непонятной букве (потому что забиты землей) На пересечении лопастей старинный шестиконечный Ярилов крест под «крышей», как на древнем кладбище, на староверских «голубцах».

Тут бы лом, но куда там бежать за ним. От нетерпения у нас перехватило дыхание: мы дышали коротко и сипло.

Просунули в щель лопаты. Нажали. Черенок Стасиной лопаты слегка прогнулся.

Но тут я, налегая грудью на черенок моей, просунул руки в эту трещину и опрокинул плиту на себя, назад, под широко расставленные ноги.

Открылось творило. Темное отверстие. Я зажег спичку и «стрельнул» ею вниз (так она дольше не сгорит, нежели когда ее просто бросить). Сводов и стен она не вырвала из тьмы, зато на миг осветила неширокие и очень крутые ступени из красного кирпича.

— Ну вот, — сказал я, — теперь можно и за ребятами сходить.

— А приоритет? — передразнила меня она.

Я плюнул. Это правду говорят не только про Польшу, но и про наши западные земли, что на все те земли весь отпущенный богом ум — комар принес. Да и тот разум местные бабы расхватали. С этими не поспоришь. Я из собственной жизненной практики знал это. Потому я достал свечу (две были еще в кармане), снял куртку и ступил на первую ступеньку.

— Оставайтесь здесь.

— Это еще почему? — удивилась она.

— А вы про «эффект собачьей пещеры», что в Италии, слышали?

— Какой пещеры?

— А там есть пещера-яма. Человек зайдет, ходит там — и ничего. А собака или кролик подышают через несколько минут.

— А почему?

— Из вулканической трещины выделяется углекислый газ. Сочится понемножку. Ну, а поскольку он тяжелее воздуха, то остается внизу. Голова человека выше этой зоны, а собачья — ниже.

— Сами говорите — выше. Мы ведь на четвереньках ходить не будем. И потом, там вулкан...

А тут могли быть трупы. И никакой, даже минимальной, вентиляции. И слой газа может быть выше. Тогда уже будут говорить про «эффект человеческой пещеры в Белоруссии». Только говорить будут другие, не мы. А нам останется слава первопроходцев. Посмертная.

Но она уже тоже стояла на ступеньках, нагибалась:

— Да нет, нормальный воздух. Затхлым не пахнет.

— От затхлого воздуха никто еще не умирал.

— Ну и что?

— А то, что углекислый газ затхлостью не пахнет... Если хотите знать, он имеет единственный запах — запах смерти.

— По-моему, углекислый газ это не совсем то, что окись углерода. Он — угольный ангидрид.

— Боже, до чего же вы ученая! СО или СО₂ — вам это все равно... Наверное. Потому что химик из меня такой же, как...

Я спускался, и она спускалась за мной. И я уже плюнул на все. Пусть себе лезет, если ей так хочется, гадость такая. Я освещал только ступеньки вначале себе, а потом ей, чтобы случайно не ткнулась носом в кирпич.

И все же на последних ступеньках она оступилась, и я, стоя на ровном полу, едва успел ее подхватить.

Я страшно злился, что она лезет туда, куда не просят, хотя здесь было

более безопасно, чем в старинных шахтах по добыче кремня под Волковыском. А она этот конец неолита на собственном животе весь исползала.

И все же я не мог удержаться:

— Все-таки пошли. Гонора у вас хоть пруд пруди. А на деле «кабы мы не поднялись да не встали, так вы бы поганую землю носом копали».

— А это что за перлы изящной словесности?

— А это когда москвич куражится перед нижегородцами и насмехается над ними, то те ему вот так отвечают, огрызаются, Минина вспоминают.

— Ну, хорошо, хорошо, — по-видимому, смутилась она. — Светите... Минин.

Я поднял свечу и стал разглядывать помещение.

Это была абсолютно пустая камера не камера, склеп не склеп, подвал не подвал. Подземелье? Помещение, чтобы в нем что-то хранить? Но тут было пусто, как в студенческом кармане накануне стипендии (я, конечно, имею в виду настоящего, стопроцентного студента).

Пол из огромных каменных плит. Стены и своды как бы слоеные: толстые пласты дикого камня чередовались с более узкими полосами кирпича.

По форме — удлинённый эллипсоид вращения (в центре его мы и находились) с усечённым нижним концом. Ну, а проще — яйцо, которое сварили, очистили, срезали один конец и на этот срез поставили. Метров четырнадцать в окружности, метра три с половиной в высоту.

Только в одном месте (метра два с чем-то над землей) какое-то темное пятно размером с тетрадь. Отдушина? Просто так не разглядишь. Подставить бы что-нибудь. А что? Спину Сташки? Не хватало еще, чтобы держала на спине мой «чуть ли не центнер». Подставить ей свою спину? Еще лучше: «А я у этого доктора на спине стояла да пританцовывала». Наконец, все это чепуха. Подставлю, если понадобится.

И вот, выше, почти под сводом, еще одно пятно.

Ясно, делать тут нечего.

— Ну что же, — сказал я, — становитесь мне на спину, вот вам свеча. Посмотрите, что там такое темнеет, и айда отсюда. Как видите, мы ошибались. Точнее, ошибался я.

На ее лице было такое разочарование, что мне стало жаль ее.

— Может, простучать пол, стены?

— Напрасно. Сразу видно — строилось на века.

Я старался не смотреть в ее сторону. Впрочем, мог бы смотреть и не

смотреть, все уже было все равно.

И тут я услышал какой-то шорох вверху. Потом оттуда через люк поползла, извиваясь, словно питон, толстая, серая, какая-то отвратительно-живая струя щебня, штукатурки и песка.

— Оплывает! — крикнул я и бросился к лестнице, увлекая за собой Сташку.

В этот момент наверху что-то тупо и тяжело ухнуло, сотрясая стены и загородив почти весь дневной свет, скупно сочившийся в люк.

Словно в ответ, струйка песка, битого кирпича, щебенки, каких-то щепок мгновенно переросла в мощный поток, толстый, как дерево. Все это обрушилось вниз, я был уже в этом потоке, но лестница превратилась в сплошную свалку, в которой ноги не могли найти опоры. Мне засыпало лицо, в рукавах было полно мусора.

Снова тяжело ухнуло. Остался лишь узенький, как лезвие ножа, лучик света, и в этом лучике я увидел, как скользнуло по поверхности пылевого потока стекло, довольно большой кусок. Хорошо, что не в голову.

А потом грохнуло что-то в стороне, и лучик исчез. Словно в ответ на это сотрясение, от которого, казалось, содрогнулась вся земля, что-то опять, в третий раз, бабахнуло над головой, дуновением воздуха погасив язычок огня.

— Что там? — крикнул голос снизу.

— Обвал! Плиты рухнули на лаз.

Я сполз вниз и стоял по колено в этой осыпи из разного паскудства.

— Где вы?

— Здесь я.

— Идите на голос... Я здесь... Ближе... Ближе... Ага.

Мы соприкоснулись. Потом моя рука нашла ее руку. Так мы и стояли.

— И ничего нельзя сделать?

— Вряд ли. Метр с четвертью на метр и шестьдесят сантиметров... Это... это... если я не ошибаюсь... каждая плита ноль целых шесть десятых кубометра. Удельного веса гранита я не помню. Но попытаемся представить себе столб метр на метр и высотой... Нет, наверно-таки, я ошибусь. Но такого веса мне не поднять. Слышите?

Сверху послышался шорох, легкое рокотание, шелест.

— А это что?

— А это на плиты сплывает песок, который мы так легкомысленно отбрасывали «немного в сторону»... И надо же — никакого рычага! Можно было бы попытаться.

— Так что мы будем делать? — спросила Стася тихим голосом.

— Погодите. Нужно зажечь свечу, чтобы оглядеться. Без огня совсем каюк.

Я похлопал себя по карманам и ощутил ледяной холод в позвоночнике.

— Ч-черт! Холера на мою голову!

— Что это вы?

— Спички остались наверху. В куртке.

— Та-ак.

— Да, веселая перспектива.

— И что делать?

— Сидеть. Ожидать. И думать.

— Над чем?

— Над тем, что каждая плита ноль целых шесть десятых кубометра. А если точнее, то даже ноль целых шестьдесят девять сотых кубометра... Я вспомнил, кубометр гранита весит от трех до семи тонн. В зависимости от плотности.

— Значит...

— Умножьте это на три. Так вот, если посчитать весьма приблизительно, даже в лучшем случае этот завал, вся эта бандура весит шесть тонн. Мы не сможем даже на толщину волоса сдвинуть плиты с места.

— Значит, нам могут помочь только снаружи?

— Да. И необходима техника. Им не обойтись без техники.

— Что ж, — сказала она, — будем смотреть правде в глаза: помощи извне тоже не будет.

— Почему? — Я начал уже догадываться.

— Мы ушли, когда и ваши и мои спали. Никто нас не видел. Мы не предупредили ни о чем ни детей, ни коллег, ни хозяев. Мало того, мы навели на ложный, фальшивый след даже Хилинского с Лыгановским. Курганное захоронение, неизвестно где, пятое, десятое. Нас можно искать в лесу, по всему району, но только не здесь... И даже след на росе: «взойдет солнце — росу высушит».

— И все же мне подозрителен этот обвал. Плиты стояли крепко. Я пытался сдвинуть — ни одна не сдвинулась.

— Так что вы думаете?

— Думаю, что это очередная попытка избавиться, очередное покушение на тех, кто много знает.

— Что ж, будем ждать... Вы говорили, без еды...

— Я говорил, сколько дней может прожить человек без еды, но я не говорил, сколько он может прожить без воды. А воды у нас нет ни капли.

Даже капли со сводов.

А про себя подумал: «Дня три».

Руки мои все еще искали в карманах то, чего там не было. Носовой платок, ножик, сигареты, шариковая ручка. И вдруг в самом уголке правого кармана, почти наполовину под подкладкой, пальцы нащупали что-то тонкое и хрупкое, даже на ощупь похожее на спичку. Потянул, еще боясь верить.

— Сташка, спичка!

— Ну и что? Спичка без коробки.

— Глупенькая, если только...

Я лихорадочно думал, сжимая в пальцах драгоценность, равной которой не было.

Можно, можно было добыть огонь и без коробка. Есть несколько способов.

Ну, во-первых, согнуть ногу так, чтобы брюки плотно обтянули бедро, и чиркнуть спичкой по бедру. Можно, но я не знал, из чистой шерсти мои брюки (тогда огонь!) или с примесью какой-нибудь синтетической дряни.

Шершавая стена? Но достаточно ли она мелкозернистая и сухая?

— Ага... Сташка, где твоя рука? На, держи. И упаси бог уронить.

— Что ты хочешь делать?

— Погоди.

Я вспомнил, как блеснул в последнем лучике света кусок стекла, скользнувшего по струе мусора, сыпавшегося в люк.

— Кусок стекла!

Я подполз к обвалу, в куче мусора у лестницы (благодарение богу еще, что я не отошел далеко) и начал руками, сантиметр за сантиметром, ощупывать мусор, даже слегка перекапывать его.

Это была почти безнадежная затея. Стекло могло отлететь далеко в сторону, могло оказаться глубоко засыпанным. Но я перебирал и щупал мусор в полном мраке так упорно, словно это была последняя наша надежда. Хотя что нам могло дать это стекло? Возможность одной-единственной неудачной попытки? А что мог дать нам свет, даже если мы и добудем его?

Но я шарил, щупал, чуть не нюхал эти отбросы. И вот... вот... не оно... Вот еще... Оно... оно, черт меня и всех побори!

— Сташка!

— Я здесь... Ползи... Сюда... Что ты нашел?

Я приложил стекло к щеке — слава богу, сухое. Ни грана влаги на нем. Видимо, лежало в песке.

— Дай спичку.

Я осторожно водил спичкой по волосам, к счастью, также сухим. Сухие волосы лучше самой лучшей промокашки.

— Держи свечу... Так. Здесь держи. И упаси тебя бог даже дышать.

Прижав пальцем головку спички, я сильно и быстро чиркнул ею по стеклу. Раз... Второй... Третий...

Зашипело...

И вот на кончике спички расцвел чудесный, синий внизу, оранжевый выше и желтый на конце волшебного-живого цветка.

Вспыхнул фитиль свечи.

Новыми глазами смотрел я на нашу тюрьму, на перемежающиеся полосы камня и кирпича, на конус мусора, засыпавшего лестницу. Я воткнул в этот мусор свечу, а две другие положил рядом.

— Ненадолго хватит, — сказал я. — Будем зажигать одну от другой.

— Мы не знаем, — сказала она, — можем ли мы позволить себе даже такую роскошь? Хватит ли у нас в этой ловушке воздуха? А вы еще закурили, Антон.

— Потому и закурил. Видите, дымок тянется к тому темному пятну и к тому, что выше. Здесь есть тяга, есть воздух. По крайней мере, мы не задохнемся. И я попытаюсь сделать трут. Пускай себе не из древесной губы, а из собственных брюк.

Я глубоко затянулся и выдохнул очередную струю дыма. И снова ее потянуло к темному пятну на стене.

Отдушина. И тяга. Сильная тяга.

— И все же, в чем дело, что все так неожиданно обрушилось? — задумчиво сказала Стася.

— И тут не докопаешься. Может, та подточенная стена рухнула и удар отдался сюда... А может, и скорее всего это так, кто-то следил за нами. Кто-то постарался нас тут замуровать. А вместе с нами и свое прошлое.

— Так ведь здесь ничего нет. Какое прошлое? Где?

Я как раз заканчивал обстукивать камнем пол.

— Так. Никакого другого подземелья под этим нет. Значит, мы не там искали. Значит, надо искать в другом месте.

— Искать? Вы ведь собирались бросить?

— Дудки, — сказал я. — Теперь уже дудки. Найду.

— Вы вначале выберите отсюда.

— Выйду. Не знаю как, но выберусь. Сквозь стену пройду, а буду там. В землю зароятся — из-под земли достану. Вместе с их прошлым, настоящим и будущим, которого у них — я уж постараюсь — не будет.

Эти слова словно что-то сдвинули во мне. Говорил я их более подсознательно, чем думая над их смыслом.

Почему я был уверен, что нас завалили? Во-первых, сотрясение от какого-то там обвала не могло свалить плиты. Нужно было приложить к ним еще и какое-то механическое усилие, чтобы они обвалились. Во-вторых, мусор мы отбрасывали все же довольно далеко. Не мог он так легко начать сыпаться вначале между плитами, а потом на них, хороня нас. Ясно, что тут было. Тут было что-то наподобие рассуждения в древнем восточном гимне, приведенном, кажется, в книге «Душа одного народа» некоего английского офицера Филдинга. Книга рассказывала про Бирму, и было ей около ста лет. Как там было сказано?

Где их следы, где твои следы?
Кто их найдет, кто найдет тебя?

Да, кажется, я читал это там. Сто против одного, что этот «обвальщик» и «настоящего» Филдинга не читал. Но рассуждать он должен был приблизительно так.

А что это так взволновало меня в собственных словах: «Я достану их, даже если в землю зароятся. Вместе с прошлым и настоящим»?

События, слова, факты, слухи — все они совсем недавно были горстью разноцветных стеклышек, а теперь, словно помещенные в какой-то волшебный калейдоскоп, который стал медленно вращаться, постепенно начали складываться в геометрический рисунок, имеющий и симметрию, и даже кое-какой порядок.

Я опять прошелся по нашей тюрьме: следов, кроме наших, не было. К сожалению, спускаясь, я не посмотрел, были ли они на ступеньках. Если были, значит, те, немного спустившись по лестнице, самого подземелья не рассматривали и могли не заметить отверстий, через которые приходил к нам воздух.

По их расчету, мы не должны были умереть от жажды на какой-то там третий или четвертый день. Мы должны были умереть от удушья через каких-то там несколько часов.

Они не хотели рисковать. Несколько дней — это слишком много. Вот катастрофа, пара часов и удушье — это был верняк.

Холодная ярость охватила меня. Погибать из-за какой-то сволоты? Ну, н-не-ет! А калейдоскоп работал и работал, и стеклышки с тихим щелканьем занимали свои места.

Все. Во всяком случае многие. Вплоть до слов про «страшные яйца»,

которые говорили над пьяным Вечеркой те, неизвестные. Мои, и Сташки, и всех нас враги. Стоило лишь взглянуть на яйцеобразную форму подземелья. А одно ли оно здесь такое?

Так, калейдоскоп складывался в рисунок. Но кто, кто из живых узнает, что он сложился в моей голове во что-то логическое?

Никто.

Я взял свечу и пошел к отдушине. Язычок огня все больше оттягивало в ту сторону. Значит, откуда-то поступал воздух. Может, плиты не так уж плотно завалили люк.

Отставив руку со свечой, я начал ощупывать кладку. Да, в ней действительно была отдушина с ржавой крестообразной решеткой. Куда она вела? А черт его знает! Может быть, в другой такой же подвал. «Допустим, ты пробил головою стену. И что же? Ты оказался в соседней камере...»

— Возьми, Сташка, свечу, — сказал я. — Держи в стороне от тяги.

Освободив правую руку, я подпрыгнул, ухватился за решетку и начал раскачивать ее (или, может, качаться на ней?).

Все это было пустым делом. Даже выломай я проржавевшее железо, кто бы пролез в дырку размером двадцать на двадцать пять сантиметров? Но я был неспособен рассуждать логично ни о чем, кроме моего «калейдоскопа». И я качался и качался, то подтягиваясь к решетке на руках, то отстраняясь, с силой распрямляя согнутые ноги, которыми упирался в стену.

Показалось, что ли, но в какой-то момент мне сдалось, что решетка и нижний камень кладки в самом деле слегка «ходят», как шаткий зуб.

Я спрыгнул немного отдохнуть и увидел, что от вертикальной перекладины решетки вьется, бежит среди камней узкая трещинка.

И тут я понял, что поступил правильно, начав эти «экзамены на обезьяну». Так она и вмуровывалась в свое время, решетка, в каменную кладку: минимум два камня были двойные или с большими выемками. Два конца «креста» входили в выемки, а два других просто всовывались в проемы, а потом эти проемы заполнялись крепкой цемянкой. Цемянка не выдержала.

Я снова повис на решетке. Длилось это целое столетие. Во всяком случае первая свеча уже догорела, и Сташка зажгла вторую.

Первый камень выпал снизу... Второй, зараза, держался, словно у него были корни. Тысячи корней. Но наконец хлопнулся мне под ноги и он.

Камень на камень.

— Становитесь, Сташка. Я вас подниму и, простите, протолкну,

ногами вперед.

В первый и последний раз я держал ее на руках. В стороне горела воткнутая в мусор предпоследняя наша свеча. Чувствовал сквозь легкое платье теплоту и округлость ее ног. Потом, когда они исчезли в бреши, твердую округлость груди.

А у глаз моих, в полумраке были ее глаза, и прядка ее волос легко щекотала мне висок.

— Стали?

— Кажется, утвердилась, — шепотом ответила она из-за стены.

Я пошел за огнем, потом двинулся к пролому. И вдруг услышал приглушенный крик. Оглянулся. Завал вверху за моей спиной угрожающе прогибался. И тогда я бросился бегом, сунул свечу в ее руку.

— Отступите.

Должно быть, так прыгают сквозь огненный круг львы в цирке. Во всяком случае пролом я почти пролетел, приземлился на четвереньки, и целое море пламени охватило мою голову, рассыпавшись потом огненно-зелеными искрами.

— Живы?

— Жив. Руку, кажется, слегка подвернул.

Мы, как сговорившись, глянули назад в пролом и ужаснулись. Нижняя плита держалась одной стороной. Едва держалась.

Достаточно было кинуть в нее камнем, — да что там, — даже просто, казалось, кашлянуть или крикнуть, и все это обрушилось бы вниз, мозжа и давя все живое. Путь к лестнице был отрезан. И даже если бы мы специально вызвали эту лавину — неизвестно, не засыпала бы она тот пролом, через который мы попали сюда. А куда попали? Мы обошли вокруг точно такое же подземелье, такое же «страшное яйцо», только глухое и с сильно разрушенной лестницей. И никакого выхода. И здесь была отдушина, только вдвое меньше и без решетки. И, значит, расширить ее было нельзя никак.

И еще — слабая надежда — окошко вверху размером с ладонь. Это окошко не было темным. Это было слабое пятно света, дневного света, который падал откуда-то сверху и освещал даже какую-то достойную жалости былинку, росшую, по-видимому, на дне какого-то колодца или просто ямы, куда и выходила отдушина.

Обессилевшие, мы сели прямо на плиты и, честно говоря, пали духом настолько, что опустили головы. Это было уже действительно все.

В самом деле, слабым утешением было то, что они, если они были, не знали о существовании соседних камер, и потому мы не задохнулись и не

были уже мертвы, похоронены под обвалом.

Наша удача означала только более медленную смерть. И если мои кошмары несли в себе хоть зерно правды — ну что ж, у того, что было похоронено здесь разными людьми, теперь будет четыре стража.

— Ничего, ничего, Сташка, — сказал я. — Ну, перестань, перестань. Все еще не так уж плохо. Мы придумаем что-нибудь, чтобы выбраться. Наконец, мы сожжем на последней свече что-либо из одежды. Неужто не найдут, хотя бы по струйке дыма? Да найдут. Конечно, найдут.

— Не утешайте меня, — тихо сказала она. — Здесь сотни дымов из печных труб... Кто обращает на них внимание? Нет, надо смотреть правде в глаза. Это — конец.

Плечи ее задрожали. Мне показалось, что она плачет, что вообще вся ее маленькая фигура есть живое воплощение отчаяния.

— Не плачь, — сказал я и погладил ее по голове. По этим чудесным волосам цвета красного дерева с золотом, которые никто в мире — а я первый — не решился бы назвать рыжими. Да они и не были такими.

— Я не плачу, — неожиданно твердым и даже сухим, возможно, от безнадежности, голосом сказала она. — Мне обидно другое.

— Что?

— Теперь уже можно сказать. Потому что все равно ничего не изменится.

— Что такое? — одними губами спросил я.

— Мне обидно, что ты не заметил... Не заметил, что я едва не с самого начала люблю тебя...

— Перестань, — сказал я. — Это я, это я не хотел, чтобы ты заметила. Я прожил больше тебя, так много, так бесстыдно много, что не имею права...

— Ты на все имел право... Я очень, очень люблю тебя. И мне все равно, что ты этого прежде не знал — теперь знаешь. И мне все равно, что мы здесь и не выйдем отсюда. Потому что это мы здесь. Ты и я. И других у нас, даже если бы случилось непоправимое и я перестала бы любить тебя так, как любила, уже не будет. Не думай. Я счастлива этим.

— И я счастлив, что помогло горе, что я услышал это. Потому что я никогда бы не решился сказать тебе... Хотя я желал бы, чтобы ты жила долго-долго, пока существует этот проклятый, этот благословенный мир. Больше всего на свете хотел бы, чтобы ты жила. Я очень, очень люблю тебя. И мне легко сейчас признаться в этом.

Она придвинулась и положила голову мне на колени.

— Я очень... я все отдала бы за тебя. Правда. Правда, потому что

судьба поставила нас перед невозможностью лгать. Ни словом.

— Я и так никогда не лгал бы тебе. Этим тяжелым волосам, морским глазам, этим ресницам невозможно было бы лгать. Спасибо тебе за все. Будь благословенна.

И так мы сидели в плену неразрывных, слитых в единое целое последних объятий, ожидая последнего исхода.

А иного нам не было дано.

Прошли минуты, может, часы, а может, и столетия. Мы боялись пошевелиться. Мы жили переполненной, высшей жизнью.

Потому что просто уже не жили.

* * *

...Я вскинул голову. Мне послышался крик. Детский? Или крик взрослого, приглушенный каменной толщей?

Крик этот как будто блуждал: звучал то ближе, то дальше, то совсем исчезал, то бился в каких-то запутанных лабиринтах. Бубнил, как из-под земли, и вдруг долетел так ясно, словно был в нескольких метрах, под открытым небом.

— Сташка, слышишь?

Наверное, она не слышала. То ли спала, то ли просто находилась в прострации.

— Дяденька! — Словно комариный писк, звучал откуда-то голос.

И тут же как бы взрывался в паутине катакомб:

— Я сейчас!

И снова как сквозь вату:

— Сейчас...

Что это было? Галлюцинации? Так быстро? А наконец, чего и ожидать от этого куска земли, испокон веков отравленного ненавистью, вероломством, подлостью, смертельным ужасом и самой смертью?

Последняя свеча уже наполовину сгорела. Поблекло пятнышко света в отверстии. Ничего. Теперь уже скоро. Серый, черный камень вокруг, камень измены и убийства выпьет наши жизни.

Мне показалось, что мы здесь не одни, что чей-то взгляд остановился на нас. Я приподнял голову, стараясь не пошевелиться, не потревожить девичьей головы на моих коленях...

...Из зарешеченного окошка на меня смотрело человеческое лицо.

Смотрело пристальным и, может, мне это показалось, недобрым взглядом. Блестели глаза, большие-большие в темных провалах глазниц. Цвет кожи от свечи, горевшей там, за стеной, был пергаментно-желтый, мертвый. А на тонких, всегда таких приятно-насмешливых губах была холодная, злорадно-издевательская, безразлично-изучающая улыбка.

Ксендз Леонард.

Смотрел зловеще, как ворон потопа^[169], когда этот потоп начал спадать, открывая глазам Ноя и его, ворона, трупы допотопных людей и зверей.

Окликнуть его? Я не решился. Тяжелее всего была бы эта последняя ошибка: увидеть, как улыбнется и уйдет, а с ним исчезнет последнее пятно света, последняя надежда.

А оно и в самом деле улыбнулось и исчезло, это лицо. Угас свет.

Неожиданно очнулась Сташка.

— Здесь кто-то был? — спросила она диким, словно после беспмятного сна, голосом. — Был здесь кто-нибудь или нет?

— Нет, — сказал я безжизненно. — Никого здесь не было. Сиди тихо. Вздремни еще. Сыростью тянет от камней... Нет, я не ожидал такого. Мой калейдоскоп рассыпался. В него попало лишнее стеклышко... Не мешало бы поинтересоваться, откуда оно появилось и каким образом испортило рисунок?

— Ты что? Заговариваешься? Темное, непонятное говоришь. — В ее голосе теперь слышалось нервное возбуждение и напряженность.

— Тихо. Тихо ты.

И тут я услышал вначале легкое царапанье, как будто мыши где-то скреблись, затем скрежет. Потом этот скрежет усилился, переходя в пронзительный визг.

В неопишемом удивлении — потому что до сего времени я слышал о подобном только в сказках, а видел лишь в кино — я не спускал глаз с вертикальной линии в стене. Она становилась все шире под этот визг, и я таращил глаза на то, как эта линия стала щелью, которая ширилась и ширилась, а затем превратилась в темную, широкую расщелину, в которую мог пройти человек.

Отъезжал узкий прямоугольный кусок стены. Глазам открывались полукруглые желоба. Видимо, такой желоб был и в стене, и она отходила, откатывалась на каменных шарах (похожий механизм я видел когда-то в тайном ходе одного из старинных замков крестоносцев. Как любят теперь говорить, — взаимообогащение. Не по этому ли принципу действуют наши подшипники).

А вообще, не горожу ли я вздор? Так все путается в голове после этих нескольких часов в подземелье.

Я осторожно взял Стасю под мышки и поднялся.

К нашим ногам уже катились из темноты щели две маленькие фигурки, Стасика Мультана и Василько Шубайло.

— Дядя Антось! Вы тут?! Тетя Стася! И вы?

У меня сжало горло, в нем стоял твердый ком. Возможно, я закричал бы. Но сдержался.

Потому что за мальчишками из мрака выступала фигура ксендза. Черная тень и два пергаментных пятна: рука со свечой, вся облепленная маленькими сталактитами воска, и лицо, на котором застыла все та же вопросительно-безразличная усмешка, которая словно издевалась и испытывала.

— Вы живы? — шевельнулись губы.

Во мне как бы еще сильнее укрепилось подозрение.

— Благодарение пану богу, — сказал он. — Идемте.

...Мы вышли «коридором» в небольшую камеру. Ксендз толкнул стену, и она с прежним рокотом и визгом покатилась на свое место.

Мы повернули за угол и очутились в длинном и низком коридоре-катакомбе.

— Здесь недалеко, — сказал Жихович, — и слава богу, что здесь есть ход.

— Слава богу, что они не знали о нем и о втором подземелье.

— О том, в котором вы были? О нем не знал и я, — сказал ксендз. И добавил, помолчав: — Спасибо вот им. Они столько кричали о подземельях, когда вы исчезли, что я пошел с ними, лишь бы отвязаться. Остальные ушли на поиски какого-то неизвестного «городища» и «курганного могильника» с час назад... Нехорошо, идя на встречу с возможной опасностью, направлять людей на ложный след. Из небольшой лжи иногда рождается непоправимое. Как из лжеучения — смерть духа, а из нарочитой фальши — смерть.

Он мог бы и сам являть пример воплощения фальши, если бы не горький сарказм в тоне его слов.

— Достаточно уже смертей на этом несчастном уголке земли. Просто какой-то Бермудский треугольник: Кладно — Ольшаны — Темный Бор. Гибнут надежды, без следа исчезают люди, их мечты и надежды.

— А кто в этом виновен? — Я все еще не мог избавиться от подозрительности.

— Не знаю. Наверное, предки и потомки, недавние и сегодняшние. И я

виновен. В том, что живу, когда все друзья... и подруги давно погибли.

Он шел по коридору, как живое привидение. Воистину так.

— Было бы ужасно, если бы погибли еще и вы. На пороге какого-то открытия, — он многозначительно покосился на меня, — или на пороге поражения, которое только и определяет, мужественный человек или нет.

Мне стало немного стыдно. Ведь если принимать во внимание его прошлое, то он был выше подозрений.

— Послушайте, — сказал я, возможно слишком резко, не в силах забыть ту усмешку в отверстии, — возможен ли стопроцентный христианин первых лет христианства? В наши дни, с нашим прошлым? Не лги даже в мелочах, не прелюбодействуй даже оком? Нет, вы, кажется, такой или хотите быть таким. Объясните мне, как это?

— Да ну вас.

— А я не верю. Не верю, потому что у большинства людей двойное дно.

— Не слушайте его, — тихо промолвила Сташка, — просто у него был стресс, и он никак не может очухаться.

— Двойное дно. Возможно, и тех замуровали, как в моем сне. Моему калейдоскопу недостает лишь одного стеклышка.

— Какого?

— Что означали те слова из кошмара: «два стража неотпетые и один некрещеный»? Кто они были, эти трое?

— Послушайте, — сказал ксендз, — у вас в самом деле нервная неуравновешенность.

Мы вышли на свет. Зеленела трава. Низкое уже солнце бросало апельсиновые отсветы на листву. Из-за ворот, с пыльной деревенской улицы, долетал спокойный и мирный хорал вечернего стада: мычание коров, жалостно-гнусоватое блеяние овец.

Я взял Сташку за руку, и тут меня затрясло. Так, что я боялся произнести даже слово, чтобы оно не прорвалось рыданиями облегчения. Не за себя, можете мне поверить.

— Ты не сожалеешь о сегодняшнем дне? — шепотом спросила она.

— Нет. Кто-то сказал: «Я не знал, как выглядит мой родной дом, пока не вышел за его стены. Я не знал, что такое счастье, пока не прошел безднами беды...» Я не сожалею о сегодняшнем дне.

И, однако, мне довелось под конец пожалеть о нем.

Возле дома навстречу мне бросился Мультиан.

— Слава богу, живы. Слава богу, хоть вы живы. Потому что троих в один день...

У меня сжалось сердце.

— Кто?

— Вечерка сегодня вытаскивал шнур возле Дубовой Чепы^[170] (черт его знает, чего он всегда его среди этих пней ставит) и вытащил...

— Лопотуха?

— Он. Милиция увезла уже. Наверное, упал в темноте с крутого обрыва. Виском о пень или о мореный дуб — вон сколько их там торчит у берега. И готов!

Я вспомнил достойного жалости, безобидного человека-страдальца, его беззащитное «мальчик, не надо» и как он пытался напугать меня, чтобы не шлялся у замка, не посягал на «его дом». Вспомнил свои подозрения и представил последнее стеклышко из калейдоскопа: тело утопленника.

И тут я понял, что я — осел.

ГЛАВА VII. О жизненной необходимости основательного изучения старославянской грамматики и алфавита, о без пяти минут докторях наук, которые тоже бывают ослами, и одной помощи, пришедшей непоправимо поздно

Мы сидели с Хилинским на берегу заводи, там, где впадала в нее Ольшанка. Очень широкая в этом месте заводь исходила паром, над ней стояли маленькие и редкие столбы тумана, чуть подсвеченные новорожденным солнцем.

Рыбачили. Вернее, удил один он, изредка подсекая то плотвичку, то небольшого голавля. Уже десятка два рыбок плавали в его ведерке, временами начиная беспричинно, как по команде, громко всплескивать.

— Все ясно, — сказал он, выслушав меня. — Ясно, что Лопотуха должен был погибнуть после врачебного заключения Лыгановского. Кто-то испугался, что к нему вернется психическое равновесие.

— Из тех, кто присутствовал тогда?

— Почему? Каждый из них мог рассказать об этом кому-либо из родных или знакомых.

— Лыгановский таки уехал.

— Да. Он сказал: «Если каждое мое слово в этом чудесном и высокоморальном крае будет приводить к таким результатам, то мне лучше исчезнуть. И пусть они здесь живут согласно своим обычаям и нравам. Мне до них теперь, что Кутузову до Англии».

— А что было Кутузову до Англии?

— Ну, когда мы слишком уж носились да цацкались с новой союзницей, так он сказал «пфуй» и императору и такой политике, добавил что-то в смысле: «А по мне так хоть сейчас же провались этот остров — я бы и не охнул».

— Д-да-а, а гуманностью тут фельдмаршал не отличился.

— И все же я никого из присутствовавших тогда не могу заподозрить, не вижу также, кого связывало бы прошлое с этим несчастным.

— Мы еще очень мало знаем. И потому не можем предвидеть и предотвратить поступки этого или этих. И ты прав: могли кому-то и рассказать.

— «Предотвратить». А тут из-за нашего незнания гибнут и гибнут люди. Вы не погибли вчера только чудом.

— Думаешь, искусственный, подстроенный обвал?

— А то как же. Обвалился кусок стены там, где ломали. И тут же к сотрясению добавилась сила, приложенная к плитам.

Подсек. На этот раз вытащил окунька.

— Брось, — неожиданно попросил он. — Не твое это дело. Это начинает становиться очень опасным. В следующий раз все может закончиться не так удачно. А тут еще твое нервное состояние. Всякий может сказать, что делом занимался псих. Не будет доверия.

— И пускай не будет. — Во мне вдруг проснулся юмор висельника, чего я от себя никак не ожидал. — Здесь столько умных, что обязательно нужен хотя бы один ненормальный. Если не Лопотуха, то пускай уж буду я.

— Ну-ну. Сумасшедшие иногда должны высказывать парадоксы и еретические суждения. Даже замахиваться на авторитеты. Особенно если прежде грешили передовыми взглядами.

— Ну, конечно. Сверхъестественное презрение к ругани и восхвалениям... И куда же это я попал? И куда могут завести человека передовые взгляды? А ведь многие считают свои взгляды передовыми. А у кого совесть атрофирована — те все себя передовыми считают. Изобретают газы, атом, дыбу, шовинизм, исторические поступки, эшафоты. И учат этой морали, если знают, что на нее махнули рукой... Открывают, открывают то, до чего никому нет дела. А вот обыкновенное средство от зубной боли или от радикулита, когда у человека зад болит... Человечество от этого воем воеет, а им изобрести слабо. Они копаются в глаголицах...

— Ну, ты даешь. Просто пуританский... — И вдруг уставился на меня. — Ты что, морского змея увидел?

Он, видимо, даже испугался, увидев, что я застыл, уставившись в одну точку, словно одеревенел.

Моя удочка успешно сплыла бы на середину заводи, если бы он не перехватил ее.

— Ну вот. Ну вот и у тебя что-то попало. Ты гляди, как повел осторожно... А, черт! Да что, наконец, с тобой?

Но тут я начал трястись от смеха. Поначалу тихого, а потом совсем уже нестерпимо безудержного.

— Да что с тобой, хлопче? Ты в самом деле свихнулся, что ли?

— Идиот! Идиот!

— Согласен, но почему?

— Я сказал... ой... про глаголицу...

— Не ты первый.

— И только тут мне стукнуло в голову... Мы искали под третьей башней.

— Правильно.

ѢДѢ

— третья буква, что в кириллице, что в глаголице.

— Да. И в глаголическом... ах-ха-ха!

АЗЪ, А, Т

первая буква и имеет под титлом значение один.

БОУКЪ, Б, Ё

— имеет значение два, а

ѢДѢ, В, Ѵ

— имеет значение три... Ой, держите меня! И нас чуть не засыпало и не убило под третьей башней.

— Та-ак. Не вижу ничего смешного. Своеобразный юмор.

— Дело в том, что

Т, Ё и Ѵ

— действительно один, два и три. Так в глаголице. Но в кириллице

БОУКЪ, Б

— не имеет числового значения. И никогда не имела, как

Ж

, как дervь

Ѣ

, как Ш, Щ, Ю и другие. Не имела.

— Как-как?

— А вот так. И значит

Ѹ

стоп вниз, это означает 6, а не 8 стоп вниз. Б и Ж не имели в древней Белоруссии числового значения.

Ѧ

— первая башня,

Ѣ

никакая, понимаешь, никакая.

В

— это вторая башня от угловой. Значит, ошиблись не только мы, но те, кто хотел нас засыпать... Они ничего не знали, они только следили за нами. А все, что мы...

Я изнемог от смеха, совершенно обессилел:

— Господи! Олух! Олух! Осел ременные уши.

— Ничего, осел на четырех ногах и то спотыкается.

— Ну, хватит. Я больше не позволю этому ослу спотыкаться. Мулом мне стать, если это будет не так.

С этого момента я твердо решил, что никто, ничто и никогда в ослы меня не запишет. История когда-нибудь докажет, так это или не так.

Пока мы дошли до места, где нам нужно было расходиться, я поведал Хилинскому все свои соображения по этому делу. Пускай передает дальше кому хочет. Я больше не желал рисковать. Мало ли что могло случиться со мной в этом идиотском уголке?

Он слушал внимательно, а потом, ничего не комментируя, произнес каким-то безразличным голосом:

— Похоже на то. — И после паузы добавил: — И еще тебе пицца для размышлений: «БТ» никогда, с самого основания ларька, киоскеру не отпускали.

Что мне было до «БТ» и до этого бедняги Пахольчика? Меня удивило другое.

— Так, значит, поиски идут? Их не оставили?

— А-а, — отмахнулся он, — я ничего не знаю. Шука как-то обмолвился.

...Через день наше тихое пристанище превратилось в столпотворение вавилонское. Сновали между Ольшанами и Ольшанкой разные машины и разные люди. Приезжали даже из Кладненского и столичного музеев.

Меня это не касалось. Я сделал свое и, на этот раз, надеялся, что без ошибки. Я просто делал то же, что и прежде. Вместе с хлопцами, вместе с археологами (где прибыль, там помощников гибель) выносил мусор и щебень. На этот раз из второй башни. И все эти дни я, словно предчувствуя недоброе, пребывал в самом дрянном настроении.

Приходили и уходили местные жители. Иногда на холме люди собирались даже в маленькие группки, где оживленные, а где и мрачные.

— Ну что, наклеивается что-нибудь? — спросил Ничипор Ольшанский.

Он стоял поодаль вместе с Вечеркой, Высоцким и Гончаренком.

И хотя, отгребя новую порцию разной трухи, на глубине шести стоп от «материка» мы действительно только что нашли изображенный на камне контур корабля, я ответил уклончиво:

— А черт его знает. Тут такая головоломка, что нельзя быть уверенному ни в чем... Возможно... что-то найдется, а скорее всего — нет.

Я не хотел рассыпать почти завершенного узора в калейдоскопе.

До вечера мы расчистили почти всю площадку. Я уже приблизительно видел, где пол сделай из меньших плит. Там можно было предположить существование замурованного лаза. Поэтому я специально не позволил ребятам делать раскопку до конца.

— На сегодня достаточно. Завтра с утра займемся снова.

Они ворчали: азарт есть азарт.

— Ничего, ничего. Оставьте немного приятного ожидания и на завтра.

— Приятного, — с порядочной долей издевки сказала Сташка. — Ничего там приятного не будет.

Я помрачнел:

— Если я даже прав, то один день ничего уже не даст и ничего не изменит. Даже если догадки правильные. Потому что люди — мы в этом случае — опоздали с помощью. На добрых три с половиной столетия.

ГЛАВА VIII. Два призрака в лощине нечисти и дама с черным монахом, или паршивый белорусский реализм

...Мы умылись в реке, и я пошел проводить Сташку и ее команду до лагеря. Там уже весело плясало пламя костра и шипел котел с супом, судя по запаху, куриным, а возле него колдовала худенькая Валя Волот. Все расселись вокруг костра.

— Что это вы так поздно? — спросила Валя.

— Свинья полудня не знает, — ответил Седун. — Да и не только мы виноваты. Петух ведь еще не сварился.

Я чувствовал, что Генка снова что-то готовит.

— А все она, — сказал Генка, кивая в сторону девушки. — Не надо было ей смотреть, как петуха резали. У нее глаз живит.

И вздохнул с фальшивой печалью:

— Так долго мучился петух.

И тут Валя удивила меня. Видимо, Генкины глупости даже у нее в горле сидели.

— Э-эх, — воскликнула она, — не человек, а засуха. Да еще такая засуха, что и сорняки в поле сохнут.

— Сам он сорняк, — сказала вдруг Тереза.

— А моя ж ты дорогая, а моя ж ты лапочка брильянтовая. А я ведь на тебе жениться хотел.

— На которой по счету? — спросила Тереза. — Женись, только не на мне.

— Женись, чтоб дурни не перевелись, — добавила Валя.

Генка притих, понимая, что уже все хотят прижать ему хвост. После еды он даже вежливо сказал «спасибо», но Волот и после этого осталась непреклонной.

— Спасибо за обед, что поел дармоед.

— Милосердия! — взмолился Генка.

Девчатам и самим уже не хотелось добивать «дармоеда». На компанию опустился тихий ангел.

Я не знаю ничего лучше костра. Он пленяет всегда. Но особенно в таком вот мире, залитом оливково-золотистым светом полной луны. Повсюду мягкая однотонность, повсюду что-то такое, что влечет неизвестно куда. К в этой слегка даже серебристой лунной мгле — теплый

и живой багряный мазок.

Художники понимают это. Хорошие художники.

— Мне пора, — со вздохом сказал я и поднялся.

— Пожалуй, я провожу вас до края городища.

Прохлада ночного воздуха на лице. Особенно ласкового после жара костра. Мы шли в этой мгле. Костер отдалялся и превратился уже в пятнышко, в живую искру. Слегка прогнутой чашей, оливково-серебристой под луной, перед нами лежало городище, обособленное от остального мира тенью от валов.

— Лунный кратер.

— Станислава, ты не передумала?

— О чем?

— Не раскаиваешься?

— В чем?

— В том, что сказала вчера.

— Нет, — тихо сказала она. — И думаю, что не буду раскаиваться. До самого конца.

— И я. До самого конца. Все равно, скоро он наступит или нет. Только я не знаю, чем заслужил такое от бога.

— А этого ничем не заслуживают.

— Ни внешностью, ни молодостью, ни поступками, ни даже великими делами?

— Иногда. Если такое уже и без того возникло. А оно приходит просто так.

Я взял ее руки в свои. Потом в моих пальцах очутились ее локотки, потом плечи.

Я прижал ее к груди, и так мы стояли, слегка покачиваясь, будто плыли в нереальном лунном зареве.

Потом, спустя неисчислимые годы, я отпустил ее, хотя этот мир луны был свидетелем того, как мне не хотелось этого делать.

— Прощай, — сказал я. — До завтра.

— До завтра.

— Что бы ни случилось?

— Что бы ни случилось с нами в жизни — всегда до завтра.

— Боюсь, — сказал я. — А вдруг что-нибудь непоправимое?

— Все равно — до завтра. Нет ничего такого, чтобы отнять у нас вечное «завтра».

Ноги сами несли меня по склону. Я способен был взбрыкивать, как жеребенок после зимней конюшни. Все нутро словно захлебывалось, до

краев переполненное радостью.

Была, впрочем, в этой радости одна холодная и рассудительная жилка уверенности. Уверенности и знания, которые росли бы и росли, дай я им волю. Однако я им этой воли не давал, сверх меры переполненный только что происшедшим и новорожденным чувством безмерного ликования.

И я не давал воли внезапному озарению, которое пришло и не отпускало меня, став уверенностью и знанием. В этом была моя ошибка.

Но я просто не мог, чтобы в моем новом ощущении единства со всем этим безграничным, добрым и мудрым миром жили подозрения, ненависть и зло.

Я вступил в небольшую лощину, лучше даже сказать, широкое русло высохшего ручья. Слева и справа были довольно крутые косогоры, тропинка вилась по дну и выходила в неширокий проем, за которым, не мигая, висела большая неподвижная звезда.

Туманно и таинственно стояли в котловине в каком-то никому не ведомом порядке большие и меньшие валуны. Это было место, в котором старая народная фантазия охотно поместила бы площадку для совещаний разной вредной языческой нечисти. Она вымирает, но все равно в такие вот лунные ночи, когда вокруг светло и только здесь царит полумрак, сюда слетаются на ночное судилище Водяницы^[171], Болотные Женщины^[172], феи-Мятлушки^[173], Вогники^[174] с болот, Карчи^[175], Лесовики^[176], Хохолы^[177] и Хохлики^[178] и другие полузабытые кумиры, божки и боги. Вспоминают, плачут по былому, творят свою ворожбу, предсказания, суд.

Дыхание трав увядающих тает,
Сочится туман над стальной водой.
В низине, где замок почиет седой,
Последняя фея сейчас умирает.

Эта лощина — последний уголок их когда-то безграничного царства. Эти еле видные, тускло мерцающие камни — их поверженные троны. Троны в лощине, в которой густо настоялась их тревога, бездомность и обреченность. Их последняя безнадежность в мертвой пустоте бездуховности. И единственное живое — живое ли? — существо в этом мире заброшенности и хмурой Печали.

Нет, я не был здесь единственным живым существом. Передо мной как раз на том месте, где тропинка ныряла в узкую расселину, чтобы метров через десять вырваться на простор, возвышалась очень высокая тень

человека.

Эта тень подняла руку и медленно опустила ее. Все это творилось в полном молчании, которое обещало очень недоброе.

Я оглянулся — еще одна тень блокировала второй выход, тот, через который я забрел в эту ловушку.

А я ведь все уже понял, я знал и мог предвидеть это. Но я, ослепленный своим счастьем, смирил, заглушил, удушил свои предчувствия, не дал им воли.

И теперь расплачивался.

— Вы кто? — прикидываясь вполне безмятежным, спросил я.

Он молчал. И вдруг на темном пятне лица возникла тусклая белая подкова — неизвестный улыбался.

— Впрочем, можете и молчать. Я знаю и так.

Их позы красноречивее всех слов говорили о том, что этому моему знанию я и обязан этой ночной встречей и что она не может окончиться для меня добром. Потому что моего молчания о том, что я знал, нельзя было купить, но его можно было добыть, повстречав вот так на узкой стежке, перекрыв все пути. Они и повстречали. И это была не первая их попытка добыть молчание такой ценой.

— Здорово, Гончаренок, — сказал я, покосившись на того, что подходил сзади. — И ты здорово живешь, Высоцкий. Что, покой очертенел любителю «тихой жизни»?

— Ну, здорово, — это процедил наконец первые слова Высоцкий. — Доброй ночи, Космич.

— Вряд ли она будет добрая.

— И здесь ты не ошибаешься, — с ленивым спокойствием сказал он.

— Напрасно вы задумали, хлопцы. Напрасно начали. Мое молчание уже ничего не стоит. Я нарушил его. И если со мной что-то случится — те люди сделают свои выводы. И на этот раз они колебаться себе не позволят. Медлить не будут.

— А нам и не надо. Это не купля молчания, — отозвался Гончаренок. — И даже не месть. Просто итоги подбиваем. Ты свое дело сделал, привел нас до тобой же открытого тайника. А уж вскрыть его — тут нам целиком хватит твоего молчания до утра. Это для нас оно будет — до утра. Для тебя оно будет — на неопределенное время. Даже если рассчитывать на трубу архангела.

— Для вас она тоже затрубит, — ответил я. — Даже быстрее, чем надеетесь.

— Это мы, как говорят, еще поживем-увидим, — сказал Игнась.

— Ну так что, — предложил я, — присядем да поговорим.

— Тянешь? — спросил Гончаренок. — Выторговываешь пару минут? Не поможет.

— Нет, не тяну. Просто постараемся утолить ваше и мое любопытство. Взаимно. Ведь интересно ж, правда, как работали наши головы?

— Твоя скоро работать не будет, — сказал Гончаренок.

— Брось, — прервал его Высоцкий, — и в самом деле любопытно. А времени у нас хватит, даже многовато будет. Нужное нам можно легко и перепрятать. Остальное нехай хоть сгорит.

— А то, что нужно не тебе и не мне?

— Может, и найдется. А может и сгореть, хрен с ним. В самом деле, давайте присядем да тихо-мирно поговорим.

И он указал мне на высокий валун около стежки.

Сами они сели на два пониже, чтобы иметь большую, чем я, свободу движений. Ночное судилище нечисти началось.

— Ну вот и поговорим, — хлопнул себя по колену Высоцкий.

Сеймик, как говорится, был небольшой, но *bardzo porzadny*^[179]. У двух его участников, помимо превосходства в грубой физической силе (впрочем, может, и не такого уж большого), в карманах можно было найти ножи (я был уверен в этом), а у кого-либо, может, и симпатичный маленький кастет, а во внутренних карманах пиджаков или под мышкой — пистолеты.

— Начинай, — как бы торопя, сказал Гончаренок.

— Начну, — сказал я. — Начну с того, что если даже и не на сто процентов, но я знаю вашу историю, ваше прошлое. Как узнал? Считайте, что поначалу это были просто неясные догадки. Я не знаю, каким образом вы пронюхали о книге и тайне, скрытой в ней. Но вы знали. Возможно, еще со времен войны, со времен последнего Ольшанского. К сожалению, вы не смогли присутствовать при финале трагедии и точно не знали, где и что в дополнение к старым сокровищам спрятал последний князь. Потому что в дело вмешались гестапо, прятавшее архив, и айнзацкоманда, прятавшая награбленное. И обе эти «организации» разместили свои тайники в опасной близости к старинным сокровищам. Им казалось, что более надежного места не найдешь. И они не были склонны информировать посторонних, да еще местных, открывать им свои тайны. Наоборот, припрятав от вас ваши же дела, они заставили вас остаться здесь надежными охранниками своих ценностей и, в случае чего, их защитниками, потому что вы заодно защищали свой покой и кое-какое будущее... На случай такой неожиданной неприятности, если бы кто-то начал искать и копать.

Они переглянулись.

— Но хозяева не выжили. Старый Ольшанский в скором времени помер. Книга исчезла неведомо где. Вы не могли и предположить, что она заброшена на чердак хаты деда Мультана, где ее нашел Пташинский. Зато у вас была надежда, что не все потеряно, пока книга неизвестно где, а даже и найденная даст мало пользы тому, кто ее найдет. Ведь нужно догадаться о существовании зашифрованного сообщения, расшифровать его и... этого мало, иметь в руках вещественный предмет, без которого, как считал древний князь, да и вы тоже, расшифровка тайны невозможна. Ни он, ни вы не подумали, что, имея на плечах хотя бы какое-то подобие головы, можно обойтись без этой вещи.

— Какой вещи? — процедил сквозь зубы Гончаренок.

— Я много над этим думал. Случай помог мне, а вы своим поведением укрепили мою догадку. Это «мед», медь, это пестик, который у вас, Гончаренок. И ступка, которая, я почти уверен, у вас, Высоцкий. Почему же вы не сложили своих пожитков в общую сокровищницу? Боялись, не доверяли друг другу. Собирались шантажировать друг друга общим неопределенным прошлым.

— Брешешь, — сказал Высоцкий.

— Почему брешу? Вы просто не нашли книгу. Так совпали обстоятельства. Не нужны были ни преступления, ни новые и новые ваши жертвы.

— Тут ты сглупил, — сказал Гончаренок. — Мы со временем догадались, что ты каким-то непонятным образом совершил сверхъестественное, хотя имел в руках только треть тайны. Нам оставалось только следить за тобой.

— И с некоторых пор вы догадались, куда ведет меня в этом лабиринте моя нить. Тогда я стал не нужен, и вам надо было обязательно убрать меня с дороги, чтобы не мешал. Однажды вы попытались закидать меня камнями во время «дуэли фонарей». Вторая попытка — нападение четверых (догадываюсь, кто были двое остальных и почему они сегодня не присутствуют). И третья — которая чуть не увенчалась успехом, — обвал.

— Четвертая увенчается, — пообещал Гончаренок.

Я тянул. Бессовестно тянул. Выхода у меня почти не было. Была лишь слабая надежда, что кто-нибудь придет ко мне в плербанию. Что, может, не застав дома, кто-то спохватится и меня начнут искать. Надо было как можно дольше задержать их, чтобы им осталось меньше времени до утра. Когда это теперь всходит солнце? Гм, где-то в половине четвертого. Оставалось каких-то три часа с небольшим.

Нужно было спасать дело, если уж я не мог спасти свою жизнь. Спасать дело, за которое сложило головы столько людей.

Мне тоже очень не хотелось безвременно оставлять этот лучший из миров (лучший ли, если по нему шляется такая сволочь?), но если уж это было кем-то предопределено, то я хотел быть последним, кто безвременно его оставит.

Чтобы после меня больше — никто.

Мир был до краев залит безразлично-прекрасным светом луны. Лощина, в которой мы сидели, была с избытком переполнена темным сумраком. И справа от себя я видел человека с лицом, изрезанным мелкой сеткой морщин, и ушами, большими, как у Будды, а слева — другого, большого, сильного, который с ленивой грацией развалился на камне.

— Вы считали, что, если разрушите стену, возле башни, вам будет легче забраться в ее подземелье. Под шумок. То одни разбирают, то вы. И вот Гончаренок со всем присущим ему шармом убеждает председателя в целесообразности закрыть мечеть и устроить в ней свинушник.

— Какую мечеть?

— Ну, пробить запасной вход в замковый двор и сделать в нем скотный двор... А тут я, с фотоаппаратом. И даже председателя напускать на меня не надо, чтобы самим остаться в стороне. Председатель сам лезет на рожон. Охранную доску сняли ведь. Закона нет разрушать, но тут — по горячему... Небольшая, но неприятность. А тут еще два Ивановича, которые ему с этим своим краеведением давно в зубах застряли и уши объели. А вам с этим их «Познай свой край» и «Никто не забыт, и ничто не забыто» тем более. Потому что вам как раз и надо было, чтобы люди меньше знали свой край и прочно забыли о некоторых типах и их деяниях.

— Игнась, я его сейчас грохну, — сказал Гончаренок.

— Погоди. Тебе что, не интересно, до чего он там додумался? Пусть болтает. Далеко он своих знаний не унесет. А нам любопытно узнать, почему он заподозрил. Ведь другие тоже могли догадаться. Уж я вроде бы не очень умным выглядел, а о тебе и говорить нечего. Настолько тупое животное, что подозрений не должно было быть.

Гончаренок снова полез в карман.

— Брось, — снова остановил его Высоцкий, — нож ты хорошо бросаешь, но его сквозь карман, как пулю, скажем, не кинешь. Сиди и слушай.

— Часто встречался ты мне, Тодор, на дороге. Иногда ночью. И прыгал через канаву, полную воды, якобы по малой нужде. А зачем?

— А затем... Встретились тут с одним...

— А до этого, на другой дороге, про «страшные яйца» разговаривали? — Я надеялся только, что выдумки и предположения, построенные на песке, не занесут меня слишком в сторону.

— Ч-черт.

— Вы шли оттуда полем, чтобы возвратиться иной дорогой, чем тот.

Кто «тот», для меня было темной ночью, как многое и многое в этом деле. Многое, о чем я уже никогда не узнаю. Но я должен был делать вид, что мне известно куда больше, чем на самом деле (только бы не перегнуть!), и потому даже врать с большей или меньшей долей вероятности.

— Вы торопились. Тем более, что тогда, по дороге на станцию, в грузовике, я проболтался, что связываю все, что происходит, не только с теми сокровищами, но и с событиями перед бегством немцев. Тут уж надо было и дело с Лопотухой как-то довести до конца («дуэль фонарей»), а заодно и со мной, если уж ночью полез в замок, попался под руку. И даже убежать было нельзя. Привязаны к архивам... То-то же ты, Высоцкий, тогда на станции так на пассажира психанул. В самом деле, едет себе, куда хочет, а ты, «туземец», вынужден на месте сидеть, дрожать и ждать результата. Да и странно, что человек не знает, где его брата расстреляли, в Кладно или в Белостоке. Пожалуй, все же на Кладно слухи указывают, и фамилия на памятнике черным по белому.

— Какое дело с Лопотухой? — словно ничего после упоминания о нем не слышал, спросил Высоцкий.

— А вы думали, что, если он замок своей крепостью считает, вас ежедневно видит и подсознательно побаивается и напускает на себя больше дури, чем есть на самом деле, то он может какой-то тайник раскрыть. Для верности вы тогда ночью в башне и стену ломали. В подозрительном для вас месте.

— Умный ты человек, Космич, — с ленивой угрозой сказал Высоцкий. — Умный. Только ты вроде русского: задним умом крепок. Спыхватился поздно.

— Да. Я знаю. Но не думаю, чтобы вы очень выиграли во времени. Не только вас тут нечто держит. Держит тут кое-что и еще одного человека.

— Загадками говоришь, — сказал Гончаренок.

— Да.

— Ну, дальше, — торопил Высоцкий.

— О попытке взлома моей квартиры, о «моей» записке Марьяну я говорить вам ничего не буду. И без того длинный рассказ. Не знаю также, что вас вело ко второй башне. Наверное, логическое продолжение,

проекция на будущее моих поступков. Но третьей башней я вас на какое-то время сбил с панталыку.

— Ненадолго, — сказал Высоцкий.

— Правильно. Иначе вы бы мне там могилу не готовили. Тогда бы последней жертвой был не я, а Лопотуха. Очень уж вам слова врача не понравились, что Людвик может прийти в себя... Да, многое происходило. О многом я не знаю, как не знаете и вы.

«Тянуть больше незачем. Да и устал я. Очень устал душой. Быстрее бы уж, в самом деле, конец. Длитель эту комедию нет ни сил, ни желания».

— Вас так или иначе поймают. Рано или поздно. И тогда все будут отмщены. И я тоже.

— Да нет, — сказал Высоцкий, — пока суд да дело, перед нами путь открыт. И когда мы возьмем все в свои руки — молодчики вроде вас не понадобятся.

— Некоторые и прежде это говорили. А где они? Но если это, к общему несчастью, и случится, то вот тогда мы по-настоящему и понадобится. Да те, кого теперь не принимают всерьез (с разных сторон) любители и знатоки «дела».

— Это еще почему? — повысил голос Гончаренок. — Пока мы здесь хозяева. И со временем будем полными хозяевами. У нас здравый смысл.

— Не будете, — сказал я почти спокойно. — Думаете, божеские и человеческие законы отменены в пользу этого уголка или какого-нибудь другого на земле? Только потому, что мы родились здесь? А какой-то там Гитлер в Германии? А Власов в России? Нет, эти законы нигде не отменяются. Корабль ваш очень стар и сейчас летит на рифы.

— Так что же нам, беднягам, делать? — с фальшивым отчаянием спросил Высоцкий.

— А надо было с детства учиться совести, которая в житейском море вместо навигации. Изучать ее и жить, и плыть. Или пренебрегать ею, и тогда — будьте вы прокляты во веки веков!

— Что ж, поговорили. — Высоцкий вынул из кармана пистолет.

Я готов. Мне почти не страшно. Так, вроде немного сосет под ложечкой. Но тут я поднимаю глаза.

...Далеко-далеко, за тьмой, за лунной мглой горела искра костра. Как же я мог не подумать о ней?!

... "Выход! Выход любой ценой, кроме унижения!"

Он примеривался. Примеривался и я. Мне надо было только, чтобы он утратил покой, чтобы рука у него не была твердой. И потому я пустил в ход последнюю свою догадку, почти граничащую с уверенностью:

— Что ж, до скорой встречи, Высоцкий... И ты до скорой встречи... Бовбель.

— Что-о?!

— Бовбель! С двойной бухгалтерией. По доходам и по трупам. Передрожали вы, бедняги! Что, Бовбель, все эти годы не пил, только рот водкой полоскал?

— Догадался, — хмыкнул Гончаренок-Бовбель. — А как же.

— Ясно, убежал ты тогда болотной стежкой. Одному тебе известной. Один убежал. А друзья-свидетели накрылись. Тоже двойную бухгалтерию вел? Со своей бандой и с немцами? А ты, Высоцкий, твои руки в крови расстрелянных в Кладно? Архив вам был нужен. Помимо денег.

— Ну вот, — прервал меня Высоцкий. — Тут тебе и конец. Мало мы вас, гадов, перешлепали.

— Грязные вы скоты... На что надеетесь?

Пистолет рывком поднялся вверх, потом начал опускаться. И тут я откинулся назад и упал на валун. Упал на правый бок (не дай бог, на руку!), клубком, как надо падать с коня, откатился подальше от камня.

В момент падения надо мной хлестнул, как будто толстым бичом, выстрел. Я уже поднимался, но подвела, поехала по влажной траве правая нога, и я чуть не ткнулся носом в землю, одновременно почувствовав, как что-то обожгло левое плечо выше ключицы.

Гончаренок-Бовбель метнул-таки нож, и, если бы я не поскользнулся, этот нож сейчас торчал бы у меня под левой лопаткой.

Теперь нож лежал на траве, и я подхватил его: все же хоть какое-то оружие в руках. Хотя что оно значило против пистолета.

...И тут вспыхнуло с десятков карманных фонарей, и я, ослепленный, увидел только, как со склона взвилось в воздух длинное, черное в этом свете тело и как будто слилось с фигурой Высоцкого, насело на него. Одновременно с этим грохнул второй выстрел, который не попал в меня лишь потому, что «извозчик», «ездовой», или как там его, упал. И собака уже прижала его к земле, и держала в пасти его правое запястье.

В следующий момент они покатались по земле и ничего уже нельзя было разобрать. А я прыгнул на Бовбеля. С ножом. Он присел, чтобы избежать удара, потому что я в горячности мог-таки полоснуть его, всадить нож по самую рукоятку.

Он ловко избежал удара и тем самым очень удобно подставил подбородок как раз под мое колено, которым я и не замедлил садануть изо всей силы так, что у него лязгнули зубы и он опрокинулся навзничь, всей спиной и затылком припечатавшись к матери-земле.

И тут я надел на него, перехватил правую руку с шипастым кастетом. Мне нужно было дорваться до его глотки.

Прозвучал третий выстрел. В кого? Я не знал этого, способный только драть, рвать на куски, грызть.

Когда меня оттащили, кровавый туман все еще стоял в глазах. Я скалил зубы и хрипел. И лишь постепенно сквозь этот туман в свете фонарей начали проступать лица. Прежде всего я увидел Щуку... Потом незнакомого милиционера, который только что надел на Высоцкого наручники. У Игнася из правого предплечья бежала струйка крови.

— Застрелиться хотел, — сказал милиционер. — Смог-таки перекинуть пистолет в левую руку. Если б я не стукнул по ней — тут бы ему и последнее рыдание.

Теперь я уже различил и Велинца, который с трудом оттащил Рама за ошейник, и еще двоих незнакомых, которые закручивали за спину руки все еще полубессознательному Бовбелю.

Плыли передо мной лица Змогителя... деда Мультиана с двустволкой... Шаблыки... Вечерки... Седуна... Сташки...

Огни завертелись в моих глазах. Земля ушла куда-то в сторону.

Хилинский (он держал меня справа) крепко сжал мой локоть.

— Держись. Держись, брате. Ничего. Все прошло.

А я остатками сознания чувствовал, что нет... нет... еще не все. Что-то настойчиво сверлило мозг, должно было вот-вот все прояснить, но бесследно исчезало при первой попытке остановить, задержать его, догадаться. Последних стеклышек так и не было в этом калейдоскопе грязной брехни и подлости.

Подъехала машина. Не знаю, как она называется теперь. А в средневековой Белоруссии воз, в котором отвозили задержанных, назывался «корзинкой для салата» или «для капусты».

«Вот так. Несовременный вы человек, товарищ Космич. Несерьезный».

Арестованных повели к машине. Бовбель попытался было сказать что-то наподобие: «Не я начинал. Это другие...»

— Разочарован я в тебе, — презрительно плюнул Высоцкий и сказал нагло: — Ну вот, теперь на определенное время будем гостями министра внутренних дел.

— Наверное, не только его, — сказал я.

Надо было отомстить этой сволоте за «трубу архангела», и я решил пустить последний пробный шар:

— От всей души надеюсь, что это последнее твое гостеванье...

Последнее, Игнась Высоцкий... Он же Крыштоф в польское время... Он же Владак при немцах... И кто еще после войны?.. Кулеш?..

Высоцкий вдруг рванулся в мою сторону с такой силой, что милиционеры чуть удержали его. Лицо его сделалось багряно-синим, на лбу вздулись жилы. Из горла вырывались уже не слова, а хрипы. И выглядел он как покинутый и затерянный навсегда в мире, где царит бесконечный кошмар.

— Ты... Гад... Ты...

— Ничего, — сказал я, — твой insult вылечат. Чтобы в третий раз не смог смыться. Чтобы хоть на третий раз получил трижды заслуженную «вышку».

Исчезло перекошенное лицо. Когда машина отъехала, я сел на траву и начал собирать и складывать в кучку какие-то веточки и щепочки.

Подошла Сташка и положила руку мне на голову.

...Снова горел костер на Белой Горе. Картошка, которую мы испекли, была съедена, сама по себе вкусна, да еще с крупной кухонной солью.

И звезды над головой. И друзья вокруг. И глаза смотрят в один на всех огонь.

— Просто гнусные твари, — произнес наконец я, уже почти успокоенный.

— Вот, — сказал Адам, — если бы это слышал Клепча, он бы сразу проникновенно произнес: «Что-то я ни разу не слышал от вас слова „сознательный“ и ему подобных».

— А ты поступай сознательно, — в тон ему отозвался я, — а не болтай чепуху. А то сознательно трепать языком и без тебя любителей достаточно.

— А он сразу — к твоему директору, — улыбнулся Щука. — И скажет, что не место товарищу Космичу в дружных рядах науки, потому что он дает некоторым пинка под задницу.

— Довольно. — Мне самому уже стало тошно от этой темы. — Закурим, что ли?

Хилинский поучающим тоном сказал:

— Кто не курит и не пьет, тот здоровенький умрет.

Я застыл с пачкой сигарет в руке. Опять что-то словно внезапно стукнуло в мое сознание. Но что? Этого я так и не мог до конца понять. А тут и Адам своим вопросом довольно некстати нарушил мою собранность.

— Как ты дошел до своих выводов?

— Тьфу. Опять сконцентрироваться не дали. Здесь удивительно не то,

что я дошел, а что столько посторонних вещей мою мысль отвлекали в сторону, но я, несмотря ни на что, все же догадался. Как вы говорите, «дошел».

— Действительно, с чего все началось? Ага, кажись, так.

— Однажды мне просто стукнуло в голову... Ну, как будто вдруг совместились несовместимое. Смерть, наказание смертью двух братьев Высоцкого. Когда это происходило? С чем совпало?

— Ну приговор Крыштофу Высоцкому, это, кажется, конец августа, — сказал Шаблыка. — Или середина.

— А что произошло первого сентября?

Поэт с мордой ковбоя и такими же манерами сказал:

— Война.

— Ну вот. Могли замешкаться? Могли.

— Мацыевский же выехал.

— И мог не доехать. Или подумать, что перед лицом вечности... один какой-то...

— Ясно, — сказала Сташка.

— Трубить ему торжественный марш, — воскликнул Седун.

— Марши — паскудство... — вдруг сказал Мультиан. — Не люблю маршей. Дрянь. Что военные, что свадебные. Все равно драка будет. И неизвестно еще, какая будет страшнее — с врагом или с бабой. Так что мне даже удивительно, почему это некоторые (неуловимый взгляд в мою сторону) сами в мешок лезут.

— Воистину, — поддержал его Вечерка. — Так уж я холостякам завидовал. Думаю, вот умные люди.

— А дальше? — спросил Щука.

— А когда был арестован и осужден Владак Высоцкий? Мы знаем, первые два года он в Кладно не жил. Потом появляется. Служит в паспортном отделе или как там. Это время совпадает с тем, когда была разгромлена организация, в которую входил наш нынешний... Словом, Леонард Жихович. Его не схватили — лишний повод для глупого моего подозрения. А он и осел здесь, чтобы следить за всеми, кто интересуется замком. Спрашивали у него?

— Да, говорит, что был разговор с каким-то членом организации об Ольшанке и так далее. Тот, кажется, тоже не попал в гестапо. Но его лицо ксендз помнил неясно, — сказал Щука.

— Так когда был пан Владак арестован и осужден? Помните?

— Шестнадцатого июля, кажется, — сказал Шаблыка. — «Приговор исполнить в двадцать четыре часа».

— А когда наши взяли город?

— Восемнадцатого, — буркнул Щука. — Все равно не совпадает. Успели бы его пустить в расход.

— Так, — сказал я. — А что произошло семнадцатого?

— Ах, дьявол, — воскликнул Хилинский. — Восстание в городе. Вот об этом, Щука, ты как-то и не подумал. Теперь ясно, почему вдруг он выскочил живой, как черт из табакерки.

— Верно, восстание, — сказал я. — В ночь на семнадцатое. Преждевременное восстание, потому что наши были еще на довольно дальних подступах. Ну, конечно, уголовные посбивали замки как раз в то время, когда восставшие выломали тюремные ворота. Охрана удрала. Так что город был наш. Половину ночи и половину дня. Всех арестованных выпустили. Но тут восстание подавили пограничные войска, которые отступали, и полицаи. Часть наших обезоружили и посадили обратно в тюрьму. И начались поспешные расстрелы. В один из них попал наш Высоцкий. А если не попал? Восемнадцатого наши взяли город.

— И что? — спросил Вечерка.

— А то, что я подумал: а вдруг Крыштоф, один раз убежав от смерти, мог убежать и во второй... И сразу после освобождения вновь ожила банда Кулеша. Не знаю, с кем он там сотрудничал, кого продавал, перед кем унижался... Но одно ясно. Одного убийства парня из Замшан достаточно, чтобы на том человеке поставить крест. И уж не сомневаться, что он на любое, на самое страшное преступление способен. Ну, а как вы шли?

— Об этом потом, — сказал Щука. — Мы шли приблизительно той же дорогой, что и ты. Но мы прежде всего искали. Ты — думал. Да еще помог нам азартом, на который мы не имеем права. Словом, нашли мы все же людей, нашли свидетелей.

— И что сказали свидетели? — спросил Мультиан.

— А свидетели, — грустно сказал Щука, — те, что остались, мало чем нас порадовали. Тетка была с ним на последнем свидании. Все же это она окончательно толкнула Крыштофа на его путь. Свидание дали. В море справедливой ненависти она была также и единственным человеком, который ему сочувствовал... Не помогло ее сочувствие. Война. Всеобщее смятение, растерянность. И он в этом хаосе оставил тюрьму. И след его потерялся в толпе. Где он был, когда мы пришли, — бог знает. Может, тогда и сложилось ядро его будущей банды. А когда пришли немцы, он уже действовал в лесах. И одновременно был связан и с оккупантами. Тоже двойная бухгалтерия. Про гибель подполья мы уже кое-что знаем, а узнаем еще больше. Перед приходом наших он свою деятельность временно

прекратил. Занимался торговлей на черном рынке. И тут немцы с присущей им педантичностью начали просматривать тюремные акты. И жандармы наткнулись на смертный приговор Крыштофу. Установить его тогдашнее имя было им легче легкого. И вот тут такое. Все думали, что он погиб в уличной экзекуции, как погибали люди подполья, как жертвы облав. Жалели. А он на такую высокую смерть права не заслужил. Да и не умер, как видите. Столкнулись ли на нем два ведомства: то, что требовало наказания еще по старому приговору, и то, где он работал осведомителем, — не знаю. Это еще выяснится. Как выяснили мы все и насчет Бовбея... Твоя догадка была верна и насчет него, Космич. Только догадка не факт.

— А их нынешние поступки?

— Нынешние уже факт. Ну, поднимайтесь, ребята. Время.

Мы простились с экспедицией и начали спускаться с городища.

Молчали, да и не хотелось больше говорить после пережитого и передуманного сегодня.

— А все же без твоей головы им пришлось бы трудно, — сказал Хилинский, положив руку мне на плечо. — Без расшифровки той тайнописи.

— Без первой тревоги, какую поднял бедняга Марьян.

— Теперь они узнают. Теперь легче.

Луна, которая уже начала клониться к закату, заливала костел пронзительным и безгранично печальным светом, делала черную громадину замка менее громоздкой. При этом свете он не казался таким черным, а вроде бы отливал слегка голубоватым.

— Пройдем замковым двором, — неожиданно сказал я.

— Это еще зачем? — спросил Мультиан.

— А вдруг дама с монахом...

— Ты что, в эти глупости веришь? — удивился Щука.

— Верю не верю, но без разгадки я не смогу уехать отсюда до конца спокойным. Знаю, не может быть. Но ведь я сам видел.

— Идем, — тихо сказал Хилинский.

Я знал, что только у него не было скептического недоверия (как у Щуки, Велинца и Шаблыки), поэтической способности верить, которая больше желания верить в невероятное (как у Змогителя) и суеверия Мультиана и Вечерки («Вполне возможно. Янке Телюку однажды показалось, да и я что-то такое видел»).

Только в Хилинском было неиспорченное никакими привходящими суждениями и обстоятельствами простое доверие ко мне. Доверие, прежде

всего, жаждало проверить, что же там творится на самом деле. Доверие, которое и есть фундамент всякого научного и ненаучного движения вперед. Того доверия, которое не позволило Марину Гетальдичу^[180] смеяться над опытами Марка Антония де Доминиса^[181] с линзами и геометрической оптикой, а Галилею не позволило взять под сомнение научную честность обоих (вплоть до разгадки ими тайны «божьего моста», «врат нового мира» — радуги), продолжить их опыты и в результате создать и усовершенствовать телескоп.

Этот верил и знал, что если я так говорю, то «что-то, наверное, было, а вот что — нужно пощупать».

Наша компания, что как раз входила в темный тоннель воротной арки, со стороны очень напоминала «Ночной дозор» Рембрандта. Эдакие потомки костлявых гёзов, слегка отяжелевшие граждане с претензией на воинственность и мужество (это для красоток, глядящих на них сквозь щели в ставнях).

Двор, залитый светом, темные галереи-гульбища на противоположной от входа стороне, грузные громады башен крепко поубавили этой воинственности, заставили всех замолчать и двигаться все медленнее, а потом и вовсе остановиться.

Только Щука, зацепив какую-то жестянку, чертыхнулся:

— Ну, придется взять за бока Ольшанского, конечно, нынешнего, что он такое паскудство здесь развел. Наложить на него, черта, штраф. И не из колхозного кармана, а из собственного. Тогда запоет.

Остальные стояли молча. Ничего не происходило.

— Ну, где же ваши «привидения»? — с юморком спросил старшина Велинец.

Я взглянул на часы и поднял глаза к небу.

— Если я не ошибаюсь, мы их должны дожидаться не сегодня, так завтра.

— Ожидать до завтра? — спросил он. — Вот человек, который с его терпением сделал ошибку, не пойдя служить к нам.

— Почти пошел, — проворчал я. — Ничего хорошего из этого не получилось.

— Сколько еще ожидать? — Это уже был Вечерка.

— А я никого не заставляю ждать, Микола Чесевич.

Хилинский молча дотронулся до моего локтя.

— Если я не ошибаюсь, должны быть вот-вот, — шепотом сказал он.

— Вон, — почти прохрипел Мультан, — вон замерцало что-то.

На левой стороне галереи действительно вроде бы возникло, зашевелилось что-то. А потом стали явственнее и почти неуловимо для глаза поплыли вправо две неясные тени: темная и посветлее.

— Они, — сдавленным голосом сказал Хилинский.

Это в самом деле удивляло и поражало и могло до полусмерти испугать неподготовленного.

Плывут... Плывут. Залит фантастическим призрачным светом двор. Две светлые тени и башни, которые в этом свете приобрели цвет обгоревшего и запыленного чугуна. И две стены черные. И особенно чернолоснящийся мрак на галерее, и в этой тьме движутся два призрака. Светлая фигура и темная, и их отделяет узкая полоска света.

— Не двигайтесь!

Я бросился бегом к правому входу на галерею, взбежал по ступеням и двинулся навстречу неясно-тусклым видениям.

Ближе... Ближе. И вдруг они исчезли. Тут же, возле меня. Не привидения и не призраки, просто два пятна, превратившиеся в невидимок.

— Они исчезли, — долетел со двора голос Щуки. — Но ты, ты освещен, Антон.

Я вскинул голову и замер, едва ли не ослепленный.

От звонницы костела, от диска часов прямо мне в глаза бил сноп резкого, ярко-голубого света.

— Сюда! Быстрее!

Я услышал топот ног. Через минуту все уже были на галерее.

— Взгляните! Вон! — указал я.

— Что такое, — слегка ослепленный Щука мигал глазами. — Что это такое?

— Я догадываюсь, что это, — сказал Хилинский.

— Часы, — сказал я, — действительно, старомодные, древние даже часы с боем. Только один тут тип ошибся. Здесь неподвижный «дневной» циферблат с движущимися стрелками, а подвижный — большой циферблат «лунных» часов. Он за неподвижным дневным. И он вертится, хотя и беспорядочно, потому что не до конца отремонтирован. А под ним неподвижная стрелка... И неподвижные фигуры святых.

— И что? — спросил Мульган.

— Органист и ксендз говорили мне, что там для чего-то имеется система сильных зеркальных рефлекторов... Ну вот, в определенные дни лунный луч попадает на них. Тогда и идет по галерее темная тень, от неподвижной стрелки, а за нею светлая «тень», отражение от рефлектора.

— Вот и все, — сказал Вечерка. — Басенки.

Легла тяжелая пауза.

— Дурында ты, — сказал ему мрачно Змогитель, а потом бросил мне: — И ты не лучше. И угораздило же тебя такую сказку, красоту такую вдребезги разнести. Очень нужно оно кому-то было, твое объяснение.

Я и сам сожалел, что увидел и дал увидеть другим еще в одном явлении наш паршивый реализм.

ГЛАВА IX. Цинизм трехсотлетний и современный, смертная кара за смерть одной души из трех и святое величие одного осквернителя праха

Мы наконец приподняли с помощью рычага одну из плит «под кораблем». Было это на следующий день после нападения на меня.

Помогать пришли все вчерашние участники, да еще приплелся ксендз. В поношенной цивильной шкуре и с киркой в руке, что, как ни странно, ему шло. Ему, по-моему, все шло, этому странному человеку.

И тут произошло первое расхождение с одним из моих ночных кошмаров. Под плитой не было ямы, она была засыпана, даже забита кусками кирпича, камнями, щебнем и... мелкими кусками бетона с остатками арматуры.

Щука аж зашипел от радости, увидев это.

— Чему тут радоваться? — спросил я.

— А тому и радуюсь, что путь — верняк. Кстати, тобой и подсказанный.

С ним были еще какие-то двое дядек в штатском.

— Ну, что теперь? — спросил он у одного из них.

— А что? Пока что — пускай копает, — ответил незнакомец. — Правда. Все ж таки это как венец. И его догадок, и того, что должен был пережить.

Мы выгребали, нет, мы буквально выдирали эту позднюю пробку, что заткнула жерло давнего творила.

И наконец перед нами зазял черный, слегка наклонный провал вниз.

Я взял фонарик и начал спускаться по сбитым, источенным временем ступенькам. Со мной спускались Сташка (я знал, после того случая с завалом, что отговаривать ее — дело напрасное), Щука, Генка, Шаблыка, один из неизвестных и ксендз, который опять увязался за нами.

Тени от наших голов плясали по стенам, по низким полукруглым сводам. Ступени были очень крутые, как на слом головы. И уже в каких-то метрах пяти ниже разобранного нами завала я остановился и указал налево.

— Ну вот. Замуровывали. И сравнительно недавно. — Я обратился к своим: — Мы разбирать это не будем. Надеюсь, это уже не наше дело. Думаю, что это дело ваше.

— Вы правы, — согласился неизвестный, — это действительно наше дело. А почему вы думаете, что замуровывали «сравнительно недавно»?

— Способ кладки, — ответил я. — И еще, они употребляли для замазывания щелей бетон. Пошли дальше.

И снова ступеньки, ступеньки, ступеньки. Снова пляска желтого и черного. Снова секут каменный потолок мечи света, которого столько лет, столько уже невыносимо долгих, смертельно тягучих лет, бесконечной их вереницы, не видели эти камни.

Мы спускались бесконечно долго, пока потолок не начал уходить куда-то вверх и там загибаться куда-то в непросветимую, в крошечную тьму.

— Все. Ровные плиты, — почему-то шепотом сказал я.

Лучи света поплыли вверх, освещая яйцеобразные своды.

— Все, как на ленте.

Действительно, перед нами была круглая темница саженей семи в окружности. И вон еще пятно, но на этот раз очень давней кладки: заложенный ход в нижнюю кладовую. Заложенный три столетия назад.

И снова я вижу как будто только густой мрак. Слышу только голос с высоты:

— Тут вам и ложе, тут вам и жить... Скарб унаследуете... Будете вы там стражами его, и живым вас не дозваться.

И еще, еще я слышу звон опаленной плинфы о другую и шарканье кельмы о камень.

— Стеречь во веки веков, — слышу я.

Сташка освещает мое лицо и говорит:

— Смотри.

У стены я замечаю кучку праха. Это остатки кадки, которая давным-давно рассыпалась в порошок. По камням медленно-медленно, одна за другой сползают слезы давно уже никому не нужной воды.

И там мы нашли тех, кого искали. Они все же дождались. Живые все же докликались их. Но им это было «во веки веков», все равно, что никогда.

У самой стены близко-близко друг возле друга (при жизни, возможно, обнявшись, а теперь просто рядом) лежали два скелета. И весь их ужас друг за друга и за себя, и безнадежность последних мгновений вдруг всплеснули и затопили все мое бедное существо.

Чудовищный древний цинизм как бы сомкнулся с бездной цинизма сегодняшнего, того, беспощадного, в тисках которого бился я и эти люди все эти беспросветные месяцы.

Двое. Обнявшись?

Я знаю, как вы сейчас посмотрите на мой рассказ.

Мелодрама? Гамлет с черепом? Скелеты жертв Флинта на «острове сокровищ»? Боярин Орша?

Дудки, чтоб вам никогда не видеть того, что увидели мы! Потому что там был один штрих, от которого я долго не мог чувствовать себя полностью живым. От которого до сих пор, когда вспомню, бьет дрожь отвращения к некоторым из породы людской. Тот последний ужас, за который выдумщиков таких мелодрам надлежит, собственно говоря, бить по морде.

Под тазовыми костями женщины лежали тонкие, как куриные, жалкие косточки.

...Дитяти, которое так и не народилось...

...Валюжинич в темноте кладет руку на плечо женщины.

— Ничего. Мы встретимся. Мы вечные. Нет пределов шествию нашему по земле.

«Нет. Мы выйдем, мы выйдем отсюда, Ганна, Гордислава. Мы выйдем отсюда, Сташка».

Качаясь, я выбрался наверх, отошел, как мог, дальше и сел на траву, словно мне подрубили ноги. С меня было достаточно.

Будто сквозь кисею, я узнавал Сташку, Хилинского, ксендза.

Я сдерживался от мата, только учитывая присутствие этих троих. Он, мат, ничем уже не мог помочь. Я знал, что вот пролом в башне, вот черный зев отверстия, а там, внизу, они. Трое. И я ничем уже не помогу. Ни им, что все же познали самое горькое и самое возвышенное на земле. Ни ему, который никогда так и не увидел ни земли, ни света.

Хотя каждая душа сотворена, чтобы этот свет видеть. И кто лишает ее этого, тот губит навеки эту душу. И еще больше свою, хотя провалился он вместе с нею.

Мат, по-моему, только и создан что для таких вот случаев. Когда мужику уже нельзя иначе. Когда, кажется, взяли верх издевательство, насилие, пытки, расстрелы, тонко продуманные муки.

Когда иного выхода нет. Иначе подступит к горлу и немедленно задушит гнев.

— Идем, — сказала Сташка испуганно. — Идем отсюда. Во-он туда.

Мы миновали замок, мостик и сели, чтобы не было видно ни стек, ни башен. Под старыми липами, в густой и свежей зеленой траве.

— А тот некрещеный, — почти беззвучно сказал ксендз. — Погубленная душа.

— Погубленная. Для земли и солнца.

— Смертная душа.

— Да. Это — действительно смертная.

— И нет, наверное, большего греха, чем этот смертный грех, —

опустив голову, сказал ксендз.

— Да. И мести ему нет. И нет ему отмщения.

— Нет отмщения? — Он вдруг резко поднял голову. — Нет возмездия?

Глаза у него были не такие, как всегда. Безумные, безрассудные, сумасбродные глаза.

— Поднимайтесь. Идемте со мной... Вы можете идти на раскоп, Станислава.

Он шел впереди так, что я, человек с широким шагом, едва-едва успевал за ним.

— Раньше бы. Раньше, — бормотал он. — Правда, что этот Высоцкий выдал тогда в Кладно?

— Да.

— То-то же, мне казалось, похож... Не поверил... Не сам отплачу.

И снова бормотание:

— Теперь поздно что-нибудь менять. Жизнь пройдена.

— Никогда не поздно.

— И потом, добрым можно быть почти всюду. Неужели вы думаете, что такой ксендз, как я, хуже такого быдла, как Ольшанский-князь, несмотря на его титулы, на богатство?.. Нет... Нет...

Он почти бежал к костелу:

— А я думал, учредитель, жертвователь. Думал, почти святой. Дважды предатель. Убийца стольких живых. Убийца этих двоих. Убийца бессмертной души.

Бросил безумный взгляд на меня.

— Нет отмщения? Нет возмездия? Идемте со мной. Погоди у меня, сволочь.

Какое это лицо?! Лицо древних пророков. Красивое устрашающей и смертоносной красотой, которая уже ни на что не оставляла надежд.

Он зашел в небольшую переднюю, собственно, отгороженный угол между внутренними и наружными дверями Мультановой сторожки, и вышел оттуда с ломом, который передал мне. Сам он держал в руках кирку и грязную подстилку или дерюгу, свернутую наспех и кое-как.

— Вот. Полагаю, хватит этого.

Зеленый полумрак — сквозь листву — лился в нижние окна костела. И чистый, ничем не затененный свет — в верхние окна. В снопах этого света плясали редкие пылинки. В левом нефе божья мать на иконе, судя по всему, кисти Рёмера^[182], плыла среди облаков, вознеся очи от грешной земли, от всего, что натворили на ней люди, и от надмогильного памятника князя Ольшанского.

Единственный луч из верхнего окна падал на лицо из зеленоватого мрамора и словно оживлял его. Широкое мужественное лицо, при жизни, наверное, как из металла выкованное, нахмуренные густые брови, рассыпанная грива волос.

И эта складка в твердо сжатых губах. Теперь я понял, почему мне не хотелось во время первой встречи с памятником связываться с этим человеком при жизни. Потому что я знал, что он в этой жизни натворил.

И не твердость была в этом прикусе, а нечеловеческое жестокосердие и верное себе до конца вероломство.

Ложью была рука, лежавшая на эфесе меча.

— Она на евангелии лежала, — словно отвечая моим мыслям, сказал ксендз.

Я не успел опомниться, как рука Жиховича молниеносно поднялась в воздух.

А затем он нанес сокрушительный удар киркой по этой мраморной, трупно-зеленоватой руке.

Мрамор брызнул во все стороны. Я едва успел перехватить руку отца Леонарда перед вторым ударом. В лицо, которое так напоминало мне кого-то. Лицо, определенное, отмеченное в своей беспринципности и бездушии как бы самой эпохой. Да и одной ли его эпохой?

Черствое, безжалостное, драконье лицо.

Мне с трудом удалось справиться с ксендзом. Потому что в своем возбуждении и агрессивности он как бы приобрел силу добрых десяти человек. И, наверное, с десятью мог бы справиться. Я забыл, как это состояние называют медики. Аффект. Нет, есть другое слово.

Но мне все же удалось укротить этот взрыв неистовой силы. И я подумал, как трудились бы вот эти его крестьянские, привыкшие к работе, жилистые руки. Подумал совсем в духе одного из наших поэтов.

— Побойтесь бога, — вскрикнул я, борясь с ксендзом.

Но он уже сник. На смену вулканическому взрыву неестественной силы пришло успокоение. Как обычно бывает в подобных случаях.

— Что вы делаете? — уже тише спросил я. — Ведь это же ценность.

— Ценность не станет хуже от небольшого повреждения... Даже с большим любопытством будут смотреть на нее зеваки.

Он пошел в один из уголков левого нефа и остановился перед окованной железом дверцей. Достал из кармана большой ключ. Отомкнул дверь, которая подалась с легким скрипом, открыв глазам ступени, сбегавшие вниз.

Он не пригласил меня с собой, но и не гнал. Поэтому я тоже стал

спускаться на небольшом расстоянии за ним. Он шел, словно его вел кто-то, и все бормотал:

— Очистить... Прочь... Прочь.

Среди всех саркофагов один был из такого же мрамора, цветом почти как зеленоватый нефрит. Крышка на нем была ладони в две толщины и, видимо, тяжелая. И аккуратно под эту крышку ксендз загнал острый с одного конца, как будто заточенный лом.

— Вот тебе и рычаг.

— Разобьете.

— Ничего. Это не жизнь человеческую разбить. Помогите.

Мы налегли изо всей силы. Наконец крышка поддалась и отодвинулась сантиметров на тридцать — сорок.

Я все еще не понимал, что он собирается делать.

— Еще. Еще. Жаль, что не расколошматил хотя бы мраморную рожу.

Свет из четырех небольших окошек, что наискось, сверху вниз, светили в подземелье, падал на его суровое, внезапно как бы высохшее лицо.

— Я добыю, чтобы ее выбросили отсюда, эту мордасину. — У него снова был вид бешеного: фанатичный рот и огромные, жидко блестящие глаза. — И так сколько времени воздух осквернял. Столп веры. Основатель храмов, содержатель костелов. Антихрист!

— Остановитесь, — только теперь догадался я. — Не надо. Ведь это осквернение праха.

— Да, — он водил остекленевшими глазами, — смертная казнь за смерть... убийство одной души... из трех. Да, осквернение праха. Только думается мне, что это тот редкий случай, когда нечестивец тот, кто не осквернит прах. Такой прах! Не место здесь этому дерьму. О, пан мой, Езус!

Он расстилал на полу дерюгу.

— Я знал до сего времени единственный случай такого воздаяния, такого отмщения. Прах Мартынова^[183]... Возмездие божье... Закон... Не думал, что второй случай произойдет здесь, что мне доведется воздавать.

Опустил голову:

— Наконец, ваше присутствие... Я не настаиваю на нем.

Я не заставил себя долго упрашивать. Выбрался наверх и пошел к костельной ограде.

Вдалеке виднелся пруд, поближе — курчавые купы деревьев вокруг замка. Еще ближе дорога и слева от нее сильно заболоченная низинка. А может, очень заросшее болото? Мне трудно сказать. Была это большая яма

ниже уровня речушки. Во всяком случае, сейчас, когда несколько дней стояла сушь. И потому в эту яму лениво сочились капли рыжей не то воды, не то грязи.

Но все равно на окружающий мир смотреть было веселее и утешительнее. С меня достаточно было подземелья: всех этих катакомб, темниц, склепов, скелетов.

Я вышел за ворота и сел на лавочку под липами. Думалось почему-то все про глупое. Что вот и закончились мои поиски, а все равно осталось ощущение какой-то незавершенности, как будто окончил алфавит где-то на трех его четвертях. И еще подумалось о липах, что вот уже скоро им цвести. И вспомнился герой какого-то произведения, комнатный интеллигент, который целый день ходил по квартире и возмущался тем, что вот где-то кошки нагадили, а он никак не может разобраться, где. И лишь вечером додумался, что совсем не кошки в квартире напаскудили, а это на улице липы расцвели.

Жихович появился минут через сорок, бросил под ноги сверток и сел рядом со мной. Видимо, не столько отдохнуть, сколько предпринять еще одну — и наступательную — попытку оправдаться, вернее, убедить в своей правоте.

Я знал, что было в узле. Кости и череп, завернутые в дерюгу. Выгреб-таки их в напрасном, неутолимом гневе. Словно продолжая свои мысли, он тихо сказал:

— Я и то думаю, я и то боюсь, что пустыми, дрянными были молитвы, которые люди возносили на этом месте многие столетия. Потому что эта падаль лежала здесь. Это все равно, как молитвы в корчме, как молитвы на гноище, прости меня мать Остробрамская.

— Зачем вы это? — слабо противоречил я. — Разве ему не все равно?

— Это для вас все равно. А ему не все равно. И мне не все равно. Потому что я верю, в отличие от вас. Верю, что он сейчас где-то там скрежещет зубами. Даже если пожертвованиями купил себе чистилище вместо ада, где ему вечно надлежит быть.

Несколько ребятишек, которым, видимо, надоела возня людей возле замковых подземелий, появились на влажном сочном лужку возле болотца и начали гонять туда и сюда футбольный мяч.

Жихович смотрел сквозь них:

— Скрежещет, потому что нет и не будет покоя его, — он помолчал, — г... костям. А думаете, он его купил? Не купил и не купит.

Поднялся и понес сверток к болоту. Остановился над ним, когда одна из ног провалилась, и сыпанул что-то такое из дерюжки в трясику.

А потом подбросил в воздух что-то круглое и с подъема, как настоящий форвард, послал это детям под ноги. Вид у него был при этом страшный.

— Эй, вот вам еще мяч.

Заинтересованные мальчишки начали подходить к «мячу», столпились вокруг.

— И пускай тебе, гад, змеюка вонючая, каждый удар там отзовется. Тысячекратно по тысяче раз.

Я хотел было подняться, чтобы прекратить все это. Но тут вывернулись откуда-то Стасик Мультиан и Василько Шубайло. Видимо, спешили к замку. Стах остановил ногой кем-то уже в азарте подфутболенный «мяч».

— Цыц. Вы что это, сопляки? Это неладно.

Посмотрел на ксендза, и взгляд из-под сивых волос был неодобрительный и суровый.

— Это вы кинули?

— Да.

— Та-а, — беззвучно сказал Василько, — ки-инул.

— А зачем? — спросил Стасик.

И тут я удивился. Ксендз словно оправдывался перед этой мелюзгой.

— Хуже этого человека не было.

— Так ногами зачем же гонять?

— А что еще с ним делать? — это спросил я.

— Вопрос неразумный, — Стах сказал это солидно, как взрослый. — Ему это, наверное, все равно. А вот они, эти ребята, чему научатся?

Ксендз сник, словно из него выпустили воздух. И тогда Стах пучком травы взял череп в руки:

— Я его лучше в тину закину, если уж ему там место.

Понес и в самом деле швырнул череп в самую середину ржавой грязи, после чего они с Васильком удалились спокойным шагом в сторону замка.

Дети последовали за ними, как почетная стража. Возле далеких лип у замка окружили маленькую фигурку Сташки. Пестрая стайка на пестром лугу. Синеглазые под синеглазым небом.

— Ну вот, — вздохнул ксендз, снова присаживаясь рядом со мной. — А той не улыбнулись дети. И моей тоже. И неизвестно даже, где над нею плакать.

Приближалась Сташка. Жихович потер ладонями виски.

— Теперь придется отвечать перед начальством. За бесчинства в храме. Но я не мог допустить, чтобы в храме, как в краме^[184]. Будто в

разбойничьем притоне. Знаете, что Шоу сказал про Ленина? Где-то на границе двадцатых и тридцатых?

— Нет. Что-то не помню.

— Он сказал: «...если этот эксперимент в области общественного устройства не удастся, тогда цивилизация потерпит крах, как потерпели крах многие цивилизации, предшествовавшие нашей».

— Но...

— Чувствуете ответственность? Ну вот. И самоуспокаиваться рано, пока есть Майданеки, гибнут люди, бродят по миру и творят зло прямые потомки этого вот чудовища. Будем мириться, позволим им засорять землю и небо — тогда грош цена и цивилизации и нам. Нам, если мы хоть на минуту позволим ужасу смерти руководить нашей жизнью. И потому я...

— Я сказал бы о вашем поступке иначе: «Святое величие, святая нетерпимость одного осквернителя праха».

Он вновь начал говорить беспорядочно и очень тихо:

— Людям очень нужен чистый воздух. Нужно, чтобы легко дышалось. Очень нужен чистый воздух. Очень чистый воздух.

Сташка подошла к нам:

— Почему не идете?

— Не хочу я на все это смотреть. Это больше не мое дело.

— Вскрыли ту... нижнюю камеру, — сказала она. — Такого я нигде не видела. Разве что в «Золотой кладовой» Эрмитажа. Чего там только нет! Кубки, оружие ценнейшее, блюда золотые и серебряные, сундуки монет, перстни, ожерелья, слитки и серебряные и золотые с камнями, книги, чаши для причастия, диски, монстранции, канделябры, реликварии, иконы удивительной работы и оклады — чудо. Дароносицы, потиры, напрестольные кресты^[185], подвески, братины, ковши. Эмаль, чеканка, чернь — в глазах рябит. И десятки золотых ковчегов: документы и, видимо, бумаги на княжеское достоинство и завещание тех Ольшанских.

— Плевал я на это, — процедил я.

— И я. Как вспомню тех «стражей» — плакать хочется. Стоило ли их самих все то, что они стерегли?

— А что во втором тайнике?

— Не знаю. Наверное, награбленное командой Розенберга (опять же ценности, картины и все такое). И, видимо, то, что последний Ольшанский вместе с немцами тогда зарыл и не вернулся.

— Так, может, и бумаги его там? — спросил ксендз.

— Может, и там. И, конечно, архив.

— Ну, этим не мы будем заниматься, — сказал я. — И, возможно, даже

не Шука.

Ксендз гибко, словно в его теле не оставалось ни одной косточки, поднялся.

— До свидания, — сказал он. — Вы завтра уезжаете, Космич?

— Наверное.

— А вы, Станислава?

— Ну, мне еще здесь работать и работать.

— Та-ак... Не теряйте друг друга. Утерянного не найдешь. Уж кто-кто, а я знаю. А с вами до завтра, Антон.

И, обходя костел, медленно пошел в сторону плebании. Страшно одинокий на этом пустынном костельном дворе.

— Мы не будем терять друг друга? — спросила Стася.

— Не будем... Действительно, легче всего — потерять.

Мы не смотрели ни в сторону костела, ни в сторону замка. Мы смотрели на юг, где возвышались один за другим — и все выше и выше — зеленые, солнечные, как сама жизнь, пригорки.

ГЛАВА X. Прощай!

Не думаю, чтобы когда-нибудь еще милицию из Ольшан провожали так дружно и с такой радостью. Разве что тогда, когда была разгромлена после войны банда Бовбеля, а сам он, как считали, погиб.

Дорого обошлась потом людям эта «гибель». Но кто мог видеть в скромном Гончаренке того негодяя!

Теперь вся наша «компания» стояла возле нашего «рафика» и обменивалась последними, крайне интересными замечаниями о недавнем и давнем общем прошлом.

Археологи в полном составе, трезвый, как стеклышко, Вечерка, Мультик со своими малышами. Этот, как всегда, болтал что-то благодарным слушателям.

— Так я и говорю: Кундаль мой наловчился, чтоб ему здоровье, рыбу ловить. И домой носит.

— Э-э, дед, — дергал его Стасик, — знаем мы, как он ловит. Ты уж не фались.

— А как? А как?

— С куканов у всех соседских рыбаков снимает, — объяснил беспощадный Стах.

— Ну, скажешь. Может, и Василько видел?

— Та-а. Он и яйца крадет. Но я же ничего никому не говорю.

А Вечерка врал свое:

— Моему соседу при немцах по наущению старосты очень часто перепадала порка. Староста ему за бабу мстил. Так сосед пришел сзади на портки изнутри овчинную заплату. Портки во время порки не снимали, потому как сравнение не в пользу старосты было.

— Ой, Чесевич, врешь, — хохочет Шаблыка.

— Правду говорю. Но однажды узнали, так приказали портки снять — здесь уж и овчина не помогла... Потом он старосту того застрелил.

Хохочут Щука и ксендз.

— Так ты говоришь, и меня подозревал? — У Жиховича на глазах слезы от смеха. — А почему не следил?

— А он, — кивок в мою сторону, — и собирался. «Проследить бы, думает, за ним». И тут же сам себе и ответил:

— Проследишь! Ну, вышел ксендз, вошел — это проследишь. А вот кто к ксендзу пошел? Ты ведь на костельном погосте будешь стоять, а не

ляжешь под его дверью, как Ас.

— Ну, Холмс. И подумать только, что я тогда над колодцем спас ему жизнь. И честно говоря, — это самое скверное дело, какое я когда-нибудь в жизни сделал.

Это были они, мои люди, мой круг, мир, в котором было не страшно, а легко жить. И даже их говорливость в эти последние минуты была простительна, потому что мы свыклись друг с другом.

Молчали, вернее, разговаривали тихо, только Сташка с Хилинским. И по тому, как они то и дело поглядывали на меня, можно было догадаться, о чем у них шла речь. Сташка была грустная и тихая и больше кивала головой в ответ на слова соседа.

— А Велинец — юморист, — заливалась смехом Тереза.

— Хорош юморист, — бубнил Седун. — Это он с девками юморист. А тогда в лощине... У него за внешней хрупкостью силища... Да гибкая, как стальной прут, сжатая, как пружина.

— Ты, пан Змогитель, странно понимаешь свои отношения с людьми, — притворно сердился Щука. — Думаешь, почему стольким людям насолил, почему они рычат даже на твою тень?

— Это не трубные слова, — очень серьезно и тихо сказал Ковбой. — Моя жизнь в действительности, а не с трибуны принадлежит обществу. И пока я живу — моя привилегия делать для этого общества все, что в моих силах. Нравится это некоторым или нет. А я хочу ради него полностью уничтожить себя к моменту, когда умру.

— Прощайтесь, — сказал Хилинский, — время.

И я был расцелован всем сообществом. И понял я, что вел себя все время по большей части достойно и как надо. И это было хорошо, потому что они полюбили меня, а добиться такого — это было нелегким делом.

Все мои сели в машину. Все остальные смотрели на них, не очень-то зная, что еще сказать, как бывает всегда в последние секунды.

Стояли группой. Одна Сташка стояла поодаль и не смотрела в мою сторону даже тогда, когда мои ноги сами понесли меня к ней.

— Прощай, Сташка.

— Прощай.

— Прощай, Сташка Речиц. Я очень люблю тебя. Я уже и не надеялся, что мне будет дано в жизни вот так полюбить.

— И я.

Я взял ее за плечи.

— Слушай меня. Через месяц окончится твой сезон. Я очень хочу, чтобы море ждало к себе не одного меня.

— И я тоже.

— Я очень прошу тебя, ты никуда не заезжай, когда закончатся раскопки. Ты прямо с вокзала или из аэропорта езжай ко мне.

— Так сразу?

— Мы с тобой триста с лишним лет знаем друг друга. И все молоды. Теперь я хочу постепенно, очень медленно стареть вместе с тобой. Хватит. Время положить конец моему «подъезду холостяков».

Все молчали, когда я поцеловал ее. Как будто никто даже и не видел.

И вот кучка людей стала отдаляться и делалась все меньше и меньше. Потом начали уменьшаться усеченные шестиугольные башни, черные стены, липы, залитые солнцем, арка ворот. Потом, с горы, блеснули на миг голубизной пруд, речка и ее рукав, которые держали замок в объятиях.

Мелькнули звонницы костела, домики, рассыпанные в долине. Все то, где я столько времени переживал ужас, холод тайны, где я нашел теплоту, дружбу и любовь. Теперь уж навсегда, если захочет этого судьба.

Пригорок выросстал за нами, постепенно закрывая деревню.

— Прощай, Ольшанка, — шепнул я шпилью костела. — Всего хорошего, друзья. До свидания, Сашка моя. Прощай.

ГЛАВА XI. «И герб родовой разбивают на камени том»

Снова закружили, замотали нас дороги. Водитель не хотел «давать кругаяля» через Кладно, а взял напрямик, и потому километров сто нас не ожидало ничего, кроме полевой или лесной дороги. Я был рад этому.

Еще не раскаленное солнцем небо впереди, сзади легкая вуаль пыли, по сторонам нивы или многокилометровые соборы из сосен, склоны и овраги, дубовые рати, тяжело выступающие на приречные луга.

Где-то из чащи тополь, неизвестно как попавший туда, метет по земле, сеет запоздавшим пухом.

На полянах, на местах разоренных хуторов — кирпич от фундаментов, акации с еще прозрачными стручками. И повсюду — разбросанно — цветут на них голубые ирисы. Местами еще доцветает сирень. И становится жаль этих хуторов и жизней, что прошли на них.

Торжественное утро сменяется торжественным днем.

И приятно знать, что в свое время, еще не скоро, день сменится вечером и в лощины ляжет тонкий и низкий туман, и заря-заряница будет глядеть на людей сквозь деревья. А потом придет ночь. Для тебя ночь, а для кого-то самое время жизни.

Машину по-доброму покачивало. Я очень люблю дороги и думаю: что если придет такое время и я не смогу ездить, то стоит ли тогда вообще жить.

Дорога сама, как песня, и потому я часто молчу, переполненный дорогой до краев. Однажды спросили меня рыбаки на морском промысле, почему это я все время молчу. «Слишком хорошо вокруг», — только и сумел ответить я.

Молчал я и здесь. Хорошо молчится над сиренево-лиловыми полями клевера, над стрельчатым люпином в канавах.

И раскрывали, разворачивали вокруг леса свои сказочные глубины. Лишь когда выбрались уже на шоссе, кто-то осмелился проронить слово-другое, нарушив ласковую задумчивость дня.

— Почему молчишь? — вдруг спросил Щука.

— Отстань, — сказал Хилинский, гася очередной окурок, — ему просто хорошо.

— Что, так уж и совсем хорошо?

— Почти. А насчет разговора — что же? Хвалить — но сколько я могу

вас хвалить? Ругать? Есть за что, но не хочется. Критиковать? Ну, в-первых, меня с начала и до конца надо изничтожать критикой (за исключением некоторых случаев), столько я за считанные недели натворил глупостей, в которых сам до сих пор еще не до конца разобрался.

— Неужели не до конца? — спросил Щука. — По-моему, главное сделано.

— А по-моему, главное никак не сделано. По-моему, к главному мы и не приступали. Но это уж вам, Щука, надо делать. С меня хватит. И я на вас немного зол.

— Ну-ну, наводите свою критику. Только не уничтожающую.

— Мало для вас и уничтожающей за вашу тактику промедления и выжидания. Сто раз я мог погибнуть. Даже при последней встрече в ложбине.

— Брось, — сказал Хилинский, — это он сделал правильно. Выждал, пока у тех уже не было дороги назад и не было возможности что-то оспаривать.

— Когда они уже готовенькие были, на ладони, — добавил Щука.

— Ну, а если бы я вместо них был готовенький?

— Этого бы не допустили.

— Ох, и не любите вы все критики! Как черт ладана!

— А кто ее любит?

Неожиданно разбуженная ими во мне злость требовала выхода. Но крик в таком споре — последнее дело. Надо было взять на вооружение самые действенные средства: слегка трепливый сарказм и слегка распущенную иронию.

— Вы, милый Щука, забыли, что общество (а отдельные люди тем более) не может прогрессировать без критики. В противном случае — болото. И вам бы не ругаться, а дать критикам и критике свободу и безнаказанность.

— Всем?

— Да. И не только высказываниям, которые вам покажутся пристойными, интересными, даже государственными, но и тем, которые удивляют замороженных судаков внешним кощунством, непристойностью, даже, на первый взгляд, еретичностью.

— А это зачем?

— А затем вам глаза и даны, чтобы разобраться, где вас критикует критик, а где ворюга или чокнутый, где человек желает выправить дело словом, а где сделать недостойный шаг.

Щука был слегка ошеломлен.

— Например...

— Например, руководствуясь врачебной точкой зрения можно просто требовать от женщин, чтобы они загорали голыми, трубить о жизненной необходимости этого для здоровья. Но пускай они занимаются этим на женских пляжах, а не на газонах вдоль всей Парковой магистрали. Это нецелесообразно.

— А что, это было бы даже интересно, — хмыкнул Хилинский.

— Вот-вот, я и говорю, что вы слабый, податливый на всякое подстрекательство и непристойность материал.

— Та-ак. Любопытные вещи вы говорите, Космич.

— Правильные вещи я говорю. Потому что, честно говоря, никогда мне никого не хотелось так разозлить, как сейчас вас.

— Почему?

— От злости мозги иногда проясняются.

— И у вас? — спросил Хилинский.

— Прояснились они сейчас и у меня.

На дороге, на все более редкие леса вдоль нее, ложились уже мягкие и ласковые летние сумерки. Уже где-то далеко-далеко начинали мигать первые огни большого города.

— Что замолчал? — спросил Щука.

— Ласковые сумерки, — сказал я, — огни. А вы хотя и думали обо мне, хотя почти на все сто процентов обеспечили охраной мою жизнь, но не очень-то делились своими суждениями и открытиями. Не сказали даже, что подозреваете их, что следите за ними. И в этом уже была для меня... Словом, из-за этого я мог бы не увидеть ни тех огней, ни сумерек... Что же это? Получается, что вы меня как подсадную утку держали? И часто вы так поступаете?

— Вообще-то — нет, — сказал Щука и добавил после паузы: — Но иногда, в последний момент все же случается, если иного выхода нет.

— И теперь вы довольны, — меня как будто что-то осенило. — Не подумав о том, что от плети этого пырея еще остались в земле корни. Что ж, вы просто-напросто заслуживаете наказания.

— За что?

— За то, что выставили меня дураком, пустив по следам «исторического» преступления. В самом деле, на что я еще, балбесина неуклюжая, годен? А современность — это для вас, тут вам и карты в руки.

— Quod licet Jovi, non licet bovi, — с иронией сказал Адам. — Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.

— По-белорусски об этом сказано лучше: «Што папові можна, то

дзякові зась». Что попу можно, то дьяку — не смей!" Или: «Што можна ваяводзе, то не табе, смуродзе». Что можно воеводе, то не тебе, вонючка".

— Обиделся? — спросил Хилинский.

— Нет. Просто тогда не надо было требовать, чтобы я копался и в том мусоре. Доверие за доверие — хороший принцип. Нельзя его придерживаться — давайте жить более официально.

— Ну, если бы так было, то Клепча имел бы большой успех в развитии своей гипотезы, — сказал Щука.

Но мне уже попала шлея под хвост.

— Только и я не лыком шит, — как говорят русские. *My tez nie jасу-тасу*, а *сваніасу*^[186], как говорят поляки, и не ногой сморкаемся, утверждают белорусы.

— Ну-у, чем ты это докажешь? — уже с оттенком насмешки, но беззлобно спросил Щука. — Цваняк, лыком шитый и ногой сморкающийся.

Город, залитый огнями, был уже вокруг нас. Пахучий, светлый, веселый, людной даже в вечернее время.

Машина повернула на нашу улицу.

— Придется что-то доказать вам, таким умникам. Просто в качестве справедливости, в качестве обычной компенсации за моральный ущерб.

— Иначе...

— Иначе говоря, разбирайтесь дальше сами. Дольше, чем это сделаю я. А я умываю руки.

— Ну, знаешь...

— Повторяю, вы заслуживаете наказания.

— Но по какому праву?..

— По такому, что я все время думал об этом, что я не забывал ни единого слова, ни одной мелочи. Что я все время комбинировал ими. Зачастую мозговал, а не занимался следствием. Больше соображал, а не искал.

— А как же... Это не будет противозаконно?

— Это не будет противоречить ни одной из десяти заповедей.

Мы вышли из машины у нашего «подъезда холостяков». Щука все еще мялся.

— Да идем, — вдруг сказал Хилинский.

— Тогда идемте. Дайте уж мне хоть эту сатисфакцию.

— В смысле удовлетворения. Х-хорошо. Куда?

— Туда. И поглядим, какой вы, Щука, с некоторыми друзьями цваняк.

Мы стали подниматься по довольно-таки скупо освещенной лестнице.

— Это один очень «образованный» товарищ в институте культуры

преподавал и цитировал Рылеева: «Куда ты ведешь нас? Не видно ни гзи!»

— Ясно куда, — сказал Хилинский, — на коньяк. К себе в гости.

Я не собирался их вести ни на какой коньяк, тем более к себе. Еще этого не хватало! Это значит, я им и коньяк и благодарность за то, что они будут меня держать в качестве дурня. Да еще и испытывая полное удовлетворение.

— Куда ты? — спросил Щука. — К тебе ведь этажом выше.

Но дверь уже открылась на мой звонок, и в светлом прямоугольнике на фоне масайских щитов и дагомейских копий возникла фигура Витовта Шапо-Калаур-Лыгановского. Умное, слегка язвительное лицо. В глазах ирония и остроумие.

Больше всего мне хотелось бы сказать в эту минуту:

— Поднимаемся. Есть гомерический коньяк.

Вместо этого я сказал с видом, как будто накануне, скажем, выпался у него на даче. И не на кровати, а, омерзительно пьяный, на клумбе с его любимыми розами: и у самого повсюду занозы и человеку хоть в глаза не гляди.

— Вечер добрый.

Что-то странное появилось в его глазах, когда он посмотрел в мои. Зорко, словно проникая насквозь. А потом это что-то начало отдаляться, угасать и, наконец, исчезло. Понял.

— А-а, вы все же пришли, Космич. Не ожидал так... поздно. То бишь рано.

Он увидел Хилинского и Щуку.

— И вы здесь... Хорошо, заходите.

— Все же мы пришли, — сказал я.

— Что ж, хотя я и не ожидал (а, глядя на вас, стоило ожидать), но рад. Недооценил мозги современника.

Он говорил это с нескрываемой иронией. А в глазах жило что-то глубокое и словно даже злое. И тень какой-то усмешки, и прощение — тысяча выражений.

Наконец хозяин протянул руку Щуке:

— С ними мы давно знаем, хотя и не совсем по правилам. Ну, будем знакомы... Князь Витовт-Ксаверий-Станислав Ольшанский. Лыгановского можете отправить на кладбище имен. Тем более что я ради этого документа никого на тот свет не отправил. И вообще лично — никого... Ну, вот. Ольшанский.

— Знаю, — сказал я.

— И я знаю, что это так. Когда появилась первая тень догадки, прошу

прощения и если это не секрет?

— Гены, — сказал я, — фамильное сходство.

Он сразу как бы повеселел.

— А-а-а, статуя в Ольшанском костеле. Все же, значит, поначалу была случайность. Если бы не она... И хотелось ведь мне размогнуть ей лицо — родовые предрассудки помешали. А узнавали. И вы, и та археолог, и ксендз, когда я заходил в костел. У всех в голове что-то вертелось. У вас и довертелось. Случайность.

— То, что произошло позже (и раньше), никак не было случайностью. Хотя вы и еще несколько раз нарывались на случайные неожиданности.

— С вами, — утвердительно сказал он.

— Почему такая уверенность? — спросил Щука.

— И почему мы здесь стоим? — сказал хозяин. — Проходите, присаживайтесь.

Мы разместились в креслах и на тахте у чайного столика. Со всех сторон на нас скалились рожи очень несовременных скульптур и масок, угрожало еще более несовременное оружие. Ощущение было такое, как у приглашенных на ужин к людоедам. Не в качестве гостей, конечно, приглашенных, а в качестве коронного деликатеса.

— А уверенность потому, что я детективы тоже иногда читаю. Схема одна: протокол допроса, ордер на обыск, который проводит лейтенант. Его старший коллега в это время в машине по телефону наводит нужные справки о другой машине (марка, частная, цвета земляники с молоком, едет по улице имени Пилата, водитель такой-то и этакий). Приблизительный район и улица. Участковый получает приметы — и спустя несколько дней адрес известен... Ну, тут запрос в центральную картотеку. Через неделю полковник имеет биографию преступника с колонией, амнистией, характеристикой... А дальше: как по маслу. Остановили. «Руки вверх!» При ловком преступнике — перестрелка.

Закурил:

— Ничего этого не будет. И перестрелки. Ибо — хватит стандартов. И вообще, мне все надоело, когда я начал видеть, чем все это кончается. А особенно, когда увидел мерзость запустения на театре действий.

— Ну, конечно, — сказал я. — Сразу отпала охота завладеть оставленным там. Подумаешь, право — пускай себе номинальное — на владение выгребной ямой.

— Вы что знаете? — сказал он с укором. — И что вы можете знать о моем состоянии? Состояние действительно последнего, который желает хоть умереть под своим именем.

— А напрасно. Вымышленная фамилия Лыгановский была еще не так, не до конца скомпрометирована, как ваша настоящая. Тут уж вы постарались новую фамилию всячески замарать.

— Как замарать? Преступлениями, достойными какого-то живодера? А их поступками я гордился. Их поступки соответствовали им, были им к лицу. Вы помните...

— Я ничего не помню. Я просто думал над всем, что видел и слышал. Так вот, вы ушли из дома еще юношей. Да? Захватила тогдашняя борьба всех против всех. И всех против санации. Даже представители аристократии...

— Знаю, что хотите сказать. Я бы сказал, особенно настоящая аристократия стыдилась того, что Пилсудский родом из этих мест. Неподалеку отсюда.

— Успокойтесь. От его отцовского фольварочка остался только фундамент... А вы скитались: Прага, потом другие страны (это из ваших намеков).

— Африка.

— И северо-западная Индия, река Нарбада. Полос биологической недоступности. Цветок, который там растет... Один молодой человек, видимо, все же пришел к нему, прошел этот полюс. Наверное, в каком-то скафандре.

— Угм. Второй мой ляп. Жители вокруг этого «полюса» и их склонность.

— Если ж бы второй. Это уже, может, десятый.

— А я надеялся как раз этим отвлечь ваше внимание.

— О чем вы? — спросил Щука.

— Слушай, — сказал Адам.

— Потом возвращение на родину, — сказал я. — Приблизительно за год до войны. И тайная встреча с отцом. Почему? Как результат отцовского ума и предусмотрительности.

— Да. Он был один из немногих зрячих, тех, кто все видел. Знал, что идет гроза и что ее лучше пересидеть.

— И потому вы в Кракове, а он в Кладно. Да?

— Я — в Кракове и в Варшаве.

— Где вы, судя по всему, встретились с отцом, когда начиналась война.

— Да. Кладно было у вас. Варшаву захватили немцы. А почему вы думаете, что мы встретились?

— Полагаю, ваш отец сумел в общих чертах разгадать тайну предков. И в тех же общих чертах передал ее вам. На всякий случай. Я думаю, он

открыл вам, что есть Книга, Ступка и Пестик, триада, которая вместе составляет разгадку тайны. И что две части у двух верных людей. А третья...

— Третья была у сторожа костела. Того, который был до вашего деда. Немцы, отступая, оставили его в покое. Но не оставили...

— Но не оставили последние из отступавших, немецкие пограничники. Я узнал у Мультана, что того застрелили. Книгу за ненадобностью он отнес на чердак к другим вещам, которые не нужны, но выбросить вроде бы еще жаль. И так самая основная часть исчезла бесследно из ваших глаз.

— Да. Отец, всегда такой предусмотрительный, тут, на старости, словно ослеп, словно выжил из ума. Болтал с дружками из айнцацкоманды о «чудо-оружии», о том, что те возвратятся.

— И тем, точнее своей смертью (возможно, несчастливой), отсек еще одну путеводную нить. А «дружки» погибли тоже в изменчивых событиях войны. И теперь даже приблизительно, даже только по слухам знали про захоронение архива старых сокровищ и того, что награбило ведомство Розенберга, лишь три человека. Два бандита — и нашим и вашим — и вы, последний лист на дереве, цветок среди крапивы.

— Скорее Христос меж двух разбойников, — грустно пошутил он. — Хотя не такой уж я был и Христос. Мне там ничего не было нужно, кроме завещания (у меня было лишь сокращенное) и найденной отцом родословной.

— Ясно. Дерево достоинства, которое столько лет служило предметом издевок и насмешек, надо было восстановить.

— Да.

— А вы не думали, почему не стремится, не думает ничего обосновывать и доказывать один из Ходкевичей, который держит в Африке птицеферму? Или одна из Радзивиллов, награжденная за подполье орденом «Виртути Милитари»^[187]?

— Почему?

— Да потому, что им ничего не надо было доказывать. Они — это были они. И доказывали, что они есть они, «поляки, которые никогда не забывали, что они белорусы, белорусского благородного корня» и в подполье, и в партизанах, и на баррикадах, и в разных тюрьмах. Этим доказывали, а не родословной, не сомнительными, даже подозрительными «подвигами предков», не дружбой со сволочью, все равно, аристократ он или бандит.

Он как будто получил оплеуху. Дернулся.

— А вы не думаете, что, решив избавиться и рассказать все, я теперь могу не сказать ничего?

— Тогда я расскажу все за вас с большей или меньшей дозой уверенности.

— Зачем?

— Потому что я ненавидел, и это научило меня думать. Стократ интенсивнее.

Тут он впервые за время разговора горделиво вскинул голову. Львиную седую голову предка с памятника.

— А я никого не ненавидел и потому должен был кончить поражением?

— Вы должны были им кончить, потому что не ненавидели, а применяли средства, которые применяет ненависть, да еще и самая беспринципная... Вы знали прошлое этих ваших башибузуков?

— Да, — он смотрел куда-то сквозь меня своими длинными глазами.

— И не постыдились связываться с ними. С тройными предателями своего родного края. И тут была ваша последняя попытка сделать из этих вялых отдельных пальцев единый кулак. Они тащили в разные стороны. Вам были нужны только родовые клейноты ^[188]. Ну и, если я не ошибаюсь, кроме этих родовых грамот была нужна... Словом, было нужно что-то, чтобы легенда о двух князьях Ольшанских так и осталась легендой. Как навсегда осталась легендой история о проклятом богом замке Оленьковича-Слуцкого на Князь-озере... Что это было?

— Хроника. Беспощадная к нашему дому. Хранилась, чтобы знали и не допускали к ней никого. О ней рассказывала та часть текста в книге, которую вы так и не расшифровали.

— От убийства Валюжиничей до клятвы князя на евангелии.

— Что ему было евангелие? — пожал он плечами.

— Он клялся, что они живы.

— Они действительно две недели еще были живы.

— Ну так. Что ему было до евангелия? Ему и проколы, дырки в книге, перед которой современники трепетали, было все равно как н... матери в глаза.

— Вы говорите неожиданную правду. Это догадки?

— Это размышление. И память. И знание тех людей. И некоторых наших. Так вот, вам нужно было это. А бандитам, каждому в отдельности, были нужны ценности и архив. На очной ставке вам это докажут. И я не удивлюсь, если узнаю, что они собирались шантажировать друг друга и, возможно, вас.

— Было.

— И еще было то, что была еще одна группа. Точнее, подгруппа. От вас.

— Какая?

Я достал пачку «БТ», надрезал ее и протянул Лыгановскому-Ольшанскому:

— Закуривайте.

— Ясно, — сказал он, — слишком уж я тогда обратил ваше внимание на Пахольчика. Тогда, во время беседы у табачного киоска.

— И это было. И оно даже стоило некоторым жизни.

— Я ни при чем.

— Да, вы ни при чем! Просто ваше чудовище начало жрать самое себя.

По частям.

Щука и Хилинский переглянулись.

— Может, достаточно? — спросил Щука.

— Почему? — спросил Ольшанский. — Ведь я могу или разрушить его умственные построения, или признать их. Мне все равно. Проиграть — на это надо больше мужества, чем выиграть.

— Высоцкого вы знали по связям его с вашим отцом. И их общей связи с...

— Это ясно с кем. Не будем вызывать покойников.

— Вы не рассчитывали на их мозг, только на грубую силу. Но Высоцкий, бывая в городе, не терял надежды на свои мозги. Ему ничего не стоило выведать у Мультиана, что «какой-то из города» взял книгу, даже предлагал деньги, да дед не взял. И потому тип с тройной мордой навещал все выставки книг, старых гравюр и прочего, на какие он смог попасть, бывая в городе. И однажды ему неслыханно повезло — он столкнулся с Пташинским и напал на след книги. Я догадался, что это был он, по словам Марьяна: «смесь деревенского и городского».

— Не только он видел. Известный вам Гутник видел. А вы сами уверились — чист, как стеклышко. И антиквар.

— И у обоих есть язык, — сказал я. — Они — фальшивый след. Но Гутник был хорошо знаком с тем молодым человеком... ну, который с ведром для мусора ходит. А антиквар и вы — с художниками из мастерских в нашем же подъезде.

— Откуда это?.. А, масайские дида и щит. «Не ходите, дети, в Африку гулять».

— Для вас было очень кстати, что Гутник и антиквар тоже видели книгу. Удобно было подбить книголюба, чтоб звонил, изводил и без того

встревоженного человека. А еще удобно — как бы шантажировать и молодого человека с мусорным ведром, и этих.

— Я не шантажировал, — твердо сказал Ольшанский.

— Правильно, — сказал Щука, — наверное, хватало для этого людей и без вас.

— Я попросил бы вас, полковник, не мешать теперь Космичу. Мне просто интересно, до чего и как он дошел. Додумался. Это, может, одна из последних моих догадок по психологии. А потом... потом я весь в вашем распоряжении.

Щука вынужденно усмехнулся.

— Я сразу догадался: моя книга, — сказал врач. — Я уже говорил, что отец описывал мне ее перед бегством. Оставаться ему здесь — не получалось. Остался я. Переехал из Кладно в Минск... Ну, описал он. Кроме того, это описание книги передавалось в нашем роду из поколения в поколение. Мне надо было найти настоящие грамоты. После меня — кому же? И потом, без этого лучше умереть. Как сделаю это я. Скоро.

— Ну, не так уж скоро.

— А об этом не вам судить, Космич.

— Почему? — спросил молчавший с самого начала нашего разговора Хилинский.

— Я не из тех, кому назначают день и час смерти. Я их выбираю сам. Давайте дальше, Антон. Мне в самом деле интересно, как это вы в вашем психическом состоянии сумели кое до чего докопаться.

— А вы — не сумели, несмотря на то, что были одной из ступенек той лестницы, которой я спускался в безумие. Вы искали у Марьяна книгу даже тогда, когда ее у Пташинского уже не было. Не подумали, что книгу вынесли из его дома. Сердечный друг Пахольчик был прав: один Пташинский не осмелился бы нести книгу. Какое-то подсознательное предчувствие заставило его купить вино и кефир и поставить мне в портфель. Примитивная маскировка, но у нас с продавцом была на эту тему даже спасительная беседа для души. О чем он вам успешно и донес. И до определенного времени попыток влезть в мою квартиру никто не предпринимал. Это — потом.

— Так. До сих пор все точно... Герард был когда-то слугой и отца и моим, и я просил его наблюдать за вами. При его любопытстве это было для него просто даром небесным.

— Ясно, почему каждый мой шаг был известен. И это еще одна из причин, почему я не то что заподозрил вас, а уже не мог относиться с прежним доверием. Я не связывал вас с Высоцким до того самого дня,

когда Пахольчика убили. Высоцкий убил, ибо заметил, что вы боитесь: продавец слишком много знал и превысил меру вашего доверия к нему. Вы давали ему просто слабый наркотик, собственно говоря, средство для сна, а он так повысил дозу, что средство для сна стало средством для вечного сна.

— Высоцкий погиб, — скорее утвердительно сказал доктор.

— Да.

— Н-да, я-таки наделал трошки глупостей. Я недооценил кое-чего... Во всяком случае, остался бы неопознанным, если бы не вы.

— Не остались бы.

— Просто цели нет. Потому я и играю в поддавки. Ну, ладно, а история с легендой про даму и монаха?

— Частично видел во сне. Неотрывно думал о ней целыми днями и потому много раз видел во сне. Не без помощи вашего средства. И умения раскапывать в той презируемой многими истории разные удивительные вещи. Вот так. Сокровища Голконды, фантастическое богатство рода, которое вдруг исчезло со смертью старого Витовта, больше не вернется в род.

Ольшанский сидел словно одеревенелый. Онемело и безучастно смотрел на фигурку какого-то восточного божка.

— А знаете, — неожиданно сказал он, — я уверен, что причиной смерти моего двойника из гробницы был ужас перед проклятием Валюжинича. Ужас и ожидание. Да еще тени жены и монаха. Он боялся. Как дикарь боится проклятия колдуна из соседней деревни. Да они и были дикарями. Даже этот, вольнодумец, который ни в грош не ставил евангелие, который присвоил деньги столетней давности и деньги своих современников, деньги родины. Украл, и концы в воду. Да, видимо, далеко тянулись те концы и мелкой была та вода.

— И напрасно было прятать. И клад, который даже триста лет тому назад стоил шестьсот тысяч золотом да семь миллионов драгоценными камнями. А какую цифру он составит теперь — неизвестно. Астрономическую... И еще личные сокровища вашего отца и сокровища айнцацкоманды. Ну и архив, который принесет безопасность и спасение тысячам и законное покарание единицам с кровавыми руками.

— Меня это не беспокоит. Меня касалось то, что над племянниками старого Витовта насмехались. А значит, и надо мной, непосредственным потомком. Теперь не беспокоит и это. Даже позор ревизии со Станкевичем во главе уже не беспокоит наш род. Все возвратилось на круги своя.

— Зою вы мне тоже подсунули?

— Ну нет, поначалу она сама.

Щука в недоумении обводил нас взглядом. Хилинский пожал плечами, словно молча сказал мне: «Ну вот видишь, все так или иначе всплыло».

— Я не собираюсь ничего укрывать от следствия, полковник, — сказал я. — Где виновен, там виновен. Прошу только, чтобы это дело оставили в тайне. Ради блага одного мужчины (не меня) и одной девушки. Я сам готов отвечать, если меня признают в чем-то виновным... Чем вы ее взяли? Была вам обязана?

— Да. Многим.

— Деньгами? Сохранением доброго имени? Вы считаете — это все?

— Для многих женщин — все.

— Ну ясно. И когда мы уже с нею порвали, вы заставили ее все же изредка заходить. Проверять, на всякий случай, здесь ли книга, у меня ли? Какая же в этом ее вина? Что, шантажировали знакомством со мной и другими? Достойный, прямо княжеский поступок.

— Поступок Пахольчика.

— Все равно. Он — ваше порождение... А она, уже не желая этого, возможно, действительно любя меня, врала... Завела разговор про «Хванчкару», чтобы я оставил ее одну в квартире... И донесла вам, что у Марьяна больное сердце и что он, тем не менее, не бросил курить.

— Ну уж эти мне памятливые на мелочи.

— Не только на них. Вы подозревали, ну на одну тысячную процента, что, а вдруг книга может быть и у меня, тем более что тот, с мусором, подслушал наш разговор с Марьяном на лестнице. И потом по-соседски рассказал вам (помните, я свидетелем был, как вы о чем-то говорили).

— Было такое, — лениво сказал он.

— И вы, полагаю, может, и не в тот вечер, но попросили его, чтобы он достал ее в мое отсутствие. Обещали деньги. И это вызвало поздней попытку взломать мою дверь.

Он молчал. И без слов было ясно, что все так и было. Наконец отозвался:

— Ну, тогда еще были сомнения. Все — преимущественно — думали, что книга у Пташинского.

— И потому вы решили его усыпить. Разве вы знали, что все это будет иметь такой конец. И вот Марьян сам купил у вашего холуя пачку отравленной «Шипки»... Вся беда была в том, что ваша правая рука не знала, что делает левая. Пахольчик подсовывал «Шипку» и усыпил через замочную скважину собак, рассчитывая похозяйничать в квартире во время отсутствия хозяина. А в это же самое время Марьян ехал на озеро. По записке на моей бумаге, добытой Зоей. Кто-то из вас подделал почерк.

Скорее всего, это были вы.

— Снова правда. Что еще?

— Да ваша деятельность отравителя.

— Ого-го. Да вы что, переквалифицировались?

— Нет, — сказал я, — это мне подарок сделали. А вашим делом...

— А делом их и вашим теперь займется не он, — сказал Щука. — И даже не я. К сожалению. А в то же время, когда подумаю, что вашу... гм... лицо... буду видеть реже, то нечего сожалеть. Говорите дальше, Космич.

— Вам надо было выбить меня из седла, Ольшанский. Были у меня, на ваше несчастье, два разговора. Почти одновременно. Один с вами, когда вы, помните, живую изгородь сажали. Об отклонении в психике старого холостяка. И с Пахольчиком у киоска. Он чересчур внимательно наблюдал, как я вскрываю пачку. Оба вы тогда для себя заметили, что даже не всю пачку надо травить, как Марьяну, который курит редко. И приспособили вы тогда Пахольчика и на эту работу с «методичным старым холостяком». Две-три сигареты сбоку, где надрезаю пачку. И действовать будет не сразу... Ну вот. А теперь будете говорить и вы. Как? Каким средством?

— Да, тут уж говорить мне. Я тогда не подумал, что мое воспоминание о северо-западной Индии может не отвести, а навести на определенные мысли. Что ж, долина Нарбады пролегает по плоскогорью. Небольшие суда ходят только по нижнему течению. Река очень порожистая. И долина ее — это не саванна, а почти тропический по дикости и густоте лес. Местами только скалы выходят к реке и обрываются в ее воды. И чаще всего там пчелиные мегалополисы на многие километры. Соты многометровой толщины и высоты, мед многих столетий, внизу совсем черный... Наконец, хорошо описано это в «Книге джунглей» Киплинга... Мне сейчас не до поэзии. Красное дерево, черное дерево, сандал, бог знает что еще. И все это перевито лианами, а на самых высоких камнях в порогах растут в водяной пыли орхидеи. Цветы величиной с человеческую голову. Иногда на тех камнях возникают запруды из деревьев и листьев и прочего, и тогда река разливается по низинам, если они есть, и образует болота цвета черного чая.

Он закурил из своей пачки.

— Мне пришлось бродить там долго. И с носильщиками, и самому, когда они бросили меня. Я все равно шел. Мне хорошо платили и в Ахмадабаде, и в Бомбее, и, еще лучше, в Джайпуре, и даже в Дели за растения: и лечебные, и ядовитые и... наркотические... Там, где-то между Бурханпуром и... А, да не все ли равно?! Я и прослышал про цветы растения ваё и его зерна — наркотик редкостный и небывалый.

Редкостный, потому что водится только там (может, когда-то ареал был шире, да там растение извели). А в мегалополисах, в этой недоступной пчелиной стране, ваё сбереглось. Изредка ветер заносит его зерна, его слезы... к людям...

Лицо его как бы отяжелело.

— И зачем меня снова понесло обратно, в так называемое отечество?.. Устал в странствиях?.. Поманила тень богатства?.. Вот я теперь его имею... А там я мог быть монополистом, стать миллиардером... Только плевать мне на это... Просто нигде не был я таким счастливым, как там... Ну ладно, довольно об этом.

Сел поудобнее, словно сел на любимого конька и собрался читать лекцию. Да так оно и было.

— Вы, наверное, не задумывались, что человеку (я имею в виду человека утонченного, а не приземленную свинью) со временем все надоедает. Свинья так и будет до смерти лакать сивуху и радоваться этому. Утонченный — изобретает. Все острее, все с большей выдумкой, извращенностью, ненормальностью.

— О себе? — спросил Щука.

— Нет, — сказал Хилинский, — он не из тех. Его патология — наблюдать за отклонениями других. Он вроде писателя. Зачем ему хвататься за нож, выбиваться в Наполеоны? Без всякого риска можно делать, что хочешь, двигать армиями, владычествовать эпохами, помыкать чужой совестью и честью... Добрый ведет вымышленные легионы к доброте и добру. Злой...

— Правильно, — согласился Ольшанский, — «писатель» разврата и зла. Черная сипа. Сомуститель. Злой дух Женевы... Так вот, вначале был мак, Морфей, бог сна с маковым цветком в руке, опиум, а в нем простые вещи, как морфин и морфий, папаверин, кодеин и всякое другое. И началось это в Греции, а не в Индии или Китае. Фаланги Македонского принесли это на восток. Так оно было. И... одурманенный край. Но опиум будто бы изжил себя, как истребитель и сокрушитель. И не законы остановили его. Просто приелся? Ну что? Что-то около трехсот тысяч с гаком курильщиков. В Гонконге — десятая часть миллиона. Прискучил, как и чистая жвачка из чистых листьев коки в Америке. И она надоела, как и индийская конопля, мексиканский мескалин — этот из кактусов, галлюциногенные грибы. Словом, беда. Человек упрямо идет в дурман, в гибель. Отнимут одну отраву или приестся она — появятся сотни новых. Марихуана, героин, хат... Появились, да и были всегда, и вообще страшные вещи. Человек приобретает на некоторое время дикую силу. Пройдет там,

где и муравей не пройдет. Один расшвыряет толпу. И видения дивные вокруг. А потом головная боль, а то и паралич минимум на пару месяцев. Привыкания нет. Кто два раза подряд выпил — конченный. И все это доктора и ученые создавали помимо природы, позвав на помощь химию. И вот штамповали, взвешивали, дозировали. Все для того, чтобы пойти от Нестерпимого в мир Великой Иллюзии. В мир всеобъемлющего Наслаждения, при котором что тебе твое тело и тело женщины, твой мозг и мозги всех людей, дети свои и сам Род Человеческий? Наслаждение без боя овладения им. Блаженство внезапное, как торпеда в днище корабля. Только здесь корабль — мозг. Взрыв — его сладкая агония. Радостная смерть себя самого и вселенной от своей же руки. И... уничтожение врага, один он против тебя или в миллиарде лиц.

— И в результате уничтожение себя? — спросил я. — Земной шар, населенный идиотами? Человечество, которое сидит и блаженствует, пуская слюни изо рта?

— Нет. Не совсем так. Ученые ищут в этой компании друзей. И находят их. Редко. И только в умеренном употреблении.

Хилинский вдруг сказал, и таким скорбным тоном, какого я ни разу еще от него не слышал:

— Люди, даже гениальные, не создали анальгезиков, которые не входят в состав обмена веществ организма и потому не дают привыкания к наркомании.

— Я нашел, — просто сказал Ольшанский. — Я выделил такое вещество из моего ваё. Я его синтезировал.

— Это невозможно... Как вы это сделали?

— Вы не узнаете этого. И, наверное, не узнаете никогда. Это вещество безвредно, почти безвредно. Дает человеку Иллюзию более реальную, чем сама Реальность. И вот я думаю, что это будет плохой подарок людям. Пусть исчезнет вместе со мной... Пахольчик с Высоцким выпросили у меня немножко экстракта. Первый, чтобы сбить с панталыку, лишить уверенности вас. Второй, чтобы усыпить Пташинского. И вот их пути столкнулись сразу и на нем, и на вас. Вы, Космич, не беспокойтесь, вы не успели привыкнуть к этому средству. Но могли. Я не сумел выделить абсолютно чистое вещество. Нужны были годы и лаборатории — не в пример моим. И средство все же действовало и отрицательно тоже. Не ощущали вы после этих ваших «видений» и краткосрочной депрессии — возбужденного вдохновения и повышенной работоспособности? Конечно, ненадолго. В конце концов, когда вы пришли ко мне с жалобами на свое состояние, я понял, куда употребил Пахольчик свою часть. И понял, что

привыкание все же должно взять вас в свои лапы. А если ты в лапах у чего-то — это уже распад личности. Но на это нужны были годы. Ничего. Вы останетесь здоровы.

— А друг мой умер.

— И это вторая причина того, что секрет должен умереть. Почти безопасное средство, и вдруг вереница, лавина смертей. Получается, будто я выпустил их.

— Получается так. Да еще и играли с огнем и Пахольчик и вы. Уговаривали бросить курить. Это удивило меня, скорее подсознательно, еще тогда. Такое совпадение. И советы одинаковые. И на то, как «БТ» распечатывал, смотрели одинаково. Одно хочу знать. Но почему не всегда действовало?

— Средство вводилось шприцем, видимо, только в пару сигарет на пачку. И то не в каждую пачку.

— Зачем вам это было нужно?

— Вы шли по следам. Нужно было лишить вас уверенности. И потом, даже если бы напали на мой след, если бы поверили вашим предчувствиям — никто не поверил бы показаниям сумасшедшего.

— А Марьяну зарядили целую пачку! И в то же время передали записку. Так что уснул он не в квартире. Он уехал, очистив вам поле действия. И вы могли, усыпив собак, искать сколько вам хотелось. А он начал грезить и видеть разные явления и впал в дрему, стоя в лодке. И никто уже не узнает, о чем последнем он мечтал.

Вновь возникли на краю поляны мелкие, беззвучные всплески, изредка лизавшие песок, и вновь я понял, что это не поляна, а озеро, окутанное густою мглой. А на дне этого последнего озера мой любимый (а больше нет и не будет) друг. Убитый не по каким-то там соображениям, а просто из-за глупого совпадения, того, что «так получилось». А эти живут, и нет в их сердцах моего тогдашнего предчувствия какой-то великой беды. Ничего, я все же не поверил в инфаркт, я заставил не поверить и других.

Сердца вот этих тоже захлебнутся в последней тоске, и это один из немногих моих поступков, за которые я попрошу у тебя награды, господи.

— И квартира покойного вам не давала покоя, — сказал я. — Один раз вы пытались залезть, но помешала вахтерша. Во второй раз залезли, но ничего не нашли. И тогда решили не спускать глаз с меня, чтобы я привел вас к цели. Не знали вы только о завещании, которое бросило тень на меня. Плохо знали историю с картинами, но не постеснялись поставить под удар антиквара и Гутника. Пешки! И тут я начал расшифровку. И первые же шаги заставили меня подумать: что, может, тут не просто спекуляция, что в

книге есть инициалы Петра Давыдовича да Витовта Федоровича Ольшанских. А значит, это фамильная ценность, и, значит, должен какой-то родич или наследник все же остаться.

— Ну, про секрет расшифровки никто из нас тогда не знал, хотя я и слышал что-то от отца (он сам твердо не знал) о какой-то бумажной ленте, а также, что какую-то роль играл пестик и, почему-то, вишневым клеем и ступка. Да что нам было в этом? Неизвестно, что с ними делать и как ими распорядиться. Начался спор. Одни говорили, что нужно вас и далее держать в сомнении насчет собственного мозга. А я считал, что это дело с галлюцинациями следует кончать.

— Точнее, приостановить на время. И вы приостановили.

— Да. Надо было дать возможность расшифровать вам, если уж у нас своих мозгов и знаний не хватало. А тогда использовать плоды ваших усилий.

— С Марьяном не приостановили, — жестко сказал я.

— Поздно узнал, — сказал он. — Говорю не для оправдания. А когда узнал — было поздно что-нибудь сделать. Надо было уже убрать Пахольчика. Свидетеля. А потом снова вас пугать. А может, вы, даже уже напав на след, испугаетесь и оставите это занятие.

— А я не испугался. И потому ваши бандиты решили напугать меня... до смерти.

— Единственное, чего мы недооценили — вашу волю. И еще то, что ведомство пана Щуки заинтересовалось этим, хотя что ему было в документах трехсотлетней давности.

— Мы и не интересовались, — проворчал Щука. — Слишком долго, преступно долго, не побоюсь сказать, не интересовались. Это и привело к таким событиям.

— А это не входило в вашу компетенцию. Разве ваша задача помогать историкам и литературоведам? Помогать пану К. в поисках автора «Энеиды»? Или пани С. в поисках старых Ольшан?

— О ней не смейте говорить, — сказал я.

— А-а... ну, дай бог. Но помогать им всем — не слишком ли жирно будет?

— Напрасно не помогали, — сказал Щука. — Взаимный опыт мог бы пригодиться.

Казалось, что перед нами сидел не человек, ожидающий ареста, и не те, которые приперли его к стенке, а просто шла милая беседа на интересную для всех тему.

— Кстати, не выпить ли нам коньяка? — поднялся Ольшанский.

Мы переглянулись. Это было уж слишком. Но с другой стороны...

— В качестве награды за то, что я проиграл и, как видите, мужественно проиграл. Не ломаюсь. Словоохотливый.

Он принес из серванта неначатую бутылку «Двина».

— А что? — вдруг уступил своей злобе я. — Можно. Надеюсь, он не держит в буфете десять неначатых бутылок с отравой.

— Можно, — сказал и Хилинский.

— Я не отравляю вино.

— А сигареты? — спросил я.

— Припомните, что я советовал вам пить понемногу и обязательно бросить курить.

— Было, — сознался я.

— Я не хотел бы отравить вас и не хочу травиться сам. А вам, Хилинский, спасибо за ваше «можно». — И поднял рюмку. — Ну, чокаться не будем, это уж слишком.

Закинул львиную седую гриву. Потом сказал:

— Вполне возможно, что это последняя бутылка коньяка, которую я начал. Или, может, в качестве последнего желания еще дадут? Принято это у нас или нет?

— Кто вам сказал, что вам придется высказывать последнее желание? — спросил Щука. — Ведь вы о многом не знали. Конечно, если вы тут говорили правду.

— Я говорил правду... Но даже если бы пришлось — не высказывал бы желаний и не роптал... Да, о многом не знал... Однако есть в подсолнечном мире иной суд. Более непримиримый, более жестокий. И, кажется, последний из Ольшанских как раз и подлежит этому суду.

— Что, бог? — спросил Хилинский.

— Это вы поговорите с Леонардом Жиховичем, — сказал хозяин.

— Девушку которого в числе других выдал немцам Высоцкий.

— Спелась, — иронично передразнил нас Ольшанский, — убийца и потомок убийцы.

— Попуститель убийств, — сказал я.

— Смерть Зои, — полувопросительно сказал он.

— Да. Потому что хотя она и сама отравилась, а в конце концов отравили ее вы.

— Почему?

— Не вынесла. Совесть не перенесла измены. Посчитала, что один у нее настоящий и был, а она его отдала с головой врагам... Знаете, как это больно.

— Я тогда еще не знал этого.

— «Тогда» — это когда убедились, что книги в квартире Марьяна нет и попытались взломать мою дверь. Вот тут вам молодой человек с мусором и понадобился. Кто-то открывает...

— Высоцкий.

— А второй стоит на страже. И когда я вспугнул Высоцкого, он успел в подвал под паутиной на дверях проползти, а потом, пока я бегал во двор, выскочить на улицу. А молодой человек, «пьяный, как куча», шмыгнул к девушкам и прикинулся, будто спяну с ним завалился.

— Что ж, и им займемся, — сказал Щука.

— Тем более что, думается мне, за ним ползут и еще какие-то грешки.

— А что нам остается, — сказал Щука. — Делами архива и айнзацштаба с Адельбертом фон Вартенбургом да Францем Керном займутся другие.

— А прислужников их я тогда впервые во дворе замка заметил. Вы думаете, они испугались, что я фотографирую разрушенную стену? Черта с два! Своих фото они испугались. Я это довольно скоро начал понимать.

— И молчал, — сказал Щука.

— Все молчали. И вы были не лучше... Но хорошо, что я там приобрел не только врагов, но и друзей.

— А у меня вот друзей не было, — сказал Ольшанский. — Приспешники. Поплечники.

— Да и разве поплечники? Поплечники — это плечо к плечу. Поплеч — рядом. А если люди с... друг к другу сидят то как это назвать?

— По... — засмеялся Щука.

— Вот именно так. И не поплечники, а по...

— Да, выскользнул он тогда, — сказал Ольшанский. — Везение удивительное. Видимо, удалось на последнем пути туда нырнуть незаметно в кусты. Стража не досчиталась одного.

— Теперь мы уже не узнаем... — начал было я.

— Почему не узнаем? — сказал Щука. — Чудесно узнаем. Свидетель, у которого начала восстанавливаться память. Стоило спастись тогда от расстрела, жить столько лет несчастным, чтобы по пути к восстановлению сознания встретить смерть. Вот вам и бегство от действительности.

— И тоже не без вашей вины, — сжав зубы, сказал я, — когда речь зашла о вашей шкуре и шкуре обездоленного такими вот, как... Вы выбрали свою шкуру, а не шкуру несчастного человека. Что он перед высшими соображениями. Абстрактный гуманизм... А как насчет конкретного человеконенавистничества?

— Не надо чересчур злить меня, — сказал Ольшанский.

— А скольких вы с вашим равнодушием смертно обидели?

— Не надо его перевоспитывать. — сказал Хилинский. — Пустое дело.

— Пустое, — сказал врач. — Я Ольшанский. А вы что думали? Последний. Других нет. Вывелись. Неперевоспитанные.

— А жили. К сожалению. Не так, как те, отравленные войной, которые умирали. Убийцы и жертвы.

— Убийцы, к сожалению, имели силу и хитрость. Подлюю. Как тот Гончаренок-Бовбель ловко свой «побег от себя самого» устроил! Убежал, посидел в болоте, а всем раструбил, что накануне разгрома из-под бандитского расстрела сбежал. Еще и в героях ходил... А за пестик свой как держался! За деньги и за жизнь. Деньги предательства, деньги крови — они для вас кончились! Конец! Теперь действительно конец!

— Конец, — сказал Ольшанский. — Только у меня не такой, как вы, может, предполагаете. Я последний, и я уйду, как сам захочу, и той дорогой, какой захочу.

— И только не сумеете сделать так, чтобы быть высокого мнения о своих поступках, о своей жизни. Наоборот, самооценка в последние минуты будет самая подлая. Ад неверующих. Хуже всяких там котлов преисподней.

— В моей власти — прервать воспоминания. Даже если бы вы меня не разоблачили, я отказался бы от продолжения этой комедии.

— Почему?

— Мне надоело жить. Жить опротивело. Среди этой вакханалии убийств из-за этих бандитов. И Лопотуха. Боялись, что выдаст, — долой его. И Зоя, когда поняла, что человек погиб из-за нее, — не выдержала. Одно дело лгать, и совсем иное — смерть, в которой ты повинен.

— Страх. И меня пытались встретить с ножами, а когда не удалось — замуровать в подземелье. Предок ваш был большой мастак — ну и вы недалеко от него ушли. Хотя и чужими руками.

Сидели молча, угнетенные. Не могу поручиться за других, но я себя чувствовал так.

Горели за окном многочисленные городские огни, разноцветные, от слащаво-оранжевых до безжизненно-зеленоватых. Гасли одни, загорались другие, словно кто-то медленно играл кнопками на пульте неизвестной исполинской машины. И только синие «дневные» огни уличных фонарей да красные, тревожные огни телевышки вдали были неизменны.

А мне было гадко, как всегда, когда на моей дороге встречался

человек, который бесповоротно и не так распорядился собой.

Ольшанский смотрел на них словно в последний раз, да так оно, наверное, и казалось.

И ему, и мне.

— Жить Шаблькой? — спросил он. — Жить собой? Жиховичем?

— Космичем, — подсказал Хилинский.

Не был бы он собой, если бы не попытался проверить, а что оно получится и из такого противопоставления.

— ...Космичем еще куда ни шло. По крайней мере, знает цель, умеет идти и идет. Через опасность, подозрения, сплетни. Видите, какие я комплименты вам говорю, Космич? Закиньте там за меня словцо вашему богу гуманности. Может, года на два раньше выпустит из котла... Или как там ваш писатель, историк этот, писал... Ну, там еще дьявол писал диссертацию: «Величина абсолютного оптимального давления в котлоагрегате для пропаривания грешников...» Так вот. Хилинским, Космичем, другими такими быть не могу, иными — не хочу. Я — Ольшанский. И умру как Ольшанский. Достаточно, что всю жизнь прожил инкогнито.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Пахольчика вы убрали потому, что он был основным свидетелем вашей деятельности, что много знал, что втравил вас в убийство, что дисциплину нарушил, превысил «полномочия». Несмотря на ваш запрет, все же распорядился остатками наркотика. А Кухарчика? А дворника зачем? Безвредный, с вопросами лезет всюду, где не надо. И только.

— Вот за это «только». Но я Пахольчика пальцем не тронул.

— И то, — сказал я. — Зачем вам это было? Вы проинформировали Высоцкого, а тот, поскольку не оставлял тогда Ольшанку, распорядился жизнью продавца... ну, скорее всего с помощью того молодого человека с мусором. Да? А Кухарчик, видимо, имел несчастье быть свидетелем, влезть на свою голову в дело как раз тогда, когда тот, с мусором, выполнял приказание Высоцкого.

— Да.

— Тот был и без того замаран. «Третий» и «четвертый» во время первого нападения на меня и были они, Пахольчик и будущий его убийца. С мусором. Больше от него ничего и не останется.

— Разберемся, кто, где, когда и что, — сказал Щука. — Тут уже на высоком уровне пойдет дело.

— Пахольчика мне было жаль, — сказал Ольшанский. — Не говоря про бога душой виноватого дворника... Тогда я и решил, что, если нить

доведе и до меня, я не буду стараться отвести от себя удар. Я словно камень в горах стронул. И пошла лавина убийств. Жаль, что я замарался с этой сволочью. — И очень серьезно, так что невозможно было не поверить, сказал: — Я дал только след. И этот след привел к гибели многих. А избежать хотя бы вот этой встречи с вами мне было очень легко. Только я не имел права исчезать, не высказав вам всего.

— Каким образом исчезнуть? — спросил Щука.

— А вы вон в том ящике письменного стола возьмите пистолет. Мне он не понадобился и не понадобится.

Щука поднялся, выдвинул ящик и достал оттуда «вальтер».

— Нет, я не шпик, — объяснял дальше врач. — И не бандит. Это тем по плечу. Мне по плечу было большее, и я им неважно распорядился. Мне и денег оттуда не нужно было. Реликвии некоторые.

— Для самоуважения?

— Мало стоящего сделал я в жизни, так вот...

— Да зачем это?

— Рассуждайте, как прежде — будете академиком. Раскапывайте и все такое — быть вам известным. Это предвидение человека, которому немного осталось жить... Жить? А кто сказал, что мой род заслуживает права на жизнь? То-то же... Но так же верно, как то, что не заслуживает, и так же верно то, что это мой род, что я — капля его и что иным быть не могу, и что дороги мне от него нет. Значит, один выход.

Махнул рукой, словно отбрасывая что-то:

— Я давно подготовился и к вершинам и к смерти. Только долго не знал, что победит. Готов был еще в сороковом, в Варшаве. С отцом я тогда был на ножах. Возможно, на самых острых ножах за всю жизнь. Потому что только теперь я стою ближе к милостивой Избавительнице и всепрощающей Спасительнице, чем стоял тогда. Потому что в то время мне не нравилось, что он крутит роман в господином Розенбергом.

Он говорил, а мне было плохо. Могучее сложение красивого тела, совершенный в своем величии облик, львиная грива седых волос. Удивительно маленькие и аккуратные кисти рук и ступни ног.

Боже, какой законченный, безукоризненный образец человеческой породы! В кино таких снимать, иметь лучшими друзьями, защищать любой ценой!

А вместо этого за совершенной, божественной оболочкой разъеденная насквозь ржавчиной, облепленная кровью и грязью суть. Проказа совести, мозговой сифилис. Судьба, бог или кто там еще, как же вы непоправимо, смрадно шутите временами с людьми!

Это он истекает ядовитым гноем, это его деятельность привела ко всему. А я не могу осудить его, ибо обижен за всех людей. Потому что это я оскорблен, обесславлен, изруган.

— При чем здесь смерть? — с этим новым и мучительным ощущением своей человеческой общности все же спросил я.

— А кто мне может запретить ну хотя бы котелок разбить о стену, отказаться принимать пищу? Хорошо, — найдется метод, чтобы я не делал этого. А кто запретит мне не хотеть жить? Выключу себя — и все. Поверьте. Со знанием восточного пути к великому покою, величайшему освобождению от всяческой печали — ничего трудного в этом нет. Остановить сердце на час или навсегда — какая разница?

Он посмотрел на Щуку и улыбнулся.

— Ну, как говорят литовцы, *dar po viena*, — еще по одной. Нет, я не сейчас. Зачем же я стану подводить вас и ваших коллег, Щука? К тому же мне еще необходимо дать официальные показания. Потому что эта наша беседа не может идти в зачет. Вначале я все расскажу официально где надо. Это оправдывает меня в одном: что я чуть не свел с ума Антона. Этого я тоже делать не хотел... Так снова без звона чарок.

Ольшанский медленно выпил коньяк.

— Ну вот, это, пожалуй, все. Вон там мой кабинет, а в нем телефон. Сходите, Щука, и позвоните туда, где теперь будут должны заняться мной... До той степени, до которой я сочту это целесообразным. И закройте за собой дверь, я не хочу знать, какими словами это говорится. Не имел такого опыта и не желаю его приобретать.

Щука пошел в кабинет. Мы втроем сидели молча, уставясь в окно на живые городские огни.

— Я знаю, что меня ждет, — сказал врач. — Возможно, и самое худшее (с чьей-то точки зрения). Как это там называют: «вышка», «дырка».

— И так говорят, и этак, — неожиданно для себя самого сказал я.

— Быстро шагаете. Очевидное движение вперед. Может, вам пойти служить к Щуке?

— Поздно, — впервые за весь вечер я впал в бешенство. — Но я куда хотите пошел бы, лишь бы вот таких, постыдно безразличных к людям во имя высокой лжи... На площадях бы за ноги вешал... Своими силами, без всякой милиции карал бы.

Мы слышали неразборчивый разговор Щуки за дверью. Затем он положил трубку, появился снова в комнате и занял свое место.

— Позвонил.

И тут Ольшанский вдруг засмеялся:

— На миг мне стало жаль.

Он показал белые ровные зубы:

— Небольшой рецидив сожаления. А здорово это, Космич. Сила, могучие руки за спиной. Род исполинов-людей на исполинах-конях. И стяги над головой. И слава на весь мир.

Хлопцы бьют в топоры,
Синие, словно небо,
Воины в рыжее пламя щитов своих ударяют,
Пику вонзив в зенит и дрожа от гнева,
В тучах черного дыма стяг огромный витает.

Здорово! Земля трясется под копытами коней. Лица и руки из бронзы. Ничего мне там не было нужно, кроме того, чтобы возвеличить великую хоругвь. Последний Ольшанский должен был и умереть с честью. А умрет... И наконец: почему, думаете, я так легко согласился со всем? Потому что пропало все, что утверждало мое достоинство. Вот умру Лыгановским.

— И было бы лучше, — сказал я. — Исследователь, путешественник, лекарь. Честное, незапятнанное имя. Не имя из рода негодяев.

— ...умрет Лыгановским. Великой хоругви не будет.

— Да. Последний Сапега похоронен в подземельях Вавеля^[189]. Но вас не похоронят ни в Ольшанском костеле, ни даже возле него. Потому что те — это был род воителей. А вы — род негодяев и прохвостов. И вы еще из них лучший, хотя и связались с бандитами. Что же вы наделали, Ольшанский? Какой великий материал человеческий погубили в себе, похоронили, камнем прижали!

По стеклам пробежали отблески сильных фар машины, которая заворачивала во двор. Пробежали, поплясали по стеклам, метнулись по лицу Лыгановского, а потом исчезли, потому что машина была уже под самым домом и свет, наверное, падал на дверь подъезда.

— Это за мной, — привстал Ольшанский. — А ну, «стшеменнэго», как говорят поляки. — И слова своего не нашел. — До встречи, Хилинский. Рад был со всеми вами познакомиться. Если вам будет приятно признание врага — я вам скажу его... Думается, во многих своих суждениях, взглядах, надеждах я ошибался. Прощайте, Космич. Вы-то уж навсегда.

Сделал шаг к двери, в которой уже стояли две фигуры.

— Смотрите за мной, хлопцы, в четыре глаза. Слышите?

Еще шаг:

— Ну вот, последний... сам разбивает родовой щит на своем надгробном камне. «И герб родовой разбивают на камени том...»

И исчез. Ушел. Туда, откуда только мелькнул луч света и пробежал по его лицу.

ЭПИЛОГ. Конец «подъезда кавалеров»

Несколько лет назад и приблизительно через месяц после событий, на которых я закончил свой рассказ, мы с Хилинским сидели в его квартире за шахматной партией.

И партия та была не партия, а сплошная нескладуха, и настроение у нас было не лучше.

А за окном стоял мягкий и добрый июльский вечер. И было ясно, что не за дурацкими шахматами нужно было сидеть, а где-то в лесу у костра. Над рекой. Чистить рыбу на весле, чистить лук, картошку.

Словом, все, что хотите, только не это.

— Ну что, немножко коньяку? — предложил Хилинский, вдруг смешав фигуры.

— Один из польских, кажется, детективов так и начинался: «Капитан пил все, кроме какао».

— Плохое начало, — сказал Хилинский. — У нас бы его редактор непременно зарезал.

— Выпьем за редакторов, которые понимают юмор.

Выпили. И снова была тишина, как будто над нами пролетел тихий ангел, а говоря проще, будто где-то родился вор.

— Ты почему не спрашиваешь, чем вся эта история закончилась? — вдруг спросил Адам.

— Меня она перестала интересовать. Знаю, закончится она так, как нужно. И каждый получит, что заслужил. Я сделал, что мог. Просто в память о всех этих людях, которые ушли преждевременно. Теперь это уже дело других. И я среди них не имею чести быть.

— Ольшанский отравился в камере, — глухо сказал Хилинский. — Неделю назад. Мне Щука говорил. И последние слова в показаниях были такими: «Больше сказать нечего. Прожил большую часть сознательной жизни и прожил ее напрасно, не сделав, кроме начала дороги, почти ничего стоящего. Возможно, более сурово, чем вы меня, я сужу себя. И осуждаю. На смерть».

— Ну что же... А откуда взял отраву? Не обыскивали?

— Обыскивали. Этот человек говорил правду о возможности уйти из жизни, когда только пожелает. Под коронками верхних клыков хирургическим методом была вшита маленькая капсула с ядом. Давно. Может, еще при немцах. Мало ли чего он мог от них ждать. И вот

пригодился. Ложкой, как рычагом, нажал и раздавил. Видимо, сильно пришлось жать — сломал два резца.

— Кто ему тогда вшил яд?

— А кто теперь может узнать?.. Значит, ожидал, знал, что у всякой веревки бывает конец. И знаешь, почему-то даже жаль... Вот этот был из достойных врагов. Не какой-то слизняк. С такими трудно и опасно, но и приятно иметь дело.

Хилинский сидел, выпрямившись в кресле. Даже в низком кресле — высокий, седой. И сейчас не Мистер Смит и не славянская рожа, а просто пожилой, усталый человек. Среди этих полок с книгами, многие из которых он, наверное, не успеет перечитать.

Сухое лицо с обвисшими веками. В красивой мужской руке початый бокал.

— Еще и шутил в последний час. Как бы намекая: «Это называется: наконец, после чрезмерной заинтересованности историей перешел к тесному контакту с современностью».

— Перестаньте, Адам.

Он молча согласился со мной. За окном сквозь кроны лип светили ночные огни, которых последний Ольшанский уже не мог видеть. И невольно думалось, что когда-то их не увидим и мы. Каким абсурдом перед этим были все усилия, привилегии, сокровища, власть над душами и телами?! Какая это была трижды проклятая глупость!

— Я должен был предвидеть, — сказал Хилинский. — Учитывая его профессиональный опыт, не забывая о знании Востока... И еще. Меня однажды поразила мысль: кто мог после Нюрнбергского приговора передать Герингу ампулу с цианистым калием?

— Говорят, жена во время прощального поцелуя.

— Нет. Психика не та. И я подумал, что там могло быть, вот как... с этим. Не знаю, был ли я прав. Ведь потом, наверное, осматривали? Но могло быть: давно ждал конца, потому что животно боялся смерти, а когда узнал, что пощады не будет, что спасения ждать неоткуда, что виселица, — тогда покончил. Все же хотя и гнусная, паскудная, гнилая дрянь, развращенная этим сифилисом неограниченной власти и роскоши, но все же в прошлом военный человек.

— Бросьте, Хилинский. Вы и сами видели военных, которые клали в портки хуже иного штатского. Да у врача и не было страха. Просто не хотел жить.

Я начал как бы догадываться и становиться зрячим:

— Я, кажется, понимаю ход ваших мыслей. Скажите, и была бы ему...

— Не знаю. О смерти Марьяна он не знал, о «подвигах» тех мерзавцев — тоже. Может, и не была бы.

— Ясно, — сказал я. — И он, однако, заслужил забвение. Потому что... зачем ему уже было жить? Да еще за решеткой... Много... Он заслужил.

Хилинский молча протянул мне сигареты.

— Свои, — сказал я.

Достал новую пачку, разорвал ее зубами. Хилинский наблюдал за мной.

— Что, крушение привычек старого кавалера?

— Да. Если уж крушение всего «подъезда кавалеров», то чем я лучше? Ростик женился.

— Да и еще кое-кто, — улыбнулся он.

— Квартира Лыгановского пустует. Со временем кто-то вселится. Ведь наверняка тоже женатый. Будет и у нас на лестнице поначалу визг, а потом и заревут, как сирены.

— Ах, черт, — Хилинский вдруг стукнул кулаком по столешнице. — Подлец, осел несчастный. Ты был прав: какой материал пропал... Умный, образованный, бывалый, остроумный, талантливый, как черт. Знаешь, какой врач? Коллеги говорили — царь и бог. Одним знанием психики человеческой делал больше, чем другие разными там резерпинами и серпазилами. И так не смочь, так паршиво распорядиться собственной жизнью? Нужны ему были эти истлевшие реликвии, давно уничтоженная слава рода. Такой врач, такой человекоед! Мало ему было этого для самоуважения. С отребьем связался, с отбросами, с подонками. И сам стал подонком. У-у, осел!

Выпили еще по капле. И я с удивлением увидел, что мой «несокрушимый» сосед немного захмелел.

Он смотрел на портрет в овальной раме. Никогда я не видел такого значительного лица. И такого прекрасного одновременно.

И у Адама вдруг так изменилось лицо, так задрожали губы, что я не удивился бы, если бы он впервые на моих глазах заплакал.

— Возмездие все же есть, — глухо сказал он. — Есть. За каждую каплю крови, за каждую слезу. Не теперь, так завтра. Не самому, так потомкам. Их суд или суд совести — возмездие есть. Оно не спит. И записывает в книгу судеб, и обрушивается на голову преступников или их детей опустошением, бедой, войной. И никому не убежать. И я уверен, и это дает мне силу жить — отрыгнется оно и тем, кто ее убил. Страшно отрыгнется. И только это дает мне силу жить: мысль, что я, насколько сил

моих слабых хватит, помогу предотвратить это в будущем. И только это... силу жить.

Нервно затянулся.

— Ты не спеши, если задумаешь рассказать обо всем этом. Ты немного подожди.

— Я подожду. Может, и несколько лет.

Раздался стук в стенку. Из соседней квартиры. Моей. Жена звала нас пить чай.

— Ну, а ты что надумал? — спросил, закрыв глаза, Хилинский. — Какие выводы на жизнь сделал? Все же, что ни говори, события с тобой произошли не на каждый день.

— Не знаю, — сказал я. — Знаю только одно. Постараюсь прожить жизнь, остаток ее, сполна. Как в эти дни. Отдать себя полностью братьям. И тогда я пойду на встречу с богом, если он у меня есть, своими ногами и не сворачивая. Не ползая. Не склоняя головы. Не сгибая даже колен. И не буду молить у него, как не молил никого при жизни. И я скажу открыто: «Я отработал сполна и по своей охоте свою каторгу на земле. Я сделал даже больше того, что мог. И не ради себя, а ради них, ради этого океана, народа моего. И теперь я пришел к тебе не просить награды. Дай то, что мне принадлежит по труду моему, если ты есть. А если нет — я не буду искать воздаяния за дела свои. Нигде».

— Аминь, — сказал Адам.

Мигали за открытым окном бесконечные огни.

О жизнь!

Примечания

1

Кавалер — в белорусском языке имеет еще и значение «холостяк».

2

Фундавать — основывать что-либо, жертвовать на что-либо; делать во что-то вклад, а также ставить угощение, хотя это и не совсем из той оперы (бел., польск.).

3

Ларник — главный над архивом (древний бел. яз.).

4

Тяпинский (Амельянович) Василий Николаевич (ок. 1540 — ок. 1604)
— белорусский гуманист, радикально-реформационный деятель,
книгоиздатель.

5

Жигимонт — древняя белорусская форма произношения имени Сигизмунд.

6

Мытник — таможенник, досмотрщик на городской заставе (древний бел. яз.).

7

Тростенец — лагерь смерти под Минском, созданный фашистами во время Великой Отечественной войны. Здесь сожжено более 200 000 человек.

8

Скалигер (1291-1329), прозванный Кангранде (Большая Собака) — глава партии гибеллинов и властелин Вероны. Чертами его облика Данте наделил тирана Эдзелино («Ад», песня 12).

9

Звательный падеж (клічны склон) до сих пор живет в белорусском языке, «из всех славянских языков наименее измененном» (А.Мицкевич). Формы «пане», «браце», «дзеду», «Іване», «Адаме» и т.п. — в полный голос звучат и сейчас.

10

«Песенок деревенских с берегов Немана и Щары» (польск.).

11

"Чарующих (пленительных, очаровательных, обворожительных и т.п.

12

Нарочь — живописное озеро на северо-западе Белоруссии.

Борщевский Ян (ок. 1790-1851) — белорусский и польский поэт и прозаик, автор книги «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах».

Кантычка — католический молитвенник (бел., польск.).

15

Озеро в Западной Белоруссии, воспетое Адамом Мицкевичем.

Всеслав Брячиславич (?-1101), прозванный Чародеем, князь Полоцкий (1044-1101). Стремился расширить пределы княжества, неутомимо отстаивал его самостоятельность. Личность решительная, властная, мудрая и энергичная. Упоминается в некоторых былинах. Один из героев «Слова о полку Игореве».

17

Положение обязывает (франц.).

Крэс — конец, межа (бел., польск.).

19

Засценак — усадьба, мелкое поместье, деревня, населенная мелкой шляхтой. В другом значении — захолустье (бел., польск.).

Біскуп — духовное лицо, имеющее высшую степень священства в христианской церкви (бел., польск.).

Представитель государственной администрации, следившей, чтобы копа, суд копный (суд деревенской или городской общины в средневековой Белоруссии) не нарушали копных обычаев и права (древний бел. яз.).

Убийство (14 октября 1606 г.) Мариной Карлович, урожденной Достоевской (из рода предков великого писателя; главное владение — Достоево под Пинском) мужа, покушение на жизнь пасынка и составление фальшивого завещания. Суд по следам этих событий (судья — староста минский Андрей Станкевич) начался 6 марта 1607 года.

23

Вещи под мышку (бел.).

24

От ворот поворот (бел.).

25

Вексель, чек и т.п., выписанный в иностранной валюте и подлежащий оплате за границей (франц.).

Плоская табакерка, чаще берестяная, реже металлическая, для нюхательного табака.

Литературный цензор-погромщик. Был морально уничтожен следующей эпиграммой:

Островский Феоктистову

Затем рога и дал,

Чтоб ими он неистово

Писателей бодал.

Автор эпиграммы — Островский, министр государственных имуществ, брат драматурга.

Клиника для душевнобольных под Минском.

Зан Томаш (1796-1855) — польский поэт-романтик.

Овсянников Геннадий Степанович (род. 1935) — известный белорусский комический актер.

Старинный перстень с печаткой или фамильным гербом, что в сочетании с понятием «барыга» вызывает чувство некоторого изумления. Ибо это так же странно, как «знать, не помнящая родства» (лат.).

Белорусская газета, издающаяся в ПНР.

Пометки на полях (лат.).

Первая (. — прокол над буквой я) часть нового завета (. — прокол) та или тас (. — прокол) таменту, по (далее в русском переводе места проколов не указываются) славянскому разделению, то есть от четырех евангелистов святое евангелие Иисуса Христа списанное (здесь и далее по главе подается перевод с древнего белорусского языка).

Я емь первый и последний...

...от наияснейшего государя короля его милости Жикгимонта...
печатано... печатне дома Мамоничей. (Мамоничи — купцы и
общественные деятели Великого княжества Литовского, при доме которых
в 1574-1623 гг. в Вильне существовала типография).

Нашч... — «Потом...»

...тоже добра государства того великого княжества Литовского не уменьшим и то, что будет через неприятелей того государства удалено (отнято), разобрано и к иному государству от того государства нашего когда-нибудь упрощено, то (мы) же (вновь) к собственности великого княжества привести, присвоить (присоединить) и границы исправить обещаем.

...атку разумному — Потом... ку разумному.

От латинского слова *littera* — буква.

Туровский Кирилл (ок. 1130 — ок. 1182) — знаменитый деятель древнерусской литературы, выдающийся проповедник и поэт, которого современники называли «Златоуст, паче всех воссиявший нам на Руси».

Карский Евхим Федорович (1861-1931) — советский филолог-славист, основатель белорусского языкознания, филологии и фольклористики.

Зизаний (Тустановский) Лаврентий (? — ок. 1634) — белорусский педагог, церковный деятель, переводчик. Перевел и издал много книг, в частности второй (после «Букваря» братьев Мамоничей) букварь, по которому учились читать в Белоруссии, Московии и на Украине. К букварю (иллюстрированному) был приложен «Лексис» — белорусский словарь.

Сладкое ничегонеделание (итал.).

Хруцкий Иван Трофимович (1810-1885) — белорусский портретист, мастер классического натюрморта.

РЫНОК В МИНСКЕ.

ячорка — вечеринка, беседа, возлияние (бел.).

плебания — дом приходского ксендза, а в давние времена еще и резиденция его причта, в которой могли жить органист, костельный староста, прислуживающие (из пожилых мужчин), несколько монахов. Там же мог помещаться госпиталь, приют для убогих и т.п. и жить люди, обслуживающие их. В большой плебании могло быть до тридцати (мест. Койданово) и даже до полусотни и более комнат (бел., польск.).

49

Здесь ли пан ксендз? (польск.)

Да. Чем могу быть полезным гражданину-у?.. (бел.)

Дэвотка — слишком набожная женщина (чаще стареющая или старая), ханжа, святоша (бел., польск.).

52

Прекрасно! (нем.)

В католической церкви особый разряд подвижников, после их смерти объявленных папой римским «богоугодными» (лат.).

В деревне Фащевке (Хвашчава) под Шкловом была когда-то в средние века иезуитская миссия и возле нее стояла (а может, и теперь стоит) на высокой колонне статуя. Благодарный народ забыл, кто это: святой или какой-то государственный деятель, но прочно закрепил в слове слова «ёлуп хвашчоускі» (олух, болван хвощевский) для определения чего-то глупого и бесполезного.

«У гарачай вадзе купаны» гаворят на горячего, вспыльчивого, необузданного человека. Мол, оттого, что в детстве в кипятке купали.

От белорусского «змагацца» — бороться. Или от «змагчы» — смочь.

Имя белорусского первопечатника Скорины (первая книга была напечатана в 1517-1519 гг.) было Франциск.

Генка дурачится, поет песню на макароническом, белорусско-русском языке. В переводе это звучит примерно так:

свиданья в джунглях и на море...

Качка, шторм — гори оно огнем.

На Босфоре ж этой гари море —

Ты меня не спрашивай о нем.

Волат — исполин, великан (бел.).

Мульта́н — турецкий табак. В переносном значении нечто отменное, но слитком сильное (бел.).

61

Пацяруха — труха (бел.).

Брама — ворота, в том числе и крепостные, башенные (бел.).

Luġa — помои, бурда, баланда. Пакостный кофе (реже пиво, и тогда в смысле «моча») (польск.).

64

Заткнись (нем.).

65

1939 года.

«Сам себе котлетку жарил и запачкался в сажу» (бел.). Цитаты из старых школьных стихов для 1-2 классов. Второй — английского происхождения.

67

Анна и Марта купаются (нем.).

Здесь почивают останки 22 бойцов Движения Сопротивления, замученных гитлеровцами в день 17.VII.1944 года.

.....

А.Облоцкий из Кракова.

П.Ромский...

.....

И.Станкевич из Ольшан.

В.Высоцкий из Кладно

А также семнадцать человек неизвестных.

Вечная слава памяти героев.

Пергамент, на котором один текст выскоблен, а сверху написан второй (греч.).

70

Человек, занимающийся ловлей собак. При нем иногда состоит песнаводчик, подманивающий собак к фургону.

71

Гульбище — галерея (древний бел. яз.).

Казлы дзерці — долго и громко, с надрывом блевать (бел.)

Шавец — сапожник (бел.).

Вавкалака — человек, умеющий оборачиваться волком (бел.).

Казань — проповедь. В переносном смысле длинный и нудный рассказ (бел.).

Дойлід — зодчий (бел.).

Корста — гроб, выдолбленный из целой дубовой колоды, ствола (древний бел. яз.).

«А мне крестная мать лиштву (вышивка белой нитью наподобие глади, оторочка рубахи или юбки) вышивала» (укр.).

«А я у попа обедала, — сиротка сказала» (укр.).

Знатник — богатый, влиятельный (здесь и далее по главе — древний белорусский язык).

81

Истинствовать — говорить правду.

Слово «очина» имело два смысла: а) родители, предки; б) майорат, имущество.

Скоец — монета.

Альмариум — сундук, реже шкаф.

85

Окрут — корабль.

Ключаться — подходить, быть достойным. Здесь в смысле соглашаться.

Ремень — мера веса.

Сажень — вышитый драгоценными камнями.

Саквы — переметные сумы.

Зэлжил — обесчестил, обесславил.

Пакон — закон, предназначение.

Акрутны — жестокий, свирепый.

Апаевы — запойный.

Псарец — псарь.

Судба — суд, приговор, правосудие, предначертание.

Корд — короткий меч или длинный кинжал.

Чуга — верхняя мужская одежда.

Пижмо — мускус.

Справца — виновник, зачинщик.

100

Зэшлы час — старое время.

Контарфект — рисунок, образ.

Проуст — священник, чаще всего католический.

Макула — латинское «пятно», польское «недостаток», «порок».

Хробок, туляч — червь, побродяга.

Партаци — портить, плохо работать.

Пагной — навоз.

Умёт — грязь, дерьмо.

Мерзючка — тоска, досада, печаль.

Гусак — большая бутыл.

«Наш путь» (бел.).

Чудотворная икона божьей матери из Бытеня (1470 г.). Теперь в Жировицах (?). Иконы давно чтимые и католическими и православными верующими в Белоруссии.

Пресбитерий — хор, пространство костела, предназначенное для духовенства. Обычно отделен от главной части храма возвышением и балюстрадой (греч.).

Белорусский народный танец.

Бац — крыса (бел. диалект.).

В некоторых русских диалектах — «Ванька мокрый». Русское название намекает на те же свойства растения, что и белорусское: перед дождем на его листьях выступают капли воды.

Спарыш — двойняшка: два горшка, соединенные ручкой, чтобы носить обед (борщ и кашу, скажем) на поле (бел.).

«Польская газета», «Вооруженная Польша», «Время» (польск.).

Вар — кипяток (бел.).

119

Сильный, прыткий в беге, бойкий (охотн.).

Брудастый — большеголовый, с жесткой шерстью на морде и с резко выделяющимися усами и бровями (охот.).

Самбук (от латинского *Sambucus nigra*) — бузина (бел.).

За редким исключением (человек был «знаменем» какой-то оппозиционной группы или движения), в средневековой Белоруссии никого нельзя было запереть в темницу больше чем на год и шесть недель. Иезуитство судей иногда проявлялось в том, что покарать смертью по тем или иным причинам было нельзя, а год и полтора месяца так называемого горнего узилища было мало. Если злость была особенно большой сажали в узницу *in fundo* — яму в двенадцать локтей глубины от окна, через которое спускали узника, а потом скудную еду. Голод, сырость, вечный мрак делали то, что человек выходил оттуда через год и шесть недель чаще всего со сломанным здоровьем, иногда безумным, а бывало — слепым.

Чекан — боевой молот. От обычного отличается тем, что второй его конец не загнут, а идет прямо и заострен (пробивать шлемы и латы). Чекан простонародный в мирное время служил для насекания жерновов.

Невестник — жених (здесь и далее по главе — древний белорусский язык).

Намова — подстрекателство.

Плюндровать — грабить, растаскивать.

Куситися — посягать, зариться.

Абешанне — повешение.

Усняны квас — дубильная кислота (усние — шкура).

Паток — изгнание.

Аршак — свита, отряд.

Пицаль (здесь — среднего калибра; легкая — полугаковница, тяжелая, крепостная — дупельчак). Позднее, облегченная, превратилась в мушкет, рушницу, аркебуз, фузею и т.п.

Ужа — веревка, канат.

Текач — гонец, скороход.

Польский король Сигизмунд (1587-1632), сын шведского короля и Катерины Ягеллонки.

«Мили подольские, значит, украинские, в два раза длиннее польских, а чем ближе к Турции, тем больше миля» (польск.).

Ультракатолицизм, контрреформация, борьба за шведский престол, разорительные войны с соседями, подорвавшие мощь государства, прогабсбургская ориентация.

Прокурор (польск.).

«Союз белорусской молодежи» — антисоветская националистическая организация в годы оккупации.

Бёклин Арнольд (1827-1901) — швейцарский живописец.

Роршах Герман (1884-1922) — швейцарский психиатр, который предложил свой метод классификации характеров.

142

Обманный шаг, неловкость (франц.).

Счастлив, кто умирает вовремя (лат.).

144

Небольшая, но очень порядочная (польск.).

Вейсенгоф Генрих Владиславович (1859-1922) — белорусский художник-пейзажист.

Богушевич Франтишек Казимирович (1840-1900) — белорусский поэт-демократ, основатель критического реализма в белорусской литературе.

Чечот Ян (1796-1847) — белорусский и польский поэт, фольклорист.

Сецессия (от латинского *secessio*) — отход в сторону, отделение, уход, раскол (название возникло в Вене и распространилось потом — где-то в 80-90-х гг. XIX ст. в польских, белорусских, украинских губерниях Российской империи). Движение в искусстве, связанное с модернизмом, неоромантизмом (в местном издании), символизмом, импрессионизмом и бог знает чем еще. Правилами его была плоская декоративность, орнаментальность и волнистая линейность, опирающаяся на некоторые явления готики, кватроченто (Боттичелли), беспокойные формы барокко, японское искусство и т.п.

Известное артистическое кафе в Кракове с модернистскими рисунками на стенах.

«Экс» (от «экспроприация») — грабеж не ради своего кармана, а для нужд партии.

Сівец (растение *Nardus stricta*) — белоус, мычка, щетинница (бел.).

Вядзьмак — колдун, злой волшебник (бел.).

В то время на всю Польшу был только один палач, которого возили по мере надобности с места на место. И хотя «выступал» в маске, все знали его фамилию — Мацыевский. На каждого повешенного употреблял свежую пару белых перчаток. После исполнения приговора выбрасывал старую пару со словами: «Справедливость восторжествовала».

Радца (или райца) — член рады, совета (здесь и далее по главе древний белорусский язык).

Раженъе — обсуждение.

Подсудок — чиновник или писарь земского уездного суда.

Провст — ксендз.

В то время не только ризы, но и обычная одежда.

Ущипливый — злоехидный, ядовитый, колючий.

Столмах — столяр, каретник, колесник.

161

Округле — в окружности.

Плинфа — большой и очень плоский кирпич.

Или «португаль» — золотой медальон западной работы.

Купник — член копного суда.

Тычка — отметина, родимое пятно, клеймо (бел.).

Внутренние острова (нем.).

Нессельроде Карл Васильевич — граф, канцлер Российской империи с 1845 г. Активный крепостник.

Рапуха — полевая жаба, в переносном смысле — вѣдливое существо (бел.).

Библейский Ной, когда потоп начал спадать, выпустил из ковчега вначале ворона, который не вернулся, обрадованный множеством трупов на холмах.

Чепа — многолетнее подводное скопление затонувших стволов и коряг. Место, где цепляются сети, переметы, веревки якорей (бел.).

Водяницы — туманные женщины, рожденные водой и летящие над ней.

Болотные Женщины — духи болот и вересковых пустошей, красивые жуткой красотой, но крайне изможденные, пугающие криками одиноких ночных прохожих. Если вопль особенно ужасен — человек, услышавший его, умрет.

Феи-Мятлушки — маленькие полупрозрачные женщины с крыльями бабочки. Любят людей, но, полюбив особенно сильно, могут отнять у них душу.

Вогники — духи блуждающих болотных огней.

Карчи — духи выворотней и бурелома.

Лесовики — духи леса. Не мохнатые и, в общем, добрые, хотя и озорные лешие (лесуны), огромные, иной раз выше леса головой, существа. Они безразличны к человеку и говорят, не обращая на него внимания, как человек на какого-нибудь мышонка. Но ведь тот, слыша громовой человеческий голос, обмирает от страха.

Хохолы — нечто неожиданное, что, возникнув в глазах на привычном, «своем» месте, заставляет человека до глубины души содрогнуться (вообще-то «хохол» — обмотанный соломой на зиму вместе с ветвями ствол дерева. Идешь утром — яблоня, идешь в сумерки — и вдруг, как удар по сердцу, возникает что-то бесформенное, жуткое).

Хохлики — домовые. Они духи не только дома, но и двора, хозяйственных построек, сада. В общем, добры, но своенравны и озорны.

179

Очень приличный, пристойный (польск.).

Марин Гетальдич (1568-1621) — югославский математик, астроном и физик, который много внимания уделил оптическим исследованиям.

Марк Антоний де Доминис, или Маркантун Господнетич (1560-1624) — хорватский государственный деятель и ученый, автор теории приливов и отливов, теории радуги и преломления света. Умер в подземельях инквизиции.

Рёмер Альфред (1832-1897) — известный белорусско-польский художник. Его работы есть, между прочим, в Пинском францисканском костеле.

Мартынов Николай Соломонович (умер в 1875 г.) — убийца М.Ю.Лермонтова. После революции в имении Мартынова был детский дом. Воспитанники его выбросили останки Мартынова из фамильного склепа на свалку.

Крама — лавка, магазин. Здесь — в значении «торжище» (бел.).

Предметы церковной и костельной утвари.

Мы тоже не такие-сякие, а ловкачи (польск.).

«Военная доблесть» — высший военный орден Польши.

Клейнот — ценность. Здесь — в смысле герб, родословное древо и т.д. (древний бел. яз.).

Краковский замок-кремль.

Содержание

Владимир КОРОТКЕВИЧ ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ

ЧАСТЬ I Грозные тени ночные

ГЛАВА I. Визит встревоженного человека

ГЛАВА II «Подъезд кавалеров»

ГЛАВА III. Дамы, монахи и паршивый белорусский романтизм

ГЛАВА IV. Про женщину из прошлого, абелей в отставке и о том, как чтение евангелия не принесло никак

ГЛАВА V. Человек исчез

ГЛАВА VI. Короткая. О седом антикваре и «барыге»

ГЛАВА VII. Что было сказано в «Новом завете» и какую тайну запрятал в «Апокалипсисе» Иоанн Богослов

ГЛАВА VIII. Вновь гаснет небо

ГЛАВА IX. Кладно. Дорога. Отрешение

ГЛАВА X. Идиллия контрастов

ГЛАВА XI. Белая Гора

ГЛАВА XII. Начало поисков

ГЛАВА XIII. Совецание двух холостяков, одного вдовца и одного женатого

ГЛАВА XIV. О безумцах и мелочах, которые не стоят и выеденного яйца

ГЛАВА XV. Про новую квартиру, сбывшиеся сны и про то, как убивают человека и легко ли другому двуног

ЧАСТЬ II. Катакомбы, мрак, огонь

ГЛАВА I, в которой никто из «трех мушкетеров» почти ничего не знает, а тот, кто знает, не может расс

ГЛАВА II, в которой я слишком много болтаю и, вопреки логике, жалею провокатора

ГЛАВА III. Пред очами любви, пред очами безумья и смерти

ГЛАВА IV. Загадки и отгадки. Полковник, лейб-медикус и прокуратор[138]

ГЛАВА V, в которой я почти складываю лапки, подвожу итоги поражения, но своевременно вспоминаю про н

ГЛАВА VI. «Где их следы, где твои следы? Кто их найдет, кто найдет тебя?»

ГЛАВА VII. О жизненной необходимости основательного

изучения старославянской грамматики и алфавита,

ГЛАВА VIII. Два призрака в лощине нечисти и дама с черным монахом, или паршивый белорусский реализм

ГЛАВА IX. Цинизм трехсотлетний и современный, смертная кара за смерть одной души из трех и святое ве

ГЛАВА X. Прощай!

ГЛАВА XI. «И герб родовой разбивают на камни том»

ЭПИЛОГ. Конец «подъезда кавалеров»

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)

[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)
[75](#)
[76](#)
[77](#)
[78](#)
[79](#)
[80](#)
[81](#)
[82](#)
[83](#)
[84](#)
[85](#)
[86](#)
[87](#)
[88](#)
[89](#)
[90](#)
[91](#)
[92](#)
[93](#)
[94](#)
[95](#)
[96](#)
[97](#)
[98](#)
[99](#)
[100](#)
[101](#)
[102](#)
[103](#)
[104](#)
[105](#)
[106](#)
[107](#)
[108](#)

[109](#)
[110](#)
[111](#)
[112](#)
[113](#)
[114](#)
[115](#)
[116](#)
[117](#)
[118](#)
[119](#)
[120](#)
[121](#)
[122](#)
[123](#)
[124](#)
[125](#)
[126](#)
[127](#)
[128](#)
[129](#)
[130](#)
[131](#)
[132](#)
[133](#)
[134](#)
[135](#)
[136](#)
[137](#)
[138](#)
[139](#)
[140](#)
[141](#)
[142](#)
[143](#)
[144](#)
[145](#)
[146](#)
[147](#)

[148](#)
[149](#)
[150](#)
[151](#)
[152](#)
[153](#)
[154](#)
[155](#)
[156](#)
[157](#)
[158](#)
[159](#)
[160](#)
[161](#)
[162](#)
[163](#)
[164](#)
[165](#)
[166](#)
[167](#)
[168](#)
[169](#)
[170](#)
[171](#)
[172](#)
[173](#)
[174](#)
[175](#)
[176](#)
[177](#)
[178](#)
[179](#)
[180](#)
[181](#)
[182](#)
[183](#)
[184](#)
[185](#)
[186](#)

[187](#)

[188](#)

[189](#)